

The background of the cover features a faint, artistic illustration of a horse in profile, facing left, with its mane flowing. Below the horse, there is a faint image of an open envelope. The overall style is minimalist and evocative.

Н. ОСИПОВА

Воспоминания
о старой любви
всегда
застают
врасплох

● ● ● ● ● ● ● ● МОСКВА 2006 ● ● ● ● ● ● ● ●

О-74 **Осипова Н. М.**
Воспоминания о старой любви всегда застают
врасплох / Н. М. Осипова. — СПб. : Алетейя, 2006. — 288 с.; 25 ил.
ISBN 5-89329-858-1

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 589329858-1



© Н. М. Осипова, 2006
© Виталий Палкус, 2006
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2006
© «Алетейя. Историческая книга», 2006

Автор искренне благодарен:

Ярославу Ивановичу Кузьминову, который вольно или не вольно три года назад создал условия для написания этой книги;

Ольге Александровне Ланской, Наташа Гольдиной, Наде Титовой, Вике Городинской (Тольятти), Лене Москович (Бостон, США), Маше Золотайкиной, Саше Ланской и Андрею Тихомирову, Саше Городинской (Иерусалим, Израиль), Светлане Квашонкиной, Марине Овсянниковой, Свете и Борису Новиковым, Ольге Ирич, Гале Раббот, Лиде Уракчевой (Ростов-Дон), Татьяне Павловне Денисовой, Людмиле Михайловне Снитенко и Ирине Житковой – первым читателям и критикам за доброжелательность и понимание; Саше Ланда (Торонто, Канада) и Герке Гафту за нашу общую память об улице Герцена;

Кате Рожковой, тонкому художнику, за магическую простоту постижения времени и пространства;

Ларисе Горбатовой за безоговорочную моральную и материальную поддержку;

Алине Венковой и Борису Божкову (Санкт-Петербург) за безотказную скорую разностороннюю помощь, ценные связи и гостеприимство;

Ане Черняховской, бескомпромиссному редактору и верному другу за бесценные советы на всех этапах создания книги; Виталию Палкусу, художнику и поэту, раздвинувшему горизонты пространства и времени, наполнив их своим удивительным видением;

и еще трем моим мальчикам – Андриюше, Васе и Грише, которым я и посвящаю эти легенды и мифы нашей семьи

Наташа Осипова

Некоторые не любят
читать чужие письма.
Некоторые не любят
читать чужие дневники.
Некоторые вообще не любят
читать.
Значит, эта история
о Прошедшей любви,
имеющая такой длинный
подзаголовок —
Легенды и мифы одной семьи
на фоне пространства и времени,
с отступлениями, приложениями
и записками на полях, —
для других.

за ставка



пятницу, 13 июня, в 18 часов, когда тучное небо, наконец, разродилось ливнем, в Малом Манеже открылась выставка «Машина времени. Запад».

Утром этой пятницы какой-то лондонский туман затопил Москву. Хотя почему лондонский, если я Лондона никогда не видела. Опять какие-то киношные или литературные ассоциации. Туманный Альбион. Но мы же не остров в океане.

Днем было дико. Набухшая черная туча висела над головой, давила на плечи. Испуганные птицы стремительно разлетались в разные стороны, пытаясь спрятаться, укрыться от нависшей грозы. Гремел гром. Раскат за раскатом. Ему вторили на все голоса еще никем не отмененные сигнализации машин. Как огромный табун испуганных мустангов в каких-то диких прериях. Где я, естественно, тоже никогда не была.

Но дождя не было.

Ливень начался ровно в 18 часов, именно в то время, которое было указано на пригласительных билетах на вернисаж. Будто и ливень стремился вовремя попасть на машину времени.

Мое обостренное ассоциациями внимание привлекла серия «Моменты времени» — четыре квадратные, 2 на 2, картины молодой талантливой художницы, карандаш. Телефон. Швейная машинка Зингер. Фотоаппарат с гармошкой объектива. «Ундервуд» с латинским шрифтом.

Телефон очень похож на тот, что висел в середине длинного коридора нашей коммунальной квартиры. Но из той квартиры мы давно уехали.

за

Швейная машинка почти такая же, может, чуть старше, была у бабушки, а мама продала и эту игрушку старой жизни за двадцатку малознакомой тетке. Но и мамы очень давно нет.

Такого фотоаппарата в моей жизни не было. Был другой, с объективом без гармошки. У Длинного. Но и Длинного давно нет в моей жизни.

А самый бессмысленный осколок того времени и той жизни уцелел. Точно такая же, как на картине, печатная машинка с латинским шрифтом сохранилась. Только не понятно, для чего, почему и зачем. Для чего ее привез отец Длинного из послевоенной Германии? Почему она без толку пылилась сорок лет на антресолях их дома? Зачем она без толку стоит посреди моей квартиры?

Через картины проступает звук. Одна машинка строчит, другая печатает. И щелчок затвора — снято. Строчит и печатает. Снято. Строчит и печатает. Снято. И вдруг эту пулеметную очередь — строчит, печатает, щелчок затвора — прерывает резкий, требовательный звонок телефона. Еще и еще. Но никто не подходит. И когда ты уже смиряешься с тем, что звонок в никуда, что там тебя никто не слышит, никто не хочет брать трубку, звонок переходит в частые гудки. Связь оборвалась, так и не состоявшись. А ты стоишь на другом этаже, в другом измерении, на другом конце этой связи. И не вешаешь трубку. Будто это ты сам, сегодняшний, застыл с этой трубкой в руке, не в состоянии бросить, прервать, оборвать эту нарушенную несостоявшуюся связь времен. Током пронзает проходящий через тебя телефонный звонок. А нарисованная карандашом трубка все это бесконечно долгое время неподвижно висит на своем спусковом отбойном крючке.

ВЫ ставка



меня красивая сестра, умный брат, а я младшая. Правда, до 12 лет я даже не предполагала, что у меня есть братья и сестры. Но это отдельная история. Я ее когда-нибудь потом расскажу.

А последние два года мы с братом видимся очень часто, почти каждый день. Он учится в университете на Моховой, которую еще не переименовали в площадь 50-летия Октября. Потому что до 50-летия Октября еще больше трех лет. А мы — мама, папа, я, собака Любка и кошка Волжанка — живем совсем близко от Моховой. И брат после занятий приходит к нам со своими друзьями, тоже студентами, которые еще и молодые дарования — поэты, писатели или художники. Год назад, когда брат впервые пришел на мой день рождения, кто-то из его друзей достал новую общую тетрадь в картонном переплете, написал на обложке «Когда человеку семнадцать лет...», подчеркнул слово «человеку», поставил в конце многоточие и пустил тетрадь по кругу. Получилось забавно.

«Когда человеку семнадцать лет — то дело плохо. И очень хорошо. Хорошее соединяется с плохим и получается сносное. Жить можно.

Ю. Сорокин. 17 мая 1963 г.»

«17 лет — почти что молодость.

А. Сенкевич

(из полусобранных собраний сочинений)».

.....

«Гляжу на мир из-под очков.
Она мудра — моя оправа.
И я, как дедушка Чуков-
ский,
пишу о детях. Браво! Браво!
Но где же слава?

Александр Сорокин»

«Купили тетрадку.
Серую... Может быть и серую...
Пришли два поэта. Написали стихи.
Даже наверняка стихи.
Два поэта.
Стихи. Весна.
17 мая.
17 лет.
День рождения сестры.

К. Т.»

«На улице лояльная погода,
Из форточки глядит щенячья морда...
Ю. Сорокин»

«А Вы знаете, что НА
А Вы знаете, что ТА
А Вы знаете, что ШЕ
Что НАТАШЕ
Скоро будет
Восемнадцать ровно лет.
Нет, не тридцать и не сорок,
Восемнадцать ровно лет.
Ну, ну, ну. Врешь, врешь, врешь.
Ну уж тридцать, ну уж сорок —
Это еще туда-сюда.
Восемнадцать ровно лет —
это ж просто ерунда.

(Из черновиков Д. Хармса списал Вадим С.)»



Конечно, они бы могли написать мне стихи и лучше. Ведь я не просто младшая сестра их друга, но и их общая и, кажется, единственная бесплатная и безотказная машинистка. На старенькой маминой пишущей машинке «Москва» я перепечатаваю их творения под копирку в 5-ти экземплярах. Больше экземпляров каретка не берет. Четыре экземпляра я отдаю авторам, а пятый обычно оставляю себе. На моем экземпляре понравившегося мне произведения я требую автограф. Но с автографами у меня произведений не много, все-таки я придирчивая машинистка. Зато у меня, наверное, самое полное коллективное собрание их сочинений. И на что каждый из них способен, я точно знаю. Правда, молодые дарования фамилиями свои стихи и рассказы не подписывают, только псевдонимами. Потому что некоторые из них входят в такое неофициальное литературное объединение, которое назвало себя «СМОГ». Смогисты расшифровывают это так — «Самое молодое общество гениев». Но все неофициальное никакой властью никогда не приветствуется. Поэтому они, на всякий случай, придумали себе псевдонимы. А в тетрадке как раз наоборот, никаких псевдонимов, только фамилии. Может, поэтому и получилось не так проникновенно и не так гениально. Но забавно.

В этом году они, наверно, опять придут на мой день рождения, но это будет только через две недели.



сегодня, 3 мая, в первый день Пасхи, мы с друзьями брата, которые за эти два года стали уже и моими друзьями, едем на дачу. Брата мы с собой не взяли. Потому что приятель брата давно вынашивал план познакомить меня со своим одноклассником. А для этого совсем не обязательно присутствие брата. Этот одноклассник, которого приятель называл не иначе как Длинный, — его самый близкий друг. Но последнее время они стали редко видеться, и причина в том, что приятель влюблен в девушку, которую ревнует ко всем, в том числе и к моему брату, и к своему однокласснику. И он решил обезопасить свою любовь хотя бы с одной стороны. То есть отвлечь Длинного, переключив его внимание на меня.

Кстати, приятель брата и его любимая девушка усердно изучают очень экзотический для нашего времени японский язык, и поэтому мы отныне в этом повествовании будем величать их японистами.

Об этой поездке мы договаривались заранее, еще до майских праздников. Ну кто ж мог предположить, что в мае, да еще на Пасху, пойдет снег. Ехать на дачу в такую погоду совсем не хотелось. К тому же у меня ночью разболелся зуб. Я вообще от природы сова и очень не люблю, когда меня рано будят. А с зубной болью я промучилась полночи и только под утро заснула. Вот тут-то и приехал приятель со своей девушкой, и они стали требовать, чтобы я немедленно одевалась, собиралась и ехала с ними на дачу к еще одному его однокласснику — Левинсону, которого он звал Соном и которого я тоже не знала.

Как человек долга я не могла нарушить данное слово, и, превозмогая желание еще поспать и нежелание выходить под майский снег, я вместе со своей зубной болью отправилась в это запланированное путешествие.

Сначала мы ехали на электричке, а потом заняли заднее сиденье неказистого автобуса, который подпрыгивал на каждой ухабине расползающейся от неожиданного снега местной дороги. Бесконечное количество этих ухабин я чувствовала особенно остро. Для успокоения зубной боли мне выдали бутылку водки, из горла которой я по глоточку цедила бесцветную жидкость. И каждый глоточек из горла приходился на очередную ухабину. А весь автобус с интересом обсуждал, что у меня в бутылке — вода или водка. Большая часть автобусной публики не могла поверить, что такое юное, интеллигентное на вид создание с утра пораньше в автобусе из горла может цедить маленькими глоточками водку. И даже не закусывать.

Вообще-то я водку уже десять лет не пила.



огда, десять лет назад, тоже на майские праздники, мама уехала к папе в Жигулевск, на Куйбышевскую ГЭС, а мы с бабушкой остались вдвоем. И пошли утром 1 мая в Музы-

кальный театр, в оперу. С тех пор я оперы не люблю. Может, потому что прямо из театра бабушку с инсультом отвезли в Боткинскую больницу.

Присматривали за мной соседи-родственники.

Говорят, в детстве я плохо ела. Я этого не помню. Мне кажется, что у меня всегда был отменный аппетит. Но только не утром. Может, потому что я сова. Так вот бабушкин брат, который вместе со своим многочисленным семейством жил в той же, что и мы, квартире, перед моим уходом в школу, а я училась в первом классе, для поднятия аппетита давал мне водки, совсем немножко, с наперсток. С благой целью — чтобы ребенок плотно позавтракал.

Через неделю мама приехала и забрала меня на Куйбышевскую ГЭС, к папе, который сам приехать не мог. Почему — это уже другая история, я ее потом расскажу.

Это был первый в моей жизни выезд за пределы Московской области. Ни на море, ни на воды меня не возили. А за границу тогда не возили никого. Сначала мы ехали на поезде, а потом долго шли по степи, где выяснилось, что у меня на степь аллергия, хотя тогда таких ученых слов не говорили. Но глаза у меня опухли, слезились, и я почти ничего не видела.

Мое восьмилетие праздновали в бараке. На лавках за дощатым столом сидели незнакомые люди. Чему-то радовались, смеялись, много и шумно говорили и пили водку из граненых стаканчиков — стопочек. Перед папой стояло два таких стаканчика, один с водкой, другой с водой. У папы была тогда такая привычка, запивать водку водой. Я за столом не сидела, но время от времени откуда-нибудь вылезала и что-нибудь со стола брала. В очередную вылазку я взяла один из папиных стаканчиков и выпила его содержимое. На это никто внимания не обратил, не на меня, конечно, а на стаканчик. А потом произнесли очередной тост, и папа начал пить из другого стаканчика. И опешил, потому что в его стаканчике оказалась вода. Меня никто не ругал. Но водку я с тех пор не пью.

Так я познакомилась с папой.



И вот спустя десять лет, учась в десятом классе, я, нарушив устоявшуюся традицию, опять выпила водки.

И познакомилась с Длинным.

Иногда такое происходит в художественном произведении, говорят, что это дурной роман или плохое кино. Но у меня вся жизнь соткана из совпадений, повторений, схожих ситуаций, одинаковых сценариев.

Кола Брюньон, читая «Жизнеописания» Плутарха, комментировал это так: «Иной раз, остановившись посередине рассказа, я присочиняю конец: затем сличаю создание моей фантазии с тем, которое изваяно жизнью или искусством. Когда его ваяло искусство, я нередко разгадываю загадку: ведь я же старая лиса, знаю всякие хитрости и посмеиваюсь в бороду, что их пронюхал. Но когда ваяла жизнь, я подчас плошаю. Она лукавее нас, и ее выдумки почище наших». Историю эту я часто слышала от мамы. А еще я слышала от нее изречение классика марксизма-ленинизма и языкознания — что жизнь намного проще, чем думают о ней некоторые диалектики, но она значительно сложнее, чем некоторые диалектики думают. Из этих двух цитат легко можно сделать вывод, что мама была ярким представителем первого поколения советской интеллигенции.

По камушкам, по кочкам, по ровненькой дорожке, в ямку — бух!!! Автобус, мало похожий на карету с пажами, довез нас до дачи, которая тоже не напоминала дворец. Но зато лес вокруг дачи был почти сказочный. И слегка пьяная от водки натоцка принцесса уже познакомилась с принцем. И они отправились гулять в сказочный лес. И принцесса все время теряла свои единственные разношенные туфельки, и все норовила убежать босиком по припорошенной мокрым снегом молоденькой травке, пробивающейся сквозь прошлогодние пожухшие листья. А принц подбирал туфельки, догонял принцессу и чистейшим носовым платком вытирал ей ножки. Получалось смешно.

И немножко напоминало сцену из недавно выпущенного фильма «Чистое небо», который очень нравился родителям. Мо-

жет быть, они в нем узнавали себя. Хотя папа не был летчиком. И не был в плену. Но мамин двоюродный брат, сын того бабушкиного брата, который поил меня по утрам водкой для аппетита, был в плену. Несмотря на то что он был евреем, немцы его не расстреляли, и это было подозрительно. И поэтому его еще на десять лет отправили в лагерь. Но это отдельная история, я ее потом расскажу. А «Чистое небо» всем нравилось, и каждый в нем находил что-то свое. Мне, видимо по молодости лет, больше всего запомнилась игра в снежки и потерянный башмачок. Я явственно видела себя на месте героини. Я вообще часто примеряла на себя фильмы или литературные произведения.

Принц проводил принцессу до Ее улицы, до Ее дома. Но в подъезд не зашел. И даже не попросил номера телефона. Что принцессу немножко расстроило, потому что она еще не знала, что у принца есть своя, продуманная и проверенная на практике тактика, состоящая из нескольких несложных, но эффективных правил.

Правило первое. Знакомиться в компании.

Правило второе. Проявляя заинтересованность в меру, номера телефона у предмета интереса не брать. Взять номерок ее телефона у общих знакомых, но походя, не привлекая их внимания к этому факту.

Правило третье. Позвонить не раньше, чем через два-три дня. Проверить реакцию. Узнать планы. Договориться о встрече через пару дней.

Правило четвертое. Встречаться два-три раза в неделю, в компании или вдвоем. Но первый месяц регулярных встреч не целоваться. Что окончательно должно притупить бдительность объекта и одновременно разжечь любопытство.

Принцесса, наверно, долго не узнала бы про эти правила, если бы на следующий день не рассказала однокласснице историю про зуб, водку, дачу и туфельку.

Понедельник вечером я пришла в школу.

Это была моя четвертая? пятая? шестая? школа.

Чем ближе подходишь к возрасту Тортиллы, тем труднее вспомнить все классы, в которых учился. Но это оказывается все-таки проще, чем вспомнить все романы.

В первом классе первой школы были только девочки, со второго класса нас объединили с мальчиками.

В середине пятого класса я попала в туберкулезную клинику, в которой тоже были уроки. Все, кроме иностранного языка. И меня перевели в шестой класс, но мама уговорила меня остаться на второй год. Нагрузка для больного ребенка меньше. Все повторю и закреплю. И язык начну со всеми, а не буду догонять за целый год. К тому же нашу старую школу — семилетку закрыли. Так я оказалась в новом классе новой школы. Потом, уже в 9 классе, самостоятельно перешла в другую школу, которая мне, наконец, понравилась.

Но тут началась очередная реформа образования. Профорентация. И из десятилетки сделали одиннадцатилетку. Мне, потерявшей уже один год, это грозило окончанием школы в 19 лет. А это, посудите сами, уже перебор.

И я перешла в последнюю (четвертую? пятую? шестую?) школу. В вечернюю. Которую в тот год еще не сделали одиннадцатилеткой. Такой умной в тот год оказалась не одна я. Наиболее сильные (не в физическом, а общеобразовательном плане) мальчики рванули в вечерние школы. Мальчикам лишний школьный год грозил армией. И потому выпуск вечерних школ 64-го года оказался самым сильным за предыдущие (как потом оказалось, и последующие тоже) годы.

В тот понедельник, когда я вечером пришла на занятия, до выпуска оставалось меньше двух месяцев, потому что уже начался май.

Праздники выбивают из колеи. После них хочется отдыха. И муторно возвращаться к повседневной жизни вообще и к учебе в частности. И мы с моей одноклассницей, которая оказалась в вечерней школе, потому что в 16 лет выскочила замуж, сидели на первой парте, предаваясь воспоминаниям, пересказывая события последних дней. Я называла какие-то

имена, фамилии, клички тех, с кем познакомилась только вчера, на Пасху, на даче. На кличке Сон моя одноклассница встрепенулась.

Так Сон, никогда об этом не узнав, всего за два дня сыграл в чужой жизни и чужой истории свою историческую роль. Он больше не возникнет в нашем повествовании. В отличие от большинства действующих лиц, которым свои роли еще предстоит сыграть.

Оказалось, что до того, как моя одноклассница выскочила замуж, она училась в одной школе с теми, с кем я вчера познакомилась. Только на пару лет младше. И, как все младшие, про старших знала все. У кого с кем был роман. Кто куда бегал целоваться на переменке. И массу другой, ценнейшей информации, обладателем которой я стала всего за один урок. В первую очередь, конечно, меня интересовал Длинный, с которым друзья меня пытались последние несколько недель безуспешно познакомить и с которым вчера, наконец, знакомство состоялось. А про него моя одноклассница, кажется, знала все.

Вот и не верь после этого в случай, в судьбу, в стечение обстоятельств. Совпадение обернулось прямым попаданием. В яблочко.



а этот раз его тактика, проверенная практикой, не сработала. Сбой произошел при первом же звонке. Он не предполагал, что я немедленно приглашу его в гости, и от неожиданности согласился. Через полчаса он оказался в нашей фантастической квартире.

В момент его прихода на старинный паркетный пол кто-то пролил то ли чай, то ли воду, но это не вызвало никакого недовольствия окружающих, никто даже не бросился за половой тряпкой. Все спокойно перешагивали через лужицу, не замечая ее. А он заворожено смотрел на эти капли на полу. Это так не вписывалось в устоявшиеся правила его жизни, его дома. Эти капли олицетворяли, символизировали такую легкость и такую свободу, которую он никогда не ощущал. Завораживающие, обманчивые капли.

Конечно, Длинный не всегда жил в отдельной квартире на двадцатом этаже. Родился он во время войны в Куйбышеве, потом уже вместе с родителями перебрался в Москву, где они жили в коммуналке на Арбате, вчетвером в одной комнате вместе со старшей большой сестрой отца. И даже первые годы жизни в высотке они занимали только одну из двух комнат, а в другой жили соседи.

Но никто и никогда, нигде, ни в Куйбышеве, ни в общей квартире на Арбате, ни даже на даче, так бесцеремонно не относился к луже на полу.

И тогда произошел второй сбой.

В доме было полно народу, у нас всегда было полно народу, но он этого еще не знал, и никто не обратил внимания на приход еще одного гостя. Не то чтобы с ним обошлись невежливо, с ним поздоровались, даже познакомились, но все продолжали заниматься своими делами и разговорами. А скоро должны были прийти еще и мой брат, и наш, теперь уже общий, приятель со своей девушкой.

— Скоро будем обедать. Сбегай в молочную за сметаной.

Такая фраза, спустя 40 лет, может вызвать недоумение. Почему бы не купить сметану заранее и просто достать ее из холодильника, когда накрываешь стол к обеду.

Но тогда холодильников не было. Их, конечно, уже изобрели. Но были они далеко не в каждом доме. Кажется, это был даже больший предмет роскоши, чем автомобиль. В семье Длинного был автомобиль, и холодильник был, и стиральная машина была. Но я тогда таких подробностей о благополучии его семьи не знала. И меня, надо сказать, это совершенно не интересовало. А в нашей квартире ни у кого не было стиральных машин, автомобилей и холодильников. Ни одного холодильника. На всю квартиру. На все пять семей.

И потому продукты, особенно в теплое время года, покупали на один день. И продукты тогда были в основном развесные. И сливочное масло было развесное, и топленое. А молоко или сметану продавали в разлив. И потому за молоком и сметаной надо было ходить со своей тарой. Бидоном или банкой.

Но, несмотря на такое архаичное обслуживание покупателей, очереди были не очень долгие и длинные — четыре-пять человек, минут 10. И к этому все привыкли. А магазинов самообслуживания — универсамов — тоже не было.

Все в этом мире взаимосвязано. Появились у всех холодильники — появился фасованный товар — открылись универсамы. Кстати, это произошло довольно быстро. Уже лет через пять-шесть.

Но той весной я взяла обычную пол-литровую банку и отправилась в обычную молочную за обычной развесной сметаной. В компании с Длинным.

Мамино предложение оказалось как нельзя кстати. Дома было слишком много народу. А мне надо было проверить на Длинном полученную вчера от одноклассницы информацию. И успеть это сделать до прихода японистов, которые должны были появиться с минуты на минуту. Поход в молочную добавлял мне как минимум минут 20.

— Вы учились в той школе, в переулке, напротив дома с лифтами?

— Ну, да.

Некоторое недоумение от такой детализации, но никакого ощущения подвоха.

— Это в этот лифт ты бегал на переменке целоваться с Танечкой?

— А он не рассказывал, как выносил на балкон голую Леночку?

Странная манера держать удар. Ни малейшего удивления. Да собственно, чему удивляться? Кто, кроме лучшего школьного друга, мог поведать мне за последние сутки такие интимные детали его первой любви? Ну, раз уж друг на такое пошел, можно (даже нужно) и его похода заложить. Живописные подробности в отместку на вероломное предательство. И ни секунды сомнения. Даже в отношении лучшего друга.

Теперь важно мне ничему не удивляться. И выяснить поподробнее про Леночку. Обидно, что молочная слишком близко. И дома ждут сметану. И очередь совсем небольшая. Всего три человека. Взвесили баночку. Зачерпнули полов-

ником густую сметану из большой бадьи. Половник над банкой. Глаза на стрелке весов. Конечно, никаких завинчивающихся крышек. Да и пластмассовых тоже еще не изобрели. Нет, наверно, уже изобрели, но в массовое производство еще не запустили. Продавщица закрывает баночку вощеной бумагой. А ты уже сам аккуратненько подгибаешь края этой бумаги по кругу. Получается аккуратная крышка. Теперь главное — не наклонять банку. Но это все привычно. Размеренные движения продавщицы, отработанные движения покупателя. Это как фон к удивительной истории про голую Леночку, которой захотелось подышать свежим воздухом, а одеваться было лень. И японист, он же — джентльмен, завернул Леночку в одеяло и вынес на балкон. А сам одеваться не стал. Жарко ему было. Он даже очки не надел. Потому и не заметил на соседнем балконе тетку. Зато эта тетка все в деталях углядела. И при первом же удобном случае с охами и ахами, с огромным сочувствием, стыдливо опуская глаза, поведала Леночкиной матери эту душераздирающую историю про современную молодежь, которая, пока родители вкалывают, занимается черт знает чем. После этого наш друг японист боялся Леночкиной матери на глаза показаться. Так их роман и закончился. Вот до чего близорукость может довести. Хорошо, что тетка не закричала, а то он мог бы от неожиданности Леночку с балкона уронить.

— А Леночка тоже с вами в одном классе училась?

— Нет, это уже на первом курсе было.

Домой я торопилась не из-за сметаны. Мне не терпелось рассказать теперь уже приятелю, да еще в присутствии его девушки, и о балконе, и об одеяле. О, это выяснение отношений двух лучших друзей надо было видеть или хотя бы слышать.

— Можно подумать, что на вас с Галкой что-то было одето.

— Ну, очки-то на мне были, — парировал Длинный.

Так невзначай, проходя, между прочим, к слову, в этой истории появилась Галка.

А рядом было полно народу, все обрадовались появлению сметаны и возможности, наконец, сесть за стол. И никому не

было дела до тихого шипения двух лучших друзей, пытавшихся понять, кто первый, почему и зачем посвятил меня в их прошлые тайны.

Я не могла долго оставлять их в неведении и, конечно, открыла источник информации, но ни Длинный, ни японист не могли даже приблизительно вспомнить мою одноклассницу по своей школе и, кажется, не очень в ее существование поверили. А потом, когда закончился ужин и улеглись страсти, мы все вместе — японист, его девушка, Длинный и я — отправились гулять с Любкой. Конечно, она была уже в преклонном возрасте, и ее надо было бы уважительно называть Любовью Прохоровна, но я все равно называла ее Любкой. Она знала все мои тайны и умела их хранить, а не выбалтывать, как я, при первой же возможности, чтобы привлечь к себе внимание или устроить цирк.



Любка была удивительной собакой. С ней было связано много замечательных историй. Ее любил кормить сахаром Козловский, тот самый лирический тенор, который и Ленский, и Юродивый. Он жил в переулке напротив Консерватории. Вечером он выходил гулять, и его горло всегда было заматано шарфом, который прикрывал даже рот. А в кармане у Ивана Семеновича всегда были кусочки колотого сахара, которым он кормил понравившихся ему собак. Любку он всегда кормил.

Как все пудели, она умела ходить на задних лапах. И была очень доброй. Но кошек не любила. Даже соседских. Пока мама не привезла котенка. Родители вернулись из очередной командировки в Жигулевск, куда они последнее время ездили, кажется, по два раза в год, и котенок сидел в вырезе маминого платья на груди, потому что руки были заняты вещами. Назвали его Волжанка. И ей Любка позволяла все — бить себя лапой по морде, есть из своей миски, садиться себе на спину.

Любку никто не учил охотиться. Но ей это передалось по наследству. Говорят, пудели охотились на дичь. И на даче Любка могла два часа пролежать в кустах, не двигаясь, ка-

рауля соседскую курицу. А потом притаскивала ее в зубах и гордо клала у маминых ног. Вскоре прибежала хозяйка курицы, объясняя, что наша собака задрала ее лучшую несушку. А цена несушки совсем другая, нежели дохлой курицы. И мама платила как за несушку, но Любку все равно не ругали — разве можно за инстинкт ругать. Часто на улице из-за нее происходили споры. «Овца?» — «Нет, собака!» — «Нет, овца» — «Продай овца!»

У нее была очень теплая шерсть. Теплее овечьей. И полезнее. И от радикулита, и от ишиаса. И из этой шерсти можно было вязать носки, и варежки, и жилетки, и свитера. Но сначала надо было шерсть спрясть. А прясть у нас никто не умел. И вязать никто не умел. Нет, бабушка, конечно, умела. Но она не могла. У нее был паралич. А мама не умела ни вязать, ни шить, ни вышивать. Все эти домашние женские занятия совсем ей не подходили. А она к ним и близко не подходила. А меня никто не мог научить вязать. Ведь я была левша. Это меня только писать переучили в первом классе слева направо. А ела, шила, рисовала, чертила, вышивала — только левой рукой. А чтобы вязать — это надо, чтобы тебе тоже левша хоть один раз показал, как петли набирать. Но в моем окружении долго, до самого университета, не было ни одной левши, умеющей вязать.

Поэтому из Любкиной шерсти мы не вязали ни носки, ни варежки, ни жилетки, ни свитера. И отдавали эту очень полезную и теплую шерсть знакомым. У кого был ишиас или радикулит. А иногда мы отдавали Любкину шерсть бывшим нянечкам, которые уже обзавелись семьей, жили в общности и изредка, по старой привычке, заезжали к нам, приносили сало и самогон, привезенные из деревни, где жизнь по-прежнему была очень тяжелой. У наших бывших нянечек в деревне остались родственники. И там еще не разучились прясть. А вязать и каждая нянечка умела. Только они не были левшами.

Обычно раздача шерсти происходила весной, когда Любку стригли. Она стричься не любила и, услышав слово «ножницы», тут же пряталась под стол или под диван. Мы, ко-

нечно, не были варварами, и не стригли Любку под пуделя. Может, в каком другом климате собаке и пойдет такая стрижка. Но не в московском. Зимой, в сильный мороз у нее даже лапы мерзли. И она по очереди подгибала их, сжимая жесткие выпуклые подушечки подошв. Грела. Но сама она никогда не мерзла. А так, при модельной стрижке и зад, и спина — все бы замерзло. А летом даже стриженной ей было жарко. И она тяжело дышала, и высовывала язык, и могла сразу выпить целую миску воды. А что бы с ней было, если бы верхняя часть ее туловища оставалась нестриженной? Нет, под пуделя мы ее не стригли. Но весной ее обязательно стригли. Наголо. Только на обрубленном еще в ее детстве хвосте оставались длинные вьющиеся шнуры. Но она не хотела понимать, что это для ее же блага, чтобы ей летом не так жарко было. И всегда пряталась под стол или под диван, если спросить: «А где у нас ножницы?» Но мы так спрашивали, только когда играли с ней, шутили. А перед приходом специального собачьего парикмахера про ножницы никто никогда не говорил. Табу. Запрещенное слово. Зачем собаку нервировать. Ей еще предстояло целый час нервничать, стоя на столе, покрытом простыней и газетами, под абажуром, в котором ярко горели лампы, удерживаемой по очереди мамой, папой или мной, пока ее стриг специальный собачий парикмахер. И потом еще как минимум месяц мы старались не спрашивать ее про ножницы.

Зато она умела залиvistо лаять, если у нее спросить: «Как московские собаки лают?» И поэты ей посвящали стихи. Однажды к маме с папой пришел их знакомый — молодой поэт и драматург. Но вместо того, чтобы поговорить с ним на всякие возвышенные темы — про его новую пьесу, например, — его попросили погулять с Любкой. Потому что все болели, а собаке и в такой трагической ситуации надо гулять. Сначала молодой поэт, который был и драматургом тоже, немножко растерялся. У него не было собаки, и он не очень понимал, как, где и сколько Любку надо выгуливать. Но он все-таки пошел с ней гулять. Потому что хорошо относился к маме и к папе. А когда они вернулись — Любка и поэт, то все его пе-

реживания тут же превратились в стихи. Потому что он был поэтом, а она была замечательной собакой.

*«Мы обнюхали все водосточные трубы,
И обошли все снежные кучи, —
Я при этом выглядел глупо,
А она как нельзя лучше.
Как часто бывает при первой встрече,
Я говорил, а она молчала.
Но на душе у меня стало легче:
Было положено дружбе начало.
Она расстроилась, я расстроен —
Эх, выпить бы и закусить штруделем
В честь прекрасной дружбы достойных —
Поэта и королевского пуделя!»*



опала она к нам уже взрослой, в то лето, когда мы снимали дачу в Переделкино. Дачу мы снимали каждое лето, но почему-то в разных местах — в Отдыхе, Малаховке, Лосе, Кратово, на 41-м километре и еще где-то, и еще где-то. И каждый раз на соседней даче оказывался кто-то из знакомых или друзей папы и мамы. Один раз муж маминой школьной подруги поехал снимать дачу себе и нам. Снял. Вернулся. Рассказывает: «Участок — одна сосна». Ну, все, конечно, обрадовались. Сосновый воздух детям очень полезен. Когда в июне, на открытом грузовике, где было очень весело трястись в кузове с вещами, мы подъехали к калитке снятой дачи, все долго смеялись. Потому что участок был абсолютно голый, и на нем была одна-единственная сосна. И ругаться уже было глупо. Но это было другим летом, то ли в Отдыхе, то ли в Малаховке.

А в то лето мы снимали дачу в Переделкино. Напротив нас жила папина приятельница, с которой они вместе работали в «Огоньке». А потом их вместе посадили. Тогда по огоньковскому делу, которое еще называли делом Осипова, посадили человек двадцать. В восьмом классе я влюбилась в сына папиного друга и по «Огоньку» и по несчастью. Но это было позже. А тогда мы жили на даче напротив папиной приятельницы. Эта приятельница

в своих воспоминаниях, опубликованных, кажется, сначала за рубежом, а потом уже у нас, доказывала, что тогда ее посадили совсем не по осиповскому делу. Ее много раз арестовывали и сажали. Последний раз ее посадили вместе с дочерью уже на моей памяти. И газеты за рубежом много и возмущенно писали про это.

Но в то наше переделкинское лето все было хорошо. Они с мужем часто приходили к нам, потому что мы жили прямо напротив их дачи. И с ними приходили совсем молодые поэты. И много говорили про поэзию, литературу, жизнь. Но я не слушала. Я убегала гулять с собакой, с черным шнуровым королевским испанским пуделем — Любовью Прохоровной. Прошка, отец Любки, был псом известного писателя, который подарил папиной приятельнице щенка. Но это было несколько лет назад. А в то лето Любка была уже взрослой. Папина приятельница каждое утро приводила ее к нам. Чтобы собака привыкла к нам. А вечером Любку забирали назад. Чтобы она потихоньку к нам привыкала.

Вообще у папиной приятельницы было две собаки. Но другая была не черная, не королевская и не испанская. Она была дворняга. И ее тоже хотели отдать. И отдали кому-то через две деревни. Но она прибежала. Ее еще раз попытались отдать. Но она опять прибежала. И больше ее не отдавали. И она, уже совсем старенькая, дождалась возвращения папиной приятельницы из последнего заключения.

Собак решили отдать в то лето, потому что в их семье произошло несколько романтических историй — и всем стало не до собак.

Первая история была связана с матерью папиной приятельницы. До революции у нее был роман с офицером. Но им не разрешили пожениться. А теперь, когда у нее умер муж, а у него жена, они поженились. И ходили под ручку, очень прямые (дореволюционная выправка), седые (годы свое взяли) и счастливые. Они не жили на даче, но в Москве они жили совсем недалеко от нашего дома, в переулке, рядом с пожарной частью, ГИТИСом и театром Маяковского, который все по старой привычке называли театром Революции.

Вторая история тоже была связана со свадьбой. Дочь папиной приятельницы собиралась выйти замуж за француза.

А у него уже заканчивалась виза. И у нас на террасе долго обсуждали, что лучше: сначала подать документы на продление визы, а потом в загс, или наоборот. Решили, что вернее сначала подать документы в загс, тогда уж в визе не откажут. В загсе документы приняли, но в визе все равно отказали. Боялись, что дочь после свадьбы уедет во Францию и увезет с собой архивы мужа папиной приятельницы. Папину приятельницу звали Люся Ивинская, ее гражданским мужем был Борис Пастернак, которому в тот год одна общественность присудила Нобелевскую премию, а другая его за это осудила.

А Любка к нам привыкла. И мы вместе с ней, правда, не на грузовике, а на легковушке, вернулись в конце лета в Москву.

Длинному мало что говорила фамилия Пастернак, ничего не говорила фамилия Ивинская, но к Любке он отнесся снисходительно положительно, как ко всему, что меня окружало. Для него это была Моя собака, благодаря которой мы могли ежедневно совершать часовые прогулки, завоеывая новые пространства и погружаясь в старые истории.

Мы всегда гуляли вдвоем — он, я и собака Любка. Это был уникальный случай, когда третий совсем не лишний. Любка нам никогда не мешала. Потому что она была замечательная собака.

 тот вечер Длинный нарек меня Чудом. Подействовал ли уже пьянящий майский воздух, или история с одноклассницей, или та лужа на паркете, или все вместе выразилось одним словом и стало именем. И это было тем более странно, что в реальной жизни имя мне дали только через три месяца после рождения. То есть к осени. А до этого звали по-разному. И Маней, Машенькой, Марусей, может, в честь бабушки Марии Константиновны. И Наташей. И еще как-то. И со всеми советовались, как лучше назвать. Михаил Аркадьевич Светлов, с которым мама и папа дружили, отреагировал по-своему: «Все имена отдам, кроме Родам». Его жену так звали — Родам.

Это были первые стихи, посвященные мне.

Спустя семнадцать лет, на праздновании своего шестидесятилетия в недавно открывшемся новом здании ЦДЛ, Светлов увидел меня с родителями и громко, как мне казалось, на все фойе, воскликнул: «А, это она меня описала!» Тогда я готова была сквозь землю провалиться.

А сейчас даже немножко горжусь. Но тогда мне было 17, а сейчас уже столько лет, что этим хвастаться не приходится.

А называли меня, как уже можно было догадаться, Наташкой. Замечательное имя. В фильме «С легким паром» обязательно добавили бы: «Главное — редкое». Но тогда, хотя это почти невозможно представить, этого фильма еще не было. А так, по существу, верно. В первый год моей учебы в школе более трети класса были Наташами. Потому что в первом классе я училась в женской школе. И нас, чтобы не перепутать, звали только по фамилиям, что было обидно. Потому что мое имя мне еще в колыбели нравилось больше всех других. И я его получила. Правда, три месяца пришлось подождать. У меня потом в жизни часто бывало, я получала то, что хотела, но всегда надо было ждать. Иногда очень долго. Но только не в этот, мой во всех отношениях год. В этот насыщенный до предела событиями и эмоциями год все происходило очень быстро и как-то само, будто по мановению волшебной палочки. Как в сказке.

И Длинный назвал меня Чудом сразу, на второй день знакомства, еще за две недели до дня рождения. И я, ни минуты не возражая, согласилась поменять свое замечательное имя на новое.

Он подарил мне имя, я дарила ему свою улицу.

 моя улица, такая уютная, любимая и знакомая, оказалась прямой дорогой к нему. Прямой не бывает. Она заканчивалась у его дома. И на ней, на этой улице, расположились почти все события моей огромной (приближающейся к восемнадцатилетнему) жизни. Его жизнь, уже отметившая свое двадцатилетие,

и ее события пролегли чуть в стороне. Чуть наискосок, перелучками, но тоже рядом. Потому что он не всю жизнь жил в вы- сотке (когда мы с мамой ездили по будням в мой детский садик или по воскресеньям в зоопарк, его дома еще не было). И ро- дился он не в далеком, неизвестном городе, а в Куйбышеве, где 10 лет назад мы были проездом с мамой, когда меня первый раз привезли в Жигулевск на строительство Куйбышевской ГЭС. Это когда я познакомилась с папой. И в детстве, до высо- тки, Длинный жил рядом, на Арбате. Тогда не было ни Нового, ни Старого, а был просто — Арбат. А с Арбатом у меня были свои связи и свои истории. Например, мое самое первое само- стоятельное путешествие. Оно было не очень далеким. Всего километра два или три. И не очень долгим. Каких-то полчаса. Но запомнилось надолго.



та прогулка была запланированной. Я бы сказала, она была деловой. Сначала в детскую поликлинику получить выписку в детский сад после моей очередной болезни, а оттуда в гас- тронорм на Смоленской. Через Арбатскую площадь, посреди которой стояла булочная, мимо аптеки со ступеньками, че- рез Собачью площадку.

Какое замечательное название улицы. Почему его не восстановили?

Бабушка в это увлекательное путешествие отправилась пеш- ком, а я на своем любимом боевом трехколесном велосипеде. Скорость у нас была примерно одинаковая, никто не отставал, никто не убежал вперед. Мы уже получили выписку и уже почти дошли до Смоленского гастронома. Но тут бабушка встретила приятельницу. Они оживленно разговаривали и совершенно забыли про меня. Ну, это же не дело неподвижно сидеть на трех- колесном велосипеде, когда на тебя совсем не обращают внима- ния. Нет, это не было демонстрацией. У меня и плана никакого не было. Я просто тихо, медленно поехала в сторону дома. То- пографический кретинизм мне никогда не был свойствен, даже в пять лет. А уж дорогу домой я знала как свои пять пальцев. То есть я могла бы ее найти даже с закрытыми глазами. Но глаза

у меня были широко раскрыты. И, как человек общительный, я по дороге общалась с разными прохожими. Пока не выбрала себе настоящих попутчиков. Они оказались студентами с юрфа- ка. А я знала, что юрфак находится в соседнем доме. И они как раз туда направлялись. То есть нам было совсем, совсем по пути. Эти три студента мне даже больше обрадовались, чем я им. И нам было очень весело. Я даже не заметила, как мы оказались около юрфака, где мы, наконец, распрощались. И я поехала к соседнему дому — домой. Но на подступах к дому были почему- то и бабушка, и няня, и мама, и еще милиционер. И все очень нервные и громкие. Но когда они меня увидели, им, по-моему, плакать расхотелось. И что, собственно, было переживать?

У меня, наверное, раздвоение личности. Я, сегодняшняя, пытаюсь представить на этом велосипеде одного из своих внуков, и мне ста- новится плохо. Но как только я опять представляю себя, я и сегодня чувствую, что я, тогдашняя, была, в общем-то, права. И мне тог- дашней — не страшно. И даже сегодняшней — не стыдно. Мне ин- тересно. Мне весело. Что это было — азарт, авантюризм, свобода? Если бы не испуганные родственники вместе с милиционером, я это путешествие и не запомнила бы, настолько оно было естествен- ным. А после взбучки оно запомнилось — приключением.

Из моего рассказа Длинный должен был сделать вывод, что я с детства была очень самостоятельна, общительна, хорошо ори- ентировалась в пространстве и легко находила выход из любой ситуации. Но, может быть, он сделал другой вывод. Коммен- тировать мой рассказ он не стал. Видимо, в его детстве похо- жих ситуаций не было.



детстве моя улица казалось мне огромной. В несколько (во сколько же? раз, два, три, четыре) — в четыре троллейбус- ные остановки. Можно на 8-м, а можно и на 5-м. Потому что оба маршрута проходили через мою улицу из конца в конец. Это были чинные воскресные поездки с мамой в зоопарк, и поездки в ту же сторону, но уже будничные, когда мы всег- да опаздывали в детский сад, расположенный рядом с особ-

няком Берии. И в другую сторону улицы прогулки, чаще вечерние, пешком — потому что это было уже совсем близко — в Александровский сад, где был обелиск, а Вечного огня еще не было. И еще не было выставок в Манеже, а был гараж. И никакого Церетели.

Днем в Александровский сад, где был замечательный грот (он и сейчас там есть, но как-то потерялся среди творений великого предпринимателя от архитектуры), мы ходили не с мамой, а с няней. Няни, которых тогда называли домработницами, менялись. После войны девушки приезжали в Москву из деревни, где жизнь была совсем плохая. Они жили в маленькой проходной темной комнате перед двумя нашими большими. С ними заключали договор об оплате, отпуске и одном выходном в неделю. Я не помню, чтоб у них были выходные. А отпуск они иногда брали и уезжали к родным в деревню. А когда возвращались, привозили сало и самогон. Но обычно самогон у нас дома никто не пил. Однажды пришли папины друзья. На столе было разнообразие выпивки — и водка, и вино, и даже шампанское. И это всех устраивало. Кроме одного папиного друга, который в этот день, наверно, не хотел пить. Но он решил это не демонстрировать. И потому мечтательно произнес: «Вот самогоночки я бы выпил». Он знал, что такого напитка в нашей интеллигентной семье просто не может быть. Ему крупно не повезло, потому что няня только накануне вернулась из отпуска в деревне. И у нас был самогон.

В Александровском садике няни иногда знакомились с кремлевскими курсантами. И мы часто ходили смотреть смену караула. А вдруг там будет наш кавалер? Но в этом нам ни разу не повезло. Зато я быстро перенимала лексикон общения няни и курсанта. И однажды, когда мы с мамой возвращались из детского садика, я громко, на весь троллейбус, сказала чужому дядечке, с которым рядом сидела и мило беседовала: «А теперь дайте ваш адресок». До дома мы не доехали две остановки. Мама схватила меня за руку и выскочила из троллейбуса.

Потом няня, освоившись в Москве, шла на стройку, выходила замуж, перебиралась в общежитие. Но еще какое-то время нас

навещала. А у нас появлялась новая няня, которая поселялась в маленькой темной комнатке, больше похожей на чулан, но проходной. И поэтому эту комнату звали прихожей.

И с няней, и с мамой, и с бабушкой мы ходили не только гулять, но и в магазины. Их много на нашей улице, почти в каждом доме. В нашем — большой магазин «Рыба», с тремя видами черной развесной икры в лоточках и с аквариумами, где плавают зеркальные карпы. Я обожаю рыбу в любом варианте, даже после рыбьего жира ложку облизываю.

Но воблу в магазине «Рыба», который занимает первый этаж дома, где мы живем, не продают. Ее продают во дворе — во дворе магазина, во дворе нашего дома, во дворе моего детства. Первые приготовления к торговле — сооружение подобия прилавка. Это был как призыв к жильцам нашего разноэтажного, разноуличного двора. Вместе с весами возникает очередь. Когда на тележке вывозят товар, очередь насчитывает уже человек пятьдесят. В ней нет и намека на нервозность 80-х. Все свои, и продавец, и покупатели. Чинная медлительная очередь. Для соседок — возможность обсудить последние новости. Для детей, которые на лето остались в городе, — поглазеть в зарешеченные полуподвальные окна артели по изготовлению восковых муляжей, тоже расположенной в нашем дворе.

Сейчас у меня в квартире стоит плетеная корзинка с яблоками, апельсинами, сливой, клубникой, вишенками. Конечно, они собирают много пыли. Потому что они не настоящие, а восковые. Но я их люблю. Может быть, они мне напоминают детство. И воблу люблю. Почти так же, как в детстве. Запах детства. Вкус детства.

А через остановку от нашего дома, у Никитских ворот — маленький магазинчик, на трех ступеньках, где в 20-е годы бабушка открыла частную столовую и вспоминала, что там обедали Маяковский и Есенин. Ведь Есенин совсем рядом, всего через три дома отсюда, работал в магазине Московской трудовой артели художников слова. А другой магазинчик, в витрине которого стояли три довольных поросенка, все так и

называли — «Три поросенка». А еще был большой, полукруглый, в виде подковы, магазин, витрины которого всегда были украшены пирамидами пыльных банок с крабами. В магазине висели плакаты, пропагандирующие полезность и вкусность салата с крабами. Рекламировать ничего было нельзя, даже слова такого «реклама» не было, а было слово «пропаганда». Но, несмотря на активную наглядную агитацию и пропаганду, крабов в собственном соку никто не брал.

Зато рядом, в Консервном магазине, где сохранились хрустальные дореволюционные люстры, была очередь за кукурузой в початках. Эта замороженная кукуруза, которую продавали только зимой, ассоциировалась, как мандарины, с Новым годом и елкой. Початки варили в огромной кастрюле, натирали солью и маслом. Но это было еще до того, как Никита Сергеевич стал пропагандировать кукурузу. А когда стал, в Консервном магазине у Никитских ворот она пропала. И пропала частица праздника.

А ранним, еще темным, потому что зимним, утром мы ходили с бабушкой во двор Министерства внутренних дел, которое было тоже рядом, ближе Телеграфа, где к каждому празднику была фантастическая иллюминация. Во двор МВД привозили настоящее разливное молоко. Которое, конечно, ни в какое сравнение с бутылочным магазинным не шло. А может, тогда и не было молока в бутылках, и оно появилось позже. Там, в той очереди, я себя чувствовала по-настоящему взрослой. Молоко давали по одному литру в руки. И очередь надо было занимать заранее, задолго до того, как из колхоза приезжала машина. И на руке чернильным карандашом писали номер. И только по этому номеру пускали в очередь и давали литр молока. У бабушки на ладони был свой номер, у меня на ладони — свой. Благодаря мне, мы, замерзшие, с неотмывающимися чернильными номерами на ладонях, но безумно довольные, приносили в бидоне два литра молока. И это было счастье.

А какое счастье было принести домой ночью горячий хлеб! Нет, хлеб, конечно, продавался и днем. Батоны, булки, буханки, халы. Я больше всего люблю хрустящий загиб городской булки по семь копеек, которую все называют «фран-



цузской булочкой». За хлебом не надо было далеко ходить. Булочная-кондитерская тоже была в нашем доме. Но днем никогда не было такого душистого мягкого горячего хлеба, как ночью с машины, привозившей его в нашу булочную прямо из пекарни.

Ночью машин на улице было совсем мало. И приближающийся со стороны Консерватории закрытый хлебный фургон было видно сразу. И прохожих было мало. Их почти не было. Только у специального обитого металлом разгрузочного окна булочной стоял рабочий в белом фартуке, в специальных рукавицах. Как часовой на посту, в ожидании фургона. И если фургон, уже выехавший из ворот хлебозавода на Красной Пресне, до нашей булочной еще не доехал, то можно было подойти к рабочему, поговорить с ним, узнать, скоро ли будет хлеб, и договориться о продаже буханки или булки. А когда подъезжал фургон и открывались его двери, всю улицу наполнял запах свежего хлеба. Особенно чист и манящ он был зимой, на морозе. Рабочий вытаскивал большие деревянные поддоны, каждый со своим сортом хлеба — с батонами, буханками, халами, кирпичиками, над которыми неизменно на морозе поднимался пар. И передавал их через открытое разгрузочное окно в чрево булочной. А оттуда, из разверзшегося металлического окна кто-то невидимый возвращал пустые поддоны, освободившиеся от проданного за долгий день хлеба. Все происходило в строгой, определенной раз и навсегда последовательности. Ритуально четко. Размеренный обмен поддонами завершен. Подписаны накладные. Защелкнулись дверцы машины. Фургон тронулся в свой рассчитанный по минутам путь к другой булочной. И только тогда наступал момент выдачи хлебов страждущим. Чудо свершалось. И тогда металлическое окно хлопывалось.

И можно было тут же отломить горбушку и прямо на морозе вкусить...

Хруст снега под ногами. Хрустящий разломанный хлеб в руках. И его вкус. И его запах. И поток мельчайших серебра-

щихся снежинок в луче уличного фонаря. Момент абсолютного счастья.

И ни одного прохожего, и ни одной машины. И только редкие окна светятся в ночи. И куранты отсчитывают четверть. Моя улица, как и огромный город у нее за спиной, погружается в ночь, в сон, в покой.

Сейчас столько ночных магазинов, что не придет в голову покупать хлеб с машины. Но в ночных магазинах ночью почему-то никогда не бывает горячего хлеба.

На такие прогулки мы обычно отправлялись втроем — папа, я и собака Любка.

Когда вернулся папа, когда появилась Любка, прогулки стали ежедневными, обязательными, при любой погоде. Так с появлением Любки к нашим спешным дневным или чинным вечерним прогулкам добавились еще и ночные. Они были особенными. Ночью Москва совсем другая, нежели днем. И люди другие. И запахи. Может, потому что ночью людей очень мало, и легче, проще увидеть конкретного человека, чем днем, в сутолоке, в толпе, в беготне. Разный ритм. И в каждом есть своя прелесть.

С Любкой появились проходные дворы, скверики, садики, переулки. Ведь не будешь выгуливать собаку на улице. Да она и сама не будет там выгуливаться. Она любит укромные места, ближе к природе, желательно травку под деревом или кустиком. Выгул — это все-таки дело интимное. Неторопливое. И в любую погоду.

Сейчас мы втроем — Длинный, я и собака Любка — открывали Мою улицу заново, шаг за шагом, событие за событием. В детстве Длинного не было нянь, не было детского сада, и ночных прогулок с собакой никогда не было, и собаки тоже не было. И утренних походов за молоком не было, и очереди за воблой не было. И на моей улице, которая была так близко от его и старого, и нового домов, он почти никогда не бы-



вал. Она пролежала чуть в стороне от его привычной жизни и от его привычных маршрутов.

Моя улица начиналась у Манежа. Когда-то трамваи ходили по Моховой, поворачивая на Герцена. Но это не память, а открытка. Сейчас трамвая нет. Но мне он и не нужен, чтобы добраться до Моховой, куда я теперь почти ежедневно бегаю на подготовительные курсы, ведь мне предстоит в этом году поступать в университет, на Мой факультет. А заканчивалась Моя улица на площади Восстания, прямо перед Его домом.

От баррикад Красной Пресни и от октябрьских боев у Никитских ворот семнадцатого года, мимо юридического факультета, в здании которого в 1941 году формировались части народного ополчения, шла моя улица к стенам Кремля. И в самом ее имени — революция, набат, колокол. Революционный настрой вместе с революционной символикой я унаследовала от родителей. Хотя мама была сталинисткой, а папа сталинистом не был, революцию они оба принимали безоговорочно. И наша улица была частью революции уже своим названием.

Теперь моя улица опять называется Большая Никитская («Большая Микитинская» — говорила старая, мама, нянечка). Мне, конечно, не все понятно с переименованиями улиц. Почему Болотная лучше, чем набережная Репина? В чем провинились Пушкин и Чехов? И почему есть Ленинградский проспект, если нет города Ленинград?

Для меня моя улица осталась улицей Герцена.

Эта улица была еще и очень творческой. С первыми международными конкурсами имени Чайковского, с Ваном Клиберном и «Подмосковными вечерами». С первыми московскими праздниками песни, когда в полукруге памятника (который, оказывается, установлен уже на моей памяти, но невозможно вспомнить, как было без него) стоял хор, а улицу перекрывала толпа. И все пели. А мама вспоминала, что

в двадцатые или тридцатые (одинаково далекие для меня) годы Консерватория была кинотеатром «Колос», и там впервые пошли звуковые фильмы — «Путевка в жизнь» и «Механический предатель». Первый фильм в моем детстве часто показывали в кино, фильмов тогда было мало, но кино все любили и каждый фильм знали наизусть. А «Механического предателя», который был ровесником «Путевки», почему-то не показывали вовсе, хотя в нем играл сам Игорь Ильинский. То ли название было неправильное, то ли что-то в содержании, но я никогда этого фильма не видела и слышала о нем только от мамы.

Меня не удивляет и не расстраивает, что я сегодня не знаю ничего про десятки, сотни, а может, и тысячи кино, видео- и телефильмов, появляющихся ежедневно. Но мне странно и чуточку обидно, что тогда, в середине 50-х или в начале 60-х, я ничего не знала о фильме двадцатилетней или тридцатилетней давности. И еще я до сих пор не понимаю, зачем из Консерватории надо было делать кинотеатр. Кинотеатров даже на нашей улице было несколько, а Консерватория во всей Москве — одна.

А дальше на этой улице был театр. Имени Маяковского он тоже стал на моей памяти, но его еще продолжали называть театром Революции. Когда-то здесь ставил пьесы Мейерхольд, а потом Охлопков. И «Иркутская история», поставленная им на этой сцене, была целым событием — театральной Москвы или моей жизни? И еще на моей улице была легендарная газета «Гудок» и легендарный кинотеатр повторного фильма. И ДК МГУ с эстрадной студией «Наш дом», без которой потом не появился бы театр у Никитских ворот Марка Розовского. И ДК медработников. И Дом литераторов, где совсем недавно, менее года назад, мы были на вечере, посвященном 60-летию Светлова. И там были и Смеляков, и Слуцкий, и Паперный, и Безыменский, с которыми родители хорошо знакомы. И это был совсем не торжественный, а очень веселый вечер. Потому что Светлова все любили.

Постоянный, часто выплескивавшийся на улицу — с толкотней у входа, с поиском лишнего билетика — праздник.

Праздник на моей улице начинался раньше, чем во всем остальном городе. Москва готовилась к 7 Ноября или Первомаю. И недели за две в вечерних сумерках шла по улице техника на репетицию своего парада, оставляя тяжелые следы на тонком асфальте.

И движение это было от Его дома к Моему дому.

А потом, в день самого праздника, в доме становилось необычайно весело и радостно. Прямо из колонн демонстрантов врываются в квартиру друзья родителей или родственники соседей — на минуту, с цветами и флажками — поздравить, поздороваться, улыбнуться — и убежать, догонять свою колонну. И можно было выйти и пойти вместе со взрослыми в любой колонне, через Моховую — на Красную площадь.

Переулками, улочками, проходными дворами моя улица была связана со всей Москвой. Она вся была рядом — 10 — 15 — 20 минут пешком. А можно и часами пешком — и все равно все близко.

И совсем рядом церковь, где венчался Пушкин и отпевали Ермолову, и дом Ростовых с памятником Льву Николаевичу во дворе. И дом, где был первый, еще детский, бал Наташи. И недостроенный до войны, а потом долго не строившийся — мрачная громада будущего нового МХАТа, внутри которого было так жутко и радостно играть. Правда, это была уже не моя улица, а отходивший от нее самый первый в Москве бульвар.

А моя огромная широкая улица становилась с годами меньше и тише. И я уже не останавливалась заворуженно перед окнами Зоологического музея, а бежала, опаздывая на подготовительные курсы моего факультета, в дворике которого стояли памятники Огареву и Герцену. Моя улица вдруг стала очень молодой. Она начиналась гуманитарными факультетами тогда единственного в Москве университета, которые, прерываясь, доходили до нашего дома. А рядом была Консерватория, которая и учебное заведение тоже. Там не

только выступал, но и учился наш Алик (про него я потом расскажу). А чуть в переулке — ГИТИС. А на том, первом в Москве бульваре — Литературный институт. Студенческая улица. Наверно, когда ты почти студент, то и все ориентиры становятся студенческими. Так моя улица стала улицей юности. Но сначала она была улицей детства.



а моей памяти первым историческим зданием моей улицы была школа. Маленькое неказистое здание в глубине двора напротив нашего дома. На другой стороне улицы. Все четные дома нашей улицы относились к Советскому району, а все нечетные — к Краснопресненскому. Мы жили на нечетной стороне улицы, а школа находилась на четной. Когда-то она была женской гимназией, потом советской семилеткой, в которой училась мама. Вместе с мамой в этой школе училась девочка Сима, отец ее — отец трех красивых девочек — сам очень красивый старик — был дворником Консерватории. И мамыны одноклассницы гордились этим — «у нас училась дочь».

В моем детстве я не помню, чтобы кто-то гордился дружбой с дочкой дворника. Видимо, приоритеты поменялись.

По всем правилам 53-го года меня не должны были принять в школу чужого района. Но приняли. Я была всегда уверена, что это произошло потому, что мама училась в этой школе.

Спустя много-много лет, в другой жизни, я четко представила, как все на самом деле было. Мама никогда не рассказывала этого мне. Но я очень четко все вижу. А может, я слышала разговор мамы и бабушки, но не хотела этого помнить.

Меня не могли принять в школу нашего района, которая находилась на нашей стороне улицы и где учились другие дети из нашего дома. Потому что в этой десятилетке с английским уклоном, кроме детей нашего дома, учились дети высокопоставленных родителей с улицы Грановского. И с ними в одном классе не могла учиться дочь «строителя» Куйбышевской ГЭС.

И мама униженно просила директрису другой, маленькой семилетней, не престижной школы, в которой не учились дети с улицы Грановского, взять ее дочь в первый класс. И директриса согласилась.

И меня зачислили в первый класс, в котором оказалась еще дюжина Наташ.

И я была очень горда, что хожу через дорогу в школу, где училась моя мама.

Но своими предположениями о вариантах поступления именно в эту школу я с Длинным не стала делиться. Мы еще слишком мало были знакомы. В моих предположениях не было ничего забавного. А пока хотелось рассказывать только легкое и смешное.

Поэтому при очередной нашей прогулке втроем, то есть с Любкой, проходя мимо небольшого здания, я только мимоходом заметила, что здесь когда-то была моя первая школа, в которой еще моя мама училась. Женской школой первого класса я Длинного удивить не могла. Он в три раза дольше меня ходил в мужскую школу, пока все школы не сделали общими. И здесь мы были единомышленны — в общих школах учиться гораздо интереснее. Но 13 Наташ его позабавили. В его классе тоже не было большого разнообразия имен, но оно как-то плавно распределялось — по два-три тезки.

первым классом у меня было связано несколько историй, и каждая по-своему доказывает теперь неоспариваемое предположение, что характер у семилетнего человека уже сформирован. В моем детстве это не было даже гипотезой, это был идеологически вредный, ложный, буржуазный домысел.

Я — левша. До школы я умела не только читать и считать, но и бегло писала. Естественно, левой рукой. Меня — переучивали. Моя первая учительница Янина Ивановна в том самом первом классе стояла надо мной с линейкой в руках и наблюдала, как я мучительно вывожу правой рукой караку-

ли. Это была ломка. Это было насилие. Я научилась писать правой рукой. Я даже разучилась писать левой. И этого я своей первой учительнице простить не могла. Естественно, что ручкой я начала писать позже всех в классе.

Теперь-то я знаю, что я наглядный пример для многих исследователей. И для фтизиатров. И для психологов. Недавно американские исследователи доказали, что если левшу переучивать — человек становится безграмотным.

Если бы я раньше это поняла или раньше узнала про закономерность, которую вывели американские исследователи, меня бы это спасло. Но даже теперь, когда спасение уже не нужно, эта новость принесла удовлетворение как еще одно доказательство моей правоты. Потому что человека, даже маленького, даже если он не такой, как все, нельзя ломать. И нельзя насиловать.



ока я училась в первом классе, фильм «Первоклассница» был точно про меня. Во-первых, героиня учится в первом классе женской школы. Во-вторых, она очень старается, но ее не всегда понимают. В-третьих, она куда-то убегает, кого-то спасает, ее ищут. И потом, ей так долго приходится ждать исполнения заветного желания — чтоб ей разрешили писать ручкой, а не карандашом. А ей не разрешают. И это обидно. А еще ее папа где-то далеко работает, а она живет с мамой и бабушкой.

Конечно, были и различия. Действие происходит не в Москве, героиню зовут не Наташа. Но это — мелочи, на которые можно не обращать внимания. Одна маленькая неувязочка все-таки была. Фильм вышел на экраны великой и необъятной страны на пять лет раньше, чем я пошла в школу. Но на экране я видела себя. И, как истинная дочь своего времени и своих родителей, посмотрев кино, решила сказку сделать былью и перенесла действие с экрана в жизнь.

Переучивание меня из левшей вызвало у Длинного сочувствие. Но с героями фильмов он себя никогда не ассоциировал. В это я, конечно, поверить никак не могла.

В следующий раз наша прогулка с Любкой проходила мимо двора, где когда-то жила моя первая учительница. И я рассказала Длинному еще одну историю.



Моей однокласснице Янина Ивановна поставила двойку. А этого никак нельзя было делать. Потому что одноклассницу дома могли за двойку не только отругать, но даже выпороть. Поэтому одноклассница решила домой не идти. Одноклассница не была моей подругой, она даже не была Наташей. Но она попала в беду, и ей срочно требовалась помощь. А у меня дурная наследственность — обостренное чувство долга. И благоприобретенный авантюризм, который уже тогда начал проявляться. Поэтому у меня быстро созрел план — пойти домой к Янине Ивановне, объяснить ей, к каким катастрофическим последствиям может эта двойка привести, и попросить ее двойку исправить. Конечно, одноклассница сама не смогла бы осуществить мой план, и я отправилась вместе с ней.

Идти нам далеко не пришлось, благо Янина Ивановна тоже жила на нашей улице, напротив нашего дома. Но наш дом был большой, четырехэтажный, и парадная лестница выходила прямо на улицу, а во двор вела лестница черного хода. А дом Янины Ивановны был во дворе, и никакой парадной лестницы в этом неказистом двухэтажном доме не было. Жила Янина Ивановна на первом этаже вместе со своей старенькой мамой в такой же, как и я, и моя одноклассница, и многие другие, коммунальной квартире.

Но дома ее не оказалось. Ее старенькая мама нам объяснила, что ее нет, что она придет очень поздно и что ее не надо ждать. Но мы решили подождать, расположившись в дворике на скамейке прямо напротив ее совсем не парадной двери. Чтобы не пропустить, когда она придет со свидания. Мы почему-то твердо решили, что она пошла на свидание. Можно было, конечно, оставить одноклассницу, которая все равно домой идти не могла, одну во дворе, перейти улицу, подняться к себе на пятый этаж и предупредить бабушку, что я буду ждать учительницу. Но одноклассница боялась оставаться

одна, боялась, что учительница придет без меня или что я не приду. А она без меня не сможет все объяснить. Поэтому я никуда не ушла. Мы ждали. Старенькая мама нашей учительницы видела нас из окна, и выходила к нам, и все объясняла, что нам лучше сегодня Янину Ивановну не ждать. Мы долго не теряли надежды все-таки дожждаться Янину Ивановну, но к полуночи наши силы иссякли.

Мы вышли из темного дворика на нашу улицу, и тут я столкнулась лицом к лицу с бабушкиным братом. С тем, который месяца через два, когда бабушку положат в больницу, будет давать мне натошак глоток водки, для аппетита. И надо сказать, когда мы с ним столкнулись, лицо у него было какое-то странное. И реакция на меня была странная. Вроде бы он даже был рад меня увидеть, но чем-то был сильно расстроен. Потом мне поведали, что последние 12 часов все только и делали, что искали меня. Даже мама сбежала из больницы, где она лежала с туберкулезом. Но ей к 11 часам вечера обязательно надо было вернуться, иначе уволили бы медсестру, которая ее выпустила. И когда я появилась, мамы дома уже не было. А была только бабушка. И ее брат, который меня привел. И почему-то они меня ругали. И даже, кажется, у них была идея меня как следует отшлепать. Ну, этого я допустить никак не могла.

С моей проворностью и юркостью убежать от них труда не составляло. Я забралась на высокий, на трех ножках столик, на котором обычно стояла бронзовая лошадь, но в тот день ее не было, и это было кстати. Стоя на этом шатком сооружении, я стала произносить пламенную речь на тему: «Как вам не стыдно. Братец с сестренкой собрались ребенка бить. В Советской стране детей бить запрещено».

Моя тирада на колченогом столике Длинного рассмешила. Видимо, он очень живо представил себе эту сцену.

Сначала «братец с сестренкой» опешили, потом начали безудержно хохотать. Может быть, я выглядела комично, может быть, это была нервная разрядка. Меня не отшлепали,

меня даже как следует не отругали. Мама позвонила из больницы, и ее успокоили, что ребенок уже дома, жив и здоров. Двойку одноклассницы мы не исправили. На следующий год мы с этой девочкой оказались в разных классах, а потом и в разных школах. И я про нее ничего больше не знаю. Но всю оставшуюся жизнь я все равно сначала думаю о чужом человеке, а потом о домашних.

А через два месяца бабушку разбил паралич. Ее положили в больницу, а я начала пить водку. Мама забрала меня на Куйбышевскую ГЭС. И перед нашим отъездом ей выдали на меня характеристику.

Мне кажется, что она характеризует не только меня, тогдашнюю или сегодняшнюю, но и время. Написана она от руки первой учительницей, не киношной, а моей — Яниной Ивановной, той самой, которая заставляла меня писать правой рукой, как я теперь понимаю, не по злому умыслу и, наверное, даже не по своей воле. Просто время было такое. Когда даже на учениц первого класса писали характеристики.

*«Характеристика ученицы 1 класса «А»
133 школы Советского района
Осиповой Наталии.*

*Семья состоит из 4 человек.
Отец работает на Куйбышевской ГЭС, мать — старшая лаборантка.
В течение учебного года Наташа много болела, но благодаря способностям достигла положительных результатов. Много времени Наташа находилась под наблюдением соседок и родственников, т. к. мать и бабушка лежали в больнице.
Наташа способная девочка, много читает, хорошо рассказывает. Любит выступать и очень удачно выступает.
Со своими подругами не всегда бывает вежлива.
Хотя в школу ходила мало, но в коллективе общительна.
Переведена во 2-й класс».*



Из характеристики понятно, где папа работает, но не известно, кем он там работает. Про маму наоборот, известно кем она работает, но совершенно не понятно где.

А про меня Янина Ивановна в самой первой моей характеристике все правильно написала.

Я и сейчас, спустя жизнь, читаю, люблю выступать, не всегда вежлива, но в коллективе общительна.

Когда я перешла во второй класс, все ассоциации с «Первоклассницей» улетучились. Папа вернулся. Школа стала общей, а не женской, и с нами теперь учились мальчики, и приключения сменились влюбленностями, и Наташ стало значительно меньше, и нас уже иногда называли по имени, а не только по фамилии.

В общем, Длинный разрешал и даже поощрял меня рассказывать все новые и новые истории. А я с детства болтушка и люблю рассказывать всякие истории, и, кажется, у меня это неплохо получается. Естественно, что главной героиней всех историй должна быть я сама.

Скрытной меня точно не назовешь.

Я легко и радостно доверила Длинному свою улицу. С ее изгибами, поворотнями, проходными дворами. С ее и моей судьбой.

Потом свой дом.

Потом свою жизнь.

В 18 лет легко дарить любые подарки.

И получать.

В этом году у меня и день рождения совпал с воскресеньем. И вообще большинство событий года придутся на воскресенье. Так что можно, как в старину, неделями считать.

Вступление во взрослую жизнь, которое ассоциируется с восемнадцатилетием, праздновалось как всегда дома, при большом количестве народа и с редким по тем временам разнообразием цветов: роз, пионов, тюльпанов, нарциссов, сирени, ландышей и... ромашек. Подарки тоже были разнообразными и даже символическими. Мне подарили длинный ян-

тарный мундштук. Потому что я уже почти два года курила. И об этом знали все, даже друзья родителей. Только не папа с мамой. Они даже не догадывались. И поэтому мундштук я тут же спрятала. Зато янтарные серьги — два светящихся камня без оправы — тут же оказались у меня в проколотых год назад ушах. Эти серьги очень подходили к новому, спитому специально ко дню рождения платью, к такому же солнечному, и с пуговицами, похожими на янтарь. Было еще много других, приятных, полезных и радующих подарков. Но ромашки поразили больше всего. Во-первых, их подарил Длинный. Во-вторых, в мае ромашек еще не должно быть, по крайней мере, раньше мне их никогда не дарили на день рождения. По этим двум причинам вела я себя абсолютно бестактно, удивляясь и радуясь исключительно ромашкам. А потом и вовсе сбежала с собственного дня рождения провожать Длинного, с которым мы еще ни разу не целовались. Наверное именно поэтому вернулась я довольно скоро, но из обиженных гостей уже никого не было.

В общем-то я должна была родиться только через месяц. Но опять поторопилась, уверенная, что майская маета минует меня стороной.

Схватки начались 16 мая.

Для меня, еще не рожденной, это было первым сражением. За жизнь. Может быть, не самую путевую, но мою.

Утром того памятного дня мамина ближайшая подруга по ИФЛИ, жена венгерского поэта, недавно вернувшегося из мест отдаленных, дочь венгерского деятеля коммунистического движения, в тех местах еще пребывавшего, устроила маме, которая еще мамой не стала, скандал. Она требовала, чтобы мама рассталась с папой, потому что эта связь может скомпрометировать и ее мужа, и ее саму, и маму. Правда, папа первым опубликовал стихи ее мужа и даже получил за это взыскание, потому что тогда было не принято публиковать недавно вернувшихся авторов. Но даже это не остановило ближайшую подругу. И время она выбрала самое подходящее — заканчивался восьмой месяц беременности.

Мама очень любила эту подругу. Спустя много лет я увидела ее фотографию рядом со своей и поразились нашей схожести — и чертами лица, и выражением. Во время войны, когда ее муж и отец еще сидели, мамина подруга жила в нашей квартире. Потом она об этом писала в своих воспоминаниях, опубликованных в Венгрии. Вспоминала она и маму, и бабушку, и занавески, и скатерть, и завтрак, и как мама провожала ее к Фадееву. Но по этим воспоминаниям получалось, что она провела у нас всего одну ночь, а к первой публикации стихов ее мужа имел отношение Фадеев. Про папу она не вспомнила. Когда в Венгрии опубликовали эти воспоминания, мамы уже не было. А тогда, когда меня еще не было, мама не знала, как пережить такое предательство ближайшей подруги, и поэтому к вечеру у нее на нервной почве начались схватки.

В роддоме врач на всякий случай предупредил маму: «Подождите рожать, восьмимесячные не выживают». Угроза подействовала, схватки прекратились, и мама, засыпая, попросила соседку по палате: «Если я начну рожать, пожалуйста, разбудите меня». Надо сказать, что все это происходило в Москве, и маме через пару месяцев должно было исполниться двадцать девять лет. Но это были первые и, как потом выяснилось, единственные у нее роды. И шел первый послевоенный год. И тогда не было курсов для беременных. И бабушка, видимо, не успела дать ценные советы, может, потому что все произошло неожиданно — на месяц раньше. Соседка по палате была опытнее, у нее роды были не первые, и она успокоила маму: «Когда начнешь рожать, сама проснешься». А под утро опять пришел врач и объяснил, что смена у него кончается в восемь утра, и если мама до того не родит, то ее выпишут. Ведь шла первая послевоенная весна, и все рожали, и место в роддоме было на вес золота. Мама родила в его смену. «Ну и настырная вы!» — изрек сильно удивленный врач.

А я, несмотря на его предупреждения, выжила.

И уже дожила до восемнадцатилетия.



И меня уже носили на руках. На пятый этаж. Правда, только по субботам. В нашем замечательном доме все хорошо, но нет лифта. И вот вчера, в субботу, как раз накануне дня рождения, когда после очередной прогулки, которую можно, конечно, назвать и свиданием, мы вошли в подъезд, я встала на первую ступеньку, протянула руки и мечтательно воскликнула: «Хочу на ручки». И это, надо сказать, подействовало. Длинный поднял меня на руках на пятый этаж без единой остановки. Он даже обещал это делать и впредь. Но только по субботам. Чтобы я не очень задавалась и совсем не разленилась.

А через неделю мы первый раз поцеловались.

Длинного было две компании — старая, с друзьями детства — школьная, и студенческая, которой тоже уже было два года. Пересекались эти компании не часто, потому что школьные друзья учились в разных вузах, и общих интересов становилось все меньше. Только со своим самым близким школьным другом, который нас познакомил, Длинный продолжал постоянно общаться. Но школьный друг совсем не вписывался в студенческую компанию, с ее походами, байдарками, горными лыжами и песнями у костра. Ему, сибариту, гуманитария и японисту, были совершенно чужды интересы технарей. И их увлечения он не принимал, порою над ним подшучивая. Что у него получалось совсем неплохо и часто язвительно. Поэтому Длинный старался не совмещать эти две компании. А так как мы почти все время были в обществе его школьного друга-япониста и его девушки, с которой они вместе изучали японский, то о другой компании я до поры до времени даже не догадывалась.

Пока Принц не решил вывести Принцессу в свет.

Так в моей жизни и в нашей истории появляются новые действующие лица, которым будет суждено сыграть, может быть и эпизодические для жизни и истории, но запоминающиеся роли. А потому, как у действующих лиц, у них должны быть имена — Дед и Татьяна, Коля и Галя, Валя и Женья,

и еще Боб. Конечно, в компании были и другие люди, но их роли незапоминающиеся, и потому мы не будем называть их имена.

Мы ехали на день рождения девушки, которую звали Галей и которая была однокурсницей Длинного. Родилась она в другой стране, где ее отец был послом или консулом. И когда ей исполнилось 16 лет, ей, как родившейся в той стране, было предложено взять той страны гражданство. Но она, естественно, отказалась. Сейчас, когда ей исполнилось двадцать, ее родителей — посла или консула и его супруги — дома не было. Их даже в стране не было. Потому что ее отец был опять послом (или консулом?), только уже в другой стране, не в той, где она родилась. Потому что так долго в одной стране послами и даже консулами не работают. А Галя жила в Москве и училась почему-то не в МГИМО, как большинство детей послов и консулов, а в техническом вузе. В одной группе с Длинным.

Все это я узнала по дороге в гости. Но чужая история с высокими дипломатическими рангами меня не утешала. Курносый нос был высоко задран, глаза сияли, почти как два янтарных камня в ушах, которые были видны даже из-под гривы выходящих русо-каштановых волос. Новое, специально сшитое ко дню моего рождения платье мне исключительно шло, подчеркивая все достоинства хорошей со всех сторон фигуры. Немножко смущали туфли — единственные, разношенные. Но красивые ноги даже в разношенных туфлях оставались красивыми. Поэтому я гордо переступила порог чужого дома и новой компании.

На этом дне рождения тоже были цветы и подарки. Но ромашек не было. И не было стихов. Зато были песни под гитару. И все шутили. И вспоминали забавные истории из прошлых походов. И уже всерьез обсуждали планы на поход предстоящий, до которого оставалось чуть больше двух месяцев — в конце июля мужская часть компании отправлялась на приполярный Урал сплавляться на плотах.

В какой-то момент продолжающегося застолья, песен и смеха Длинный увел меня в соседнюю маленькую комнату, в

которой почему-то было темно. И усадил на диван. И стал целовать. Долго. Упоенно. Взасос. Мне не понравился выбор места и времени для нашего первого, давно ожидаемого поцелуя. Но никаких сил не было сопротивляться, и я вся погрузилась в этот поцелуй. Какой-то шорох заставил меня открыть глаза, и в темноте я поймала странный напряженный взгляд почему-то оказавшейся в этой комнате именинницы. Неожданная сцена на секунду сдернула завесу врожденной дипломатической выдержки. В этом поцелуе, как и в самой ситуации, было что-то неприятное, показное. Осадок остался привкусом на опухших губах.

Но мы с Длинным вскоре ушли и из той комнаты, и из того дома. Уходила я, сама не понимая почему, уже не такая гордая и довольная собой, как пару часов назад.

Я тогда не знала, что у принца в арсенале было пятое правило — устраивать демонстрацию новой любви — старой.



Когда мне исполнился год, произошел маленький инцидент, который потом часто вспоминали. Я была в центре стола, в центре внимания. А на голове, на первых, мягких, светлых, еще не стриженных волосах, красовался бант. И все восхищались: «Какой бант!» И каждый вновь приходивший опять восклицал: «Какой бантик!» А я кокетливо и счастливо улыбалась всем, демонстрируя все имеющиеся у меня в наличии шесть или восемь зубов.

И тут раздался рев. Трехлетняя дочь маминой школьной подруги (кстати, и у школьной подруги, и у ее дочери было такое же, как у меня, редкое имя) показывала на свою головку со словами, слаборазличимыми от всхлипываний: «У меня тоже есть бантик!».

Нельзя не обращать внимания на бантики и чувства других людей, даже когда у тебя праздник.

Через 17 лет я этого не вспомнила. И это вышло мне боком.



Первая половина июня ознаменовалась наплывом гостей. Спать приходилось по очереди. Девиз: «Спи скорее! Твоя по-

душка нужна соседу!» был как нельзя кстати. По этой причине мама с папой перебрались к знакомым, оставив на нас с Любкой несметное количество одновременно нагрянувших в Москву родственников, друзей и знакомых.

Особенно порадовала не очень дальняя родственница, приехавшая с мужем и дочерью. Эта родственница в отсутствие родителей, сбежавших из дома, решила заняться моим воспитанием. По утрам, за завтраком она объясняла, что мне рано поступать в университет, а надо сначала поехать на целину. После завтрака они с мужем отправлялись то ли в музеи, то ли в магазины, оставив на мое попечение свою дочь. Это занудное создание, видимо, должно было мне, избалованной и не знающей жизни, заменить целину. Когда родители возвращались, малолетняя ябеда бежала к ним навстречу с докладом: «А Наташа с Длинным опять целовались». Чтобы хоть ненадолго избавиться от этого чуда природы, Длинный придумал аттракцион. Он купил десять шариков, надул их, отправил юную капризулю во двор и по одному, с интервалом в три минуты, выбрасывал ей шарики в окно. Категорически запретив подниматься в квартиру, пока она все десять шариков не соберет. И на 30 минут мы могли остаться вдвоем, не считая собаки Любки, которая ябедой совсем не была. А других многочисленных гостей дома не было, они с раннего утра и до позднего вечера знакомились с достопримечательностями столицы, и им точно не было дела до наших поцелуев.

Потом почти одновременно все приехавшие гости разъехались, и мама с папой вернулись домой.

И папа сказал: «Наташка скоро выскочит замуж». Мы с мамой на него недоуменно посмотрели. А он показал на мой кактус, на котором появился первый маленький росточек.

Этот кактус я привезла год назад из крымского Ботанического сада.



Свои семнадцать лет я одна уехала путешествовать по Крыму. Тогда меня отпустили легко. Никто не волновался. Ба-

бушки уже не было. Мама в запарке сдавала очередную рукопись. И меня отправили к родственнице какой-то знакомой, которая была врачом и жила с дочерью в Евпатории. В 17 лет уехать на юг одной — большая глупость или смелость? Я, конечно, чувствовала себя взрослой. И детский пляж в Евпатории был для меня малопривлекателен. Но прежде чем покинуть этот детский курорт, я неожиданно даже для самой себя проколола уши. У врачихи, в доме которой я жила, дочь была немного младше меня. Девочка мечтала проколоть ушки, но, когда мама принесла иголку и проспиртованные шелковинки, испугалась. Как всегда, я предложила для эксперимента себя. На мне шелковинки и кончились. А потом я уехала, так и не узнав, проколола ли врачиха своей дочке уши. На каком-то концерте я встретила знакомого моей сестры, о которой я до сих пор ничего не рассказала, но это я надеюсь скоро исправить. Со знакомым сестры я уехала в Феодосию. Потом, после странной ночи в забаррикадированном от непрошеного гостя номере, который плохо понимал, зачем я тогда с ним поехала, я сбежала в Алупку к тетке. Тетка — старшая папина сестра — в детстве учила папу французскому языку, из-за которого (или из-за которой?) он, десятилетний, навсегда ушел из дома. На этом увлечение теткой французским не закончилось, но эксперименты она, видимо, ставила только на мужской половине человечества, связанной с ней кровными узами. Сына она назвала Мальгреном, а мужа Ивана, который сначала был женихом другой папиной сестры, а тетка его у сестры отбила, всю жизнь величала не иначе как Жан. К 1963 году они с Жаном-Иваном давно разошлись. Она жила и работала в Алупке, он — в Ботаническом саду. Но в тот мой приезд мы с ней поехали к Жану-Ивану. Мое посещение крымского Ботанического сада закончилось приобретением маленького кактуса в горшочке, который я привезла домой, куда благополучно возвратилась, попутешествовав по Крыму. Подростковая колючесть гармонировала с неприхотливым растением. И все восприняли эту колючку как Наташкин кактус. И он стал чем-то вроде моего талисмана или символа.

И через год, глядя на его первый росток, папа пророчески изрек: «Наташка скоро выскочит замуж». Но мы с мамой ни папе, ни кактусу не поверили. Год спустя, когда появился второй росток, папа решил, что скоро будет потомство. Я еще не знала, что уже беременна. Но тут мы обе — и я, и мама — поверили и папе, и кактусу безоговорочно.

Придуманный папой символ я вспомнила еще раз — через тридцать пять лет. Видимо, в моем неуживчивом характере за эти тридцать пять зим и лет мало что изменилось. Я часто ругалась с начальством. Иногда начальство понимало, что оно само виновато. В тот раз два виноватых начальника пришли ко мне в кабинет извиняться — с цветами. У одного был букет шикарных роз, у другого — кактус и комментарий, что кактус так же строен и так же колюч, как я.



линному я, конечно, ничего не сказала про кактус. Может, этот росток значил вовсе не замужество, а поступление на филфак.

В конечном итоге я собралась поступать именно на этот факультет, так как облюбованный мною журфак требовал двух лет стажа и трудовую книжку в придачу. А у меня ни того, ни другого не было. Правда, было уже с дюжину публикаций. Но этого было недостаточно. И руководство журфака и моя не очень дальняя родственница сошлись в своем непреклонном мнении — будущий журналист должен знать жизнь или хотя бы производство.

До вступительных экзаменов оставались считанные дни, выпускные были в полном разгаре, но меня, слава Богу, по состоянию здоровья от них освободили. Помогли полгода в клинике и другие напасти. Слабый организм не выдержит таких перегрузок. Поэтому мои не столь счастливые одноклассники поручили мне одной организацию выпускного вечера в «Праге». И это было честно. И с этим я, как всегда, справилась. Но еще оставались занятия на подготовительных курсах по всем предметам вступительных экзаменов,

и еще дополнительно с репетиторами по русскому и английскому языкам. И уж здесь приходилось кое-чем пожертвовать. Потому что пропустить свидание с Длинным я никак не могла. Ему тоже было нелегко — у него шла сессия.



И появился у Коммунистической аудитории, где на моих подготовительных курсах шла последняя лекция по истории. Его незапланированный приход резко изменил мои планы. Воскресенье, Троица, лето. И сегодня исполняется семь недель с нашего знакомства и четыре недели с первого поцелуя. В такой день неправильно сидеть на лекции, даже если у тебя через месяц начинаются вступительные экзамены. В такой день душа рвется из душной аудитории на простор. С последней лекции я сбежала, так и не узнав до конца историю. Но далеко мы не ушли. Мы пошли в Александровский сад, в тот самый, где в моем далеком детстве мои нянечки знакомились с кремлевскими курсантами.

Мы выбрали неподходящее время и место. Еще не уставшие от жары, еще не избалованные ярким июньским солнышком москвичи и гости столицы оккупировали почти все скамейки Александровского садика. Наверно, было еще рано, и бабушки и мамы не торопились увести малышей спать. Студенты предпочитали готовиться к экзаменам на воздухе. А пенсионерам сам Бог велел понежиться на солнышке с газеткой, за шахматами или за серьезными разговорами.

Но кусочек одной скамейки нам все-таки достался.

Длинный сказал, что Дед сделал Татьяне предложение, и у них осенью будет свадьба. Я обрадовалась за Деда и за Татьяну. Они уже два года женихались, и оба жили в маленькой Татьяниной квартирке в переулке у зоопарка. Родителей у них не было. Так что эту свадьбу все давно ждали.

Мы закурили. Длинный был непривычно молчалив и озабочен. Я тоже молчала, чувствуя, что сейчас произойдет что-то очень важное. Это, видимо, чувствовали и наши соседи по скамейке. Потому что скамейка неожиданно опустела. Потом кто-то мимо проходящий на нее присел, но не удержался больше минуты в этой тишине напряженного ожида-

ния. И больше никто на нашу скамейку не посягал, хотя все остальные скамейки были по-прежнему заняты. Мы закурили еще по одной сигарете.

И потом он спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?»

Я не сказала: «Да». На вопрос я тут же ответила вопросом. Наверно, сказались гены моих еврейских родственников.

Я спросила: «Когда?»

Это грандиозное событие, опять так удачно совпавшее с воскресеньем, необходимо было отметить.

И мы поехали в кафе-мороженое в высотку на площади Восстания. Потому что Длинному надо было через час быть дома. А это ничем не примечательное кафе, ни в какое сравнение не шедшее с «Космосом» или «Полетом», было ближе всего от его дома. Оно просто было в его доме. И в нем, в отличие от «Космоса» или «Полета», очереди не было даже вечером. А днем было совсем пусто. И толстая официантка удивилась юной паре, заказывающей посреди бела дня шампанское. Шампанское было теплое, мороженое — невкусное. Но такие мелочи не могли испортить нам ощущения праздника.

Оно было во всем и везде. В кафе, на улице, дома. В залитой солнцем комнате. И даже в песне, звучавшей из не выключающегося никогда радио. «Подул большой ветер». Но я провалилась в сон, так и не дослушав песню.

Эта песня до сих пор вызывает такое же, как и тогда, ощущение абсолютного счастья. Но ее редко передают по радио. А может быть, у меня радио всегда выключено.

Самый длинный в году день еще не повернул к вечеру. Троица в этом году, как и Пасха, была поздней. Накануне 22 июня. Нет, завтра не началась война. Завтра исполнилось 23 года с ее начала.



И мои родители, и родители Длинного познакомились в первую военную зиму. Почти одновременно, только в разных городах. Странно, но ни его, ни меня могло бы не быть, если

бы... Какая-то кощунственно-страшная мысль, которую не хочется додумывать.

В октябре 41-го из Москвы эвакуировали всех.

В трудовой книжке бабушки появилась новая запись: «1941. X. 17. Уволена по сокращению штата». Подпись. Печать. Бабушка вместе с мамой уехали из Москвы на последней барже. К декабрю они оказались в старинном волжском городе, в Чебоксарах. Умение не растеряться и организаторские способности у бабушки были фантастические. Вот кто умел на пустом месте наладить работу, организовать и занять людей делом, создать производство. Даже во время войны. В эвакуации. В чужом городе. На пустом месте. Без денег. Без материалов. Моя бабушка, которой тогда было сорок пять лет и которая еще совсем не была бабушкой, смогла. Уже в середине декабря 1941 года она организовала при Военторге несколько мастерских — производственно-пошивочную, обувную, скорняжную и головных уборов — и заведовала этими мастерскими, где стали шить военную форму. Проработала она в Чебоксарах меньше года. Получила две благодарности командования, одна из них с разрешением на пошив верхнего платья. А в ноябре 1942 года была переведена на работу в Москву, инструктором пошивочных мастерских Военторга МВО.

Бабушка Длинного, которой тогда было 42 года, и никакой бабушкой она тоже еще не была, тоже шила военную форму во время войны, тоже на Волге, только в своем родном городе — в Куйбышеве. Она была начальником цеха швейной фабрики. Однажды ей поручили доставить хлеб и мясо на вокзал к проходящему поезду, в котором сотрудники ЦК профсоюза работников легкой промышленности эвакуировались из Москвы в Челябинск. Бабушке Длинного, когда она на саночках везла хлеб и мясо, было очень тяжело. Но все так рады были. Потому что они уже несколько дней ехали, и продукты все кончились. А тут привезли столько хлеба и даже мясо. Только председатель ЦК как будто бы даже не обрадовался ни хлебу, ни мясу. Он все повторял: «Москву бросили. Москву бросили».

У нас и истории наших предков оказались схожими. Не только потому, что наши бабушки одновременно на Волге шили военную форму.

У наших бабушек вообще было много общего. Они обе были из многодетных семей, обе всю жизнь помогали братьям и сестрам, обе рано потеряли мужей и обе, чтобы не травмировать дочек, замуж больше не вышли. И обе обожали своих внуков и разрешали нам в детстве покрутить ручку старой швейной зингеровской машинки, которой цены не было.

Наши бабушки были во многом похожи, только бабушка Длинного дожила до рождения правнука, а моя бабушка умерла за пять лет до моей свадьбы.

Интересно, понравился бы моей бабушке Длинный?

У бабушек, которые мамы мам, много совпадений. У дедушек, которые их мужья, такого четкого совпадения не получалось. Может быть, только одно — они умерли молодыми. А у наших родителей были схожие биографии. Оба отца были из бедных многодетных семей, оба очень рано, еще в детстве, вынуждены были работать. А обе мамы были единственными детьми в семье, и их долго оберегали от работы и забот.

Более того, до женитьбы на наших мамах у наших пап уже были жена или жены. И дети были. А у наших мам брак с нашими папами был единственным. И ребенок у каждой из них был только один. Поэтому для наших мам Длинный и я были единственными, а для наших пап мы были младшими.

И познакомились наши родители почти одновременно. И свадьбы у них были почти рядом — с разницей в четыре неполных месяца.



боронные предприятия и НИИ в октябре 41-го из Москвы тоже эвакуировали. С одним из таких номерных предприятий в Куйбышев приехал тридцатичетырехлетний науч-

ный работник, будущий отец Длинного. А его мама, которая мамой еще, конечно, не была, родилась в этом городе и зимой 42-го устроилась на это предприятие работать. Ей было 19 лет, когда они познакомились. 14 октября 1942 года состоялась их свадьба. Они не были похожи. Он был на 15 лет старше, солидный, уважаемый. Родился он в многодетной семье, мальчишкой остался без родителей, старшая сестра растила. Газетами торговал. Монтером на заводе работал. А после армии пошел учиться. Работал и учился. Рабфак окончил, потом институт. В общем, сделал себя сам. А теперь научный работник. И его ни по положению, ни по возрасту не могли забрать на фронт, как забрали первую любовь матери Длинного.

А она была единственной дочкой. И всю жизнь жила с мамой и бабушкой. И ее все баловали. Потому что росла она без отца, который погиб в Гражданскую, еще до ее рождения. Она его никогда не видела. И уход на фронт того, кого она любила, испугал, напомнил судьбу матери, которая так замуж больше и не вышла. А теперь она нашла свое счастье, свое солнце, и свое место под солнцем. Казалось, что за ним, как за каменной стеной. Она его чуть-чуть боялась. И называла Солнце.

Она его так до самой смерти называла — Солнце, или по имени-отчеству, хотя и на «ты». Кажется, только еще Маяковский Солнцу «ты» говорил. «Солнце, ты будешь чай?» — это не Маяковский, это — мама Длинного.

А моя мама, которая, конечно, тоже еще мамой не была, в маленьком волжском городке, куда они с бабушкой попали, дела себе найти не могла и решила вернуться в Москву. Разрешения на въезд в столицу у нее не было. Зато был полученный в первые дни войны красный диплом, уже МГУ, с которым ИФЛИ незадолго до этого объединили. Диплом был с вкладышем, в котором были только одни пятерки.



Отличие, наверно, тоже передается через поколение. Меня оно пропустило, а сын был круглым отличником и в школе, и в университете. Судя по учебе старшего внука, он пошел в меня. Также не отличник.

На пропускных пунктах мамин диплом производил неизгладимое впечатление, и ее в Москву пропустили. Мама пошла в ЦК ВЛКСМ, который из Москвы не эвакуировался, но временно, после бомбежки, переехал из своего здания напротив Политехнического в расположенное неподалеку здание горкома комсомола — в Колпачный переулок. 28 января 1942 года у мамы появилась трудовая книжка и первая запись в ней: «Зачислена на должность литсотрудника радиосектора молодежного радиовещания для заграницы при отделе пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ». Этим отделом заведовал папа. Так они и познакомились.

Много лет спустя я тоже работала в этом здании на Колпачном. Мама считала, что это символично. Но, как и в глобальной истории, в семейных сценариях трагедия от повторения превращается в фарс. Я не встретила в Колпачном свою на всю жизнь единственную любовь. А мама встретила.

Они были похожи, их даже принимали за брата и сестру — оба худые, темноволосые, кареглазые, скуластые, с чуть вздернутыми носами. Как природе удалось добиться такого внешнего сходства между еврейской девочкой и донским казаком, остается непонятным. Потому что были они очень разными. Единственная дочь, боготворимая родителями, рафинированная городская девочка, воспитанная бонной, и привыкший к степным просторам восьмой, но не последний ребенок в бедной казацкой семье, в десять лет ушедший из дома.

В 1935 году мама от имени выпускников первой советской десятилетки выступала с речью в Колонном зале Дома Союзов. И эту речь полностью опубликовали, и не только советские газеты. Ей присылали письма даже деятели Коминтерна. Спустя годы ее речь приводилась в солидном

американском исследовании «Как создавался культ Сталина». И мама действительно была яркой сталинисткой. А папа совсем сталинистом не был. В 1937 году его посадили первый раз — за присвоение себе Северного Кавказа. И про культ, и про репрессии он все понимал. И пытался это маме объяснить зимой 1943 года. Она ему не верила. Но все равно его любила. 19 февраля 1943 года они поженились. И оба ушли из ЦК ВЛКСМ. Мама — в отдел по работе среди войск и населения противника Главного Политического управления ВС. А папа — на фронт, в кавалерию, рядовым. Почему подполковник ушел на фронт в кавалерию рядовым — это отдельная история. Я ее потом расскажу.



х кавалерийскому отряду «вырубили окно» в линии фронта. И отряд уходил в рейд по тылам немцев. При папе таких прорывов было два. И оба раза треть отряда не возвращалась, погибала.

Мама получила от папы первое письмо с фронта, и ей сразу бросилось в глаза крупное выделенное слово «ранен». И мама обмерла. Оказалось, что ранен был папин конь. Через полгода, когда папу действительно ранило, он ничего маме не написал об этом. Пуля задела мочку уха. Если бы она сдвинулась на полсантиметра, папа мог бы в том бою погибнуть. Но мама про это узнала уже после войны. Потом она часто рассказывала эти истории и про письма, и про ранения, но папа эти рассказы никогда не комментировал, только улыбался.

Странно, в нашем доме, где никогда не выбрасывали никакие бумаги, почему-то эти папины военные письма не сохранились. Армейские письма мамино двоюродного брата, еще довоенные, сохранились. А из папиных военных писем сохранилось только одно, из Крыма, когда папа был уже во фронтовой газете, куда его отозвали вскоре после ранения. Сложенная пополам черно-белая фотография от одного сгиба превратилась в открытку. А может быть, открыткой ее сделал не сгиб, а изображение. Цветущая вишня на фоне то ли грозового, то ли огневого неба. Или письмо ровным мел-

ким папиным почерком на внутренней стороне этой открытки-фотографии.

«Дорогая Аннушка!

Посылаю тебе открыточку из Крыма. Крым в цвету. Весною война. Кровь и цветы. Вот как бывает в жизни. Один раненый мне говорил: Лучше бы меня ранило зимой. Весной человек хочет жить. Жить, радоваться и любить. Живу хорошо потому, что ты у меня есть на белом свете, радуюсь — потому, что хочу тебе радость доставить, люблю тебя больше, чем раньше. Даже сам удивляюсь. Очень ты мне родная, моя курносая.

Теперь история этого снимка. Растет это чудесное растение на берегу Черного моря в Ботаническом саду. Все побережье моря я исколесил, весь Крым изездил и пешком исходил. Был все время в войсках. Писал. Писал один и вместе с Саввой. Много воспоминаний связано с Крымом. Но где бы я ни был и о чем бы ни думал, чтобы я ни делал, ты вечно была в моем сердце. Ты незримо и зримо была со мной, и мне было от этого лучше жить.

Когда я увидел этот кустик, я сказал фотографу — сними — пошлю Аннушке.

Вот и посылаю. Целую тебя крепко, моя радость.

Твой Михаил».

Папа вернулся с войны только в августе 45-го. Поэтому раньше я никак родиться не могла. Но меня время и место моего рождения всегда устраивало.

А Длинный родился в Куйбышеве, в марте 44-го года.

Вечером того памятного дня 21 июня мы объявили о нашем решении пожениться моим родителям. Как ни странно, но дома никого, кроме мамы и папы, не было. В этот вечер к нам не нагрянули гости, знакомые и родственники. Они обошли наш дом стороной. Мама, которая до этого спала, потому что ночью работала, дописывая очередную «нетленку», а днем в нашей многолюдной квартире работать невозможно, и которую я долго будила, чтобы сообщить эту потрясающую



новость, даже спросонок была трогательно восторженной. А папа ничего не сказал, но в его глазах под припухшими то ли от наследственности, то ли от болезни сердца веками была лукавая и одновременно добродушная усмешка. Они с кактусом такой исход событий предвидели. Но про кактус папа ничего не сказал. А Любка радостно лаяла, как московские собаки лают, когда дома все хорошо, всем весело, и, может быть, с ними (собаками) скоро пойдут гулять.

На следующий день мы обрадовали родителей Длинного, тоже вечером, когда Солнце пришел после работы домой.



на вышла замуж двадцатилетней, когда любимый ушел на фронт, и не было сил ждать, когда он вернется, да и вернется ли. Бушевала война. И казалось, что не только молодость, жизнь проходит мимо. Он был на 15 лет старше. Солидный. Уважаемый. И его не могли забрать на фронт — ни по возрасту, ни по положению. Она его чуть-чуть боялась. И называла Солнце.

В ее 20 лет казалось, что за ним как за каменной стеной. Но была война, и голод, и трудные трехдневные роды. И с переездом в Москву легче не стало. Стало еще трудней, хотя и война кончилась. В другом городе остались мама и бабушка, двоюродные братья и сестры, друзья и подруги. А здесь все незнакомое. Квартира. Улица. Жизнь. Люди. Город.

15 лет они жили вчетвером с уже взрослым сыном, мужем и старой больной сестрой мужа. Какая уж тут личная жизнь. А муж часто надолго уезжал в командировки — на испытания, на заводы, на полигоны. А когда был в Москве, постоянно контролировал ее траты. А так хочется чем-нибудь побаловать сына или себя. И мама далеко. И все родные, и все друзья далеко. И любимый вернулся с фронта, и у него, по слухам, своя семья.

И была неуверенность: без специальности, без профессии — кому нужна. И хотелось если не свободы, то хотя бы послабления. Немножко пожить для себя. И еще боязнь — не потерять бы нажитое.

...Теперь вот все как у людей. И двухкомнатная квартира, да не где-то в захолустье, а в самом центре, на 20-м этаже. С

балкона вся Москва как на ладони. И дача. Не садовый участок в шесть соток с хибарой, а сруб, двухэтажный, с печкой. И от Москвы недалеко. Всего 10 км за Внуково. И машина «Победа». И каракулевая шуба.

Жить бы да радоваться. А тут сын надумал жениться. Самому-то 20 лет. А ей вообще 18. Когда еще на ноги встанут. И ведь были у него романы. И выбор был. В школе дочка академика как его любила. И дом у них — полная чаша. И квартира, и машина, и дача. В институте — дочка посла. И тоже, конечно, все есть. И встречался он с ними долго, а о свадьбе даже разговора не было.

А эту как первый раз увидела сверху, с балкона, как они с сыном шли, так сердце и екнуло. И ведь двух месяцев не прошло, как познакомились, а уже предложение ей сделал и ее родителям. И сегодня придут к отцу с этой новостью. Надо бы его подготовить. И ведь ни кола ни двора. Живут на пятом этаже без лифта, в общей квартире. И ни дачи, ни машины у них нет. Теперь надо с родителями знакомиться, про свадьбу решать, договариваться, где и как жить будут. Да что тут договариваться. Не в общую же квартиру в проходную комнату единственный сын пойдет. Значит, у нас будут жить.

А что приготовить на ужин? Скоро Солнце с работы придет. Как она ему понравится?..



Через три недели, в очередной выходной, когда родители Длинного были на даче, мы поехали к нему домой.

Между этими сугубо личными событиями произошло и одно общественное. Выпускной вечер нашего 10 класса вечерней школы, которая тогда называлась школой рабочей молодежи. Занятия в этой школе были и утром, и вечером. Потому что молодежь работала в разные смены, и для учебы ей надо было создать наилучшие условия. Правда, в тот год непосредственно рабочей молодежи в этой школе почти не было. Ну, справка с места работы, конечно, была у всех. Но работали немногие. И на занятия предпочитали ходить утром, когда голова еще свежая. Я, как истинная сова, свежей головой

с утра никогда не отличалась. В силу врожденной лениности я предпочитала приходить на занятия вечером.

Как люди взрослые, все-таки рабочая молодежь, а не какие-то там школьники, мы имели право устраивать выпускной вечер где угодно. Мы выбрали «Прагу».

Ездить за границу в то далекое время могли избранные, но даже им это позволялось не очень часто. Зато практически каждый мог побывать в «Берлине», «Пекине», «Праге», «Гаване» или «Белграде». Все столицы социалистического лагеря были представлены ресторанами с национальной кухней. Наш выбор пал на «Прагу» не из любви к шпиикам, а по географическому признаку. Она была ближе всего к нашей школе рабочей молодежи.

Я занималась организацией выпускного вечера и справилась с этим отлично. И, видимо, в благодарность за мои выдающиеся успехи и непомерный труд никто не стал возражать, когда я пригласила на этот вечер Длинного. И даже от дополнительного взноса за него все отказались. А я не хотела расставаться с ним даже на один вечер. И пропустить выпускной вечер, за который была в ответе, я, как человек долга, не могла.

Так «Прага» стала нашим первым рестораном. Не самым запомнившимся, потому что там было слишком много знакомого мне и совершенно не знакомого Длинному народа, который дергал меня по каждому поводу и без повода. Ведь народ точно знал, кто отвечает за это мероприятие. Длинному, конечно, не очень нравилось, что меня все дергают, а на него даже внимания не обращают. Зато он, наконец, увидел мою одноклассницу, которая разболтала мне все его секреты. До этого по моим рассказам он никак не мог ее вспомнить. А когда увидел, сразу вспомнил. Так что в многообразии незнакомых людей и у него оказалась одна знакомая. С которой ему было о чем поговорить, пока меня все дергали. Но такова незавидная роль всех организаторов.

Весь июль Длинный с друзьями готовился к походу. Хотя это был уже третий их совместный поход, но он ни в какое сравнение с предшествующими не шел. Два предыдущих августа

они ходили на байдарках, а не на плотках, и не по приполярному Уралу. Они очень тщательно к нему готовились, выверяли маршрут, изучали старые походные карты, запасались продуктами, инструментами, лекарствами. Они встречались почти каждый день.

Но Длинный ничего не сказал друзьям о своей предстоящей женитьбе. Потому что мы так договорились — никому из них пока ничего не говорить. Женя и Валя тоже решили пожениться осенью. Но Женя ничего не сказал друзьям, потому что не любил быть в центре внимания. И Коля тоже не сказал друзьям, что сделал предложение Гале и что осенью у них будет свадьба. Хотя он и получил согласие Гали, но не был до конца уверен, что Галя Длинного совсем разлюбила. Иногда ему казалось, что Галя согласилась только назло Длинному. Сенсационное решение Деда жениться в их дружной компании оказалось сродни эпидемии. Но никто не хотел в этом признаться другим. Поэтому до осени, до возвращения в Москву, в «официальных» женихах ходил только Дед.

А познакомившему нас другу-японисту и его девушке, тоже японисту, и моему брату, не японисту, мы о предстоящей свадьбе сказать не могли. Потому что никого из них в Москве не было. У них была где-то практика, на которую они уехали еще до того, как Длинный сделал мне предложение.

И своим подругам я ничего не могла сказать. Потому что мои подруги, в отличие от меня, не пошли в вечернюю школу и, закончив десятый класс, перешли в одиннадцатый. И сейчас у них были каникулы перед последним, самым ответственным школьным классом — и они все уехали отдыхать. На дачу или на море.

Н

акануне отъезда Длинный постригся наголо. И в компании таких же постриженных наголо друзей отправился сплавляться на плотках на приполярный Урал.

Странно, но на Ярославском вокзале среди провожающих эту выдающуюся во всех отношениях стриженную наголо

компанию со средним ростом 183 см, других девушек, кроме меня, не было. Мамы были. Они уже в третий раз провожали своих детей в поход. А я расставалась с Длинным впервые. На целый месяц. И это было непереносимо. Радовало только то, что через месяц Длинный вернется. А за этот месяц мне в идеале предстояло сдать четыре экзамена и поступить на факультет, где конкурс был 18 человек на место. Скорый поезд «Москва — Воркута» тронулся, но еще не набрал скорость, и можно было идти рядом с их общим вагоном, а потом можно было только бежать. Но рядом мелькали уже чужие вагоны — купейные и общие.

Вечером я, наконец, объявила родителям, что уже два года курю, и теперь могла не прятаться с сигаретой, что очень помогало готовиться к экзаменам и думать о Длинном. Правда, мама пыталась взять с меня обещание, что после экзаменов я брошу эту пагубную привычку, но я только неопределенно кивала.



ще пару лет назад у меня был выбор. Между литературой и математикой.

Я решала задачки любой сложности, со звездочками и без. Я участвовала в районных и городских математических олимпиадах. Я получала грамоты за выдающиеся успехи. При этом получала двойки. И не потому, что я что-то неправильно решила, а только потому, что залезла на поля. К другим ученикам мой учитель математики так не придирался. Но он боготворил математику, а меня любил, потому что я понимала и знала его науку. И сердился, что я отношусь к ней без должного уважения. Залезаю на поля. А с литературой мне до 9 класса не везло. Хотя я ее любила. Могла запоем читать всю ночь напролет. Под одеялом. При свете фонарика. Иногда по какой-то внутренней ассоциации я себя ощущала тем или иным литературным персонажем. Персонажи бывали разительно несхожи. Ну что общего у Наташи Ростовской с Петей Елифановым? У них не только пол, но и потолок разный. Но во мне они

уживались почти одновременно. В какой-то момент непосредственность одной превращалась в 33 несчастья другого. Например, в сочинениях. При явных способностях в раскрытии содержания литературного произведения я умудрялась в одной письменной работе сделать более 50 орфографических ошибок. Я оказалась фантастически безграмотной.

И с этим не могли справиться все мои учителя. А так как правила я знала хорошо, то я еще умудрялась находить проверочные слова для своих лингвистических открытий. Для слова «отрожение» таким проверочным словом стала «рожа». Та, которая «отрожается» в зеркале.

Дожив до преклонных лет, но (спасибо маме и бабушке) не до седых волос, я поняла, что и собственное отражение может сразить.

Но в 9 классе моя любовь к литературе перевесила мои способности к математике. Скорее всего, благодаря Ольге Александровне, удивительному учителю жизни и литературы, которую мне девятый класс подарил. Вообще, 9 класс — это совершенно отдельная и замечательная история. Я ее обязательно расскажу.

Когда я решила поступать на филфак, мой прежний учитель по математике не хотел со мной даже здороваться — обиделся за мое предательство. Я на него никогда не обижалась, даже когда он мне ставил двойки.

Но чтобы поступить на филфак, надо было написать сочинение. И желательно не сделать больше одной или двух ошибок. На лучший исход моей битвы с орфографией никто не рассчитывал. При худшем — остальные три экзамена можно было не сдавать — ведь конкурс 18 человек на место.

Накануне первого экзамена, которым, конечно, было сочинение, я получила письмо.

Вместо того чтобы повторять правила правописания, я читала и перечитывала три странички этого письма на папиросной бумаге. К утру я его знала наизусть.

«Здравствуй, чудо!

Осталось три часа езды в надоевшем общем вагоне, и наши ноги начнут попирать землю приполярного Урала в районе станции Косью (на почерк не обращай внимания, поезд трясет черт знает как). Ребята укладывают рюкзаки, Боб выдает, как всегда. За стенкой едут ребята с девчонками, они уже не обращают внимания. Сегодня с 7 часов вечера пели песни с ними, потому как решили не спать (приезжаем в 3.40), начали с пристойных, кончили черт знает чем. Наши стриженные рожи уже примелькались, мы получили кличку “лысые романтики”, ходим гордые, отсутствие женщин объясняем тем, что тех, кто с нами едет, мы брем, это производит впечатление. Кстати, твой пижонский вид привлек внимание всего вагона, на меня смотрят с уважением. Все это хорошо, но больше я никуда без тебя не поеду, мне моя нервная система дорога как память. Очень-очень по тебе скучаю, и вообще, зимой поедешь с нами на лыжах, потому как я без тебя не могу. Слава богу, два дня уже прошло, осталось 29, а потом все меньше и меньше, и, в конце концов, ты приедешь встречать меня на Ярославский вокзал, и я опять увижу курносый нос и все остальное тоже. И я, наконец, смогу опять вылизывать кое-что и еще куплю здоровенный букет цветов сразу за все твои экзамены (сданные) и за новый студенческий билет, который ты получишь, обязательно получишь, только не волнуйся. Сегодня я тебя начну ругать (дурой не буду), спокойно все сдавай, ведь ты же у меня умница, чудо. Держи хвост pistolетом, а нос высоко-высоко. Думай об экзаменах, а в свободное время о длинном стриженном чуде, который уехал черт знает куда, и который видит тебя во сне. И которому больше всего в жизни (по крайней мере, сейчас) хочется очутиться в Москве и таскать тебя на руках на пятый этаж во все дни недели, а не только по субботам. Будь умницей, моя хорошая маленькая женщина, ни пуха тебе, ни пера. Прорывайся в МГУ, а я ведь, в конце концов, приеду, верно? Целую нос и остальное.
Твой Сашка.



*Передай привет М. Г., А. Г., Геське-блуднице и Боречке.
Бумага смахивает на туалетную, верно?»*

Больше писем в течение месяца не было. Их и не могло быть по определению. Но мне и не надо было больше. Как молитву, я повторяла это письмо утром, перед очередным экзаменом, и вечером, гуляя с Любкой, и ночью, засыпая. «В тот день всю тебя, от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал назубок, шатался по городу и репетировал». Эти вырванные из контекста четыре строки очень точно определяли мое состояние тех дней. Начало и конец этого удивительного стихотворения я старалась не вспоминать.

И мне удивительно везло. За сочинение я получила четверку. В такую удачу никто даже поверить не мог. И никому не пришло в голову в день апелляции посмотреть работу. Что, как выяснилось потом, было большой ошибкой. Но это отдельная история, может быть, я и ее когда-нибудь расскажу. И потом я получила еще две четверки и пятерку.

Самое забавное, что пятерку я получила по истории, которую меньше всего люблю и знаю. Мои хорошие знания никто и никогда не оценивал по достоинству, то есть оценка автоматически занижалась. Зато при посредственных знаниях мне везло, и тогда, как правило, все выходило на «отлично».

Но в тот год, в то лето мне просто везло. Видимо, мой ангел-хранитель был все время рядом. Всегда, днем и ночью на чеку. Ведь он-то точно знал, какой это важный и знаменательный для меня год. И он не имел права хоть на минуту отвернуться, схалтурить, выпустить хоть что-то из-под контроля. Очень ответственный мне достался ангел-хранитель.

Экзамены уже позади, но списков зачисленных еще нет, даже проходной балл еще не объявили. Представляете, какое напряжение. Даже думать не хочется. Все смутно и неопределенно. Про Длинного думать боязно. Про будущее нельзя сейчас думать — чтобы не сглазить. И читать ничего не хочется.

Один выход — окунуться в прошлое и предаться воспоминаниям.

Кстати, без этого в этом повествовании в характере главной героини многое потом будет казаться надуманным или непонятным.

Итак...

«Восьмимесячные обычно не выживают», — предупредил доктор при моем появлении на свет. Так что уже при рождении я решила доказать свою необычность. Я была слишком самостоятельна и самоуверенна и долго не догадывалась, что даже при рождении мне помогли предки — их бойцовские характеры и жизнестойкие гены.

От предков, не в том смысле, как во времена нашей хипповой молодости принято было называть родителей, а в исконном значении этого слова, мне досталось много хорошего и разного. Отрицательный резус, о котором я впервые услышу ровно через год, — это папины гены. В момент моего рождения о резусе еще никто не знал, а про гены знали, что генетика — вредное буржуазное учение. Однако все меняется, и теперь уже можно определить, что от кого. В детстве я была похожа на отца.

Мама говорила, что у меня светлая голова. Но это может быть и от папы, и от мамы. Хорошая фигура — это скорее по папиной линии — даже манекенщицей могла работать.

И работала. Год выходила на подиум, который между собой мы называли «языком». И кожей поняла, как хорошо «когда в желтую кофту душа от расспросов укутана».

Руки тоже больше похожи на папины. Правда, я оказалась левшой. Может, это тоже гены. Потому что и моя бабушка, мамина мама — левша.

Видимо, это передается через поколение.

Мой младший внук — тоже левша.

А больше никто.

От бабушки я унаследовала любовь к рукоделию — вышиванию, вязанию, шитью. Но бабушка не успела научить меня вязать, и я долго не могла найти ни одну левшу, которая бы показала мне эту премудрость. Так я поняла, что левша — это тоже признак необычности.

А еще у меня отличные волосы. Упругие, вьющиеся — это от папы, у мамы, как и у бабушки, были мягкие и прямые. А вот отсутствие седины — это от мамы и бабушки. Папа поседел в 27 лет, когда его первый раз посадили. А мама и бабушка долго не седили, правда, они и не сидели. Но это вряд ли связано. Папины сестры, как и папа, поседили рано. Значит, все-таки это гены. Тот редкий случай, когда получаешь в наследство лучший из возможных вариантов. Вот с языками — все наоборот. При отличном маминном знании нескольких иностранных языков я умудрилась получить абсолютную к языкам неспособность. И это точно от папы. А любовь к поэзии — от мамы. Даже выбор поэтов долгие годы был только мамин — Блок, Маяковский, Некрасов. А еще я в равной степени верю в гадания и в коммунистические идеалы. И то и другое я унаследовала от мамы. И, как мама, я городской житель. А папу город тяготил. Ему не хватало простора, степи, реки. А мама любила море.

В общем, от предков мне досталось много хорошего и разного. А вот характер дурной — это приобретенное. Тут уж предки не виноваты. Ну, только если какой-то очень дальний предок, о котором я ничего не знаю.

Видимо, с момента рождения я все время пытаюсь доказать свою исключительность и потому очень часто выпрыгиваю из установленных рамок, не вписываюсь в общепринятые нормы.

«Я могу прожить без необходимого, но без лишнего я прожить не могу». Видимо, это я унаследовала от Светлова, которому, собственно, это высказывание и принадлежит. Об этом своем волшебном качестве Светлов говорил в ЦДЛ, когда праздновалось его 60-летие. До следующего дня рождения он не дожил.





Михаил Аркадьевич не дал мне имя, но одной фразой объяснил смысл жизни.

та история, очень косвенно связанная и со мной, породила во мне веру в судьбу, в ее предопределенность. А попутно еще и в чудо, и в гадание.

Из роддома нас с мамой забирали не только папа и бабушка, но еще и мамин двоюродный брат Герка. Это-то и было неожиданным.

Родных братьев и сестер у мамы не было. Двоюродных было много, но Герка был любимым. Как и мама, Герка родился и вырос в нашей квартире. Квартира была большая, коммунальная. В ней было много соседей, и почти все они были родственниками.

Но мама и Герка были не только родственниками, они были друзьями, хотя он и был на пять лет моложе. И когда Герка осенью 1940 года после окончания школы пошел в армию, то они стали писать друг другу письма. И мама все приходившие от Герки письма собирала. Мама вообще не могла никогда ничего выкидывать. И я тоже не могу.

В июне 1941 года из Бреста от Герки пришло очередное письмо, в котором он писал, что скоро поедет в училище и, может быть, даже проездом через Москву. И как это будет здорово, оказаться снова в Москве и всех увидеть. Но уже шел июнь 1941 года. И Герка не уехал в училище, и не попал проездом в Москву. Потому что началась война. Эта страшная война началась с Бреста. И больше от Герки никаких вестей уже не было. Осенью мама вместе с бабушкой уехали в эвакуацию. С собой она взяла совсем немного вещей. Но Геркины письма взяла. И даже гадала на него у цыганки. И цыганка сказала, что он жив. И что они обязательно увидятся. И мама поверила. Но от Герки не было вестей и потом, когда мама вернулась в Москву из эвакуации. От него не было вестей долго, пока не кончилась война.

Потому что Герка был ранен в Бресте и попал в немецкий концлагерь. Там ему повезло, потому что другие военно-

пленные не выдали его, еврея, а сказали, что он армянин. И это спасло ему жизнь. Потом, уже в 43-м году, он бежал из лагеря. Сражался в албанском подполье и в югославских партизанских отрядах. Когда англичане освободили Югославию, они отправили всех советских граждан через Болгарию в СССР. Где этих неблагонадежных граждан, побывавших в плену у немцев, ждали уже советские лагеря, тюрьмы и ссылки. И Герка снова оказался в лагере. И тогда он опять начал писать письма маме. Но это было уже после войны.

Вот и не верь после этого гадалкам. Ведь цыганка еще в самом начале войны сказала, что он жив и что они обязательно увидятся.

Так что можно сказать, что произошло чудо. Даже два чуда — одно большое и одно маленькое. Несмотря на все катаклизмы войны, начавшиеся для Герки, как и для страны, с Бреста, — ранение, контузию, плен, побег, партизанские сражения, — Герка выжил. И это было огромным чудом.

И чудом сохранились его письма.

И еще в момент моего рождения Герка почему-то оказался в Москве. Совсем-то он вернулся из лагерей только в 56-м году, а тогда, в 46-м году, он дважды самовольно сбежал из рязанского распределителя в Москву. Один раз на крыше переполненного поезда, а второй раз даже не на крыше, а в вагоне. В его бараке у одного заключенного был... домашний мужской халат. Герка попросил у него этот халат. На станции перед приходом поезда облачился в него и перед самым отправлением поезда сел в вагон. И спокойно доехал до Москвы. И таким образом увидел меня. И я ему очень понравилась. И мы с ним чуть даже не попали под трамвай на Комсомольской площади. Видимо, все отправились провожать его на вокзал, и он нес меня на руках. И так он был мной увлечен, что даже трамвая не заметил.

Но я этого не помню. А нашу квартиру, в которой и мама, и Герка родились, помню очень рано. И твердо знаю, что эта



необычная квартира определила судьбу многих ее жителей. И мою тоже.

Мы живем на пятом этаже четырехэтажного дома в огромной квартире, где живут еще человек двадцать. По огромному широкому коридору можно кататься на велосипеде, и я катаюсь — на трехколесном. Вызывая злобный лай таксы Дольки и неудовольствие трехцветной ангорской кошки Мурки. Долька и Мурка были соседскими. Потом к ним добавились наши — собака Любка, которую нам подарили в ее уже взрослом возрасте, и кошка Волжанка, которую мама привезла котенком в вырезе платья из очередной поездки к подножию Жигулей.

Иногда я на своем велосипеде заезжала на тридцатиметровую кухню со сводчатыми полукруглыми окошками, где у каждой семьи — свой стол, совершенно не похожий на соседский. И комнаты у каждой семьи разные — перегороденные фанерой, с окнами в колодец, и с окнами на лестницу, и с деревянными покосившимися окошками в бревенчатой стене (часть квартиры сгорела во время пожара и была заделана деревом, а не кирпичом). У нас огромные «венецианские» окна, из которых видны три кремлевские рубиновые звезды и часы на Спасской башне. Может быть, поэтому в доме нет стенных часов. Звон кремлевских курантов врывается в квартиру не через тарелку громкоговорителя. Особенно чистым и ясным он бывает ночью, когда Москва затихает.

А еще из окон видно темное каменное, совсем «секретное» здание, про которое все знают, что это подстанция метро, и на этом месте задолго до того в каком-то шестнадцатом веке был основан Никитский монастырь, и что этот женский монастырь снесли в не менее далекие 30-е годы (тогда еще не прошлого века).

Наш дом имел дореволюционную историю. Хозяйка дома, постепенно богатея, пристраивала новые части к своим владениям, и дом рос в длину по периметру двора, складываясь из двух-, трех- и четырехэтажных построек. Он рос и вверх. Так после четвертого этажа вровень с чердаком

появилась наша квартира — единственный во всем огромном доме пятый этаж. Мы втроем — я, мама и бабушка — жили в двух самых больших комнатах. И у нас устраивали свадьбы все жители нашей квартиры. Но телевизора у нас не было, а у соседей был телевизор с линзой. И я ходила смотреть телевизор к ним. А у других соседей было дребезжащее пианино.

И еще ко всем приходили и приезжали гости.

Это была очень хорошая квартира, в которой одни рано вставали, а другие ложились поздно, и поэтому жизнь в доме никогда не затихала. Только лифта не было в нашем доме, но мы ходили кататься на лифте в другой дом.

Моя бабушка первой поселилась в этой квартире. Еще до революции. Правда, тогда в Москве евреям жить не разрешалось. Это право, кажется, было у купцов первой гильдии, профессоров, адвокатов, врачей и проституток. Моя бабушка ни к одной из этих профессий отношения не имела. Но, будучи человеком решительным, выход нашла. Она приехала в Москву, оформила фиктивный брак и обосновалась в квартире на Большой Никитской, которая еще не стала улицей Герцена.

В этом доме родились и моя мама, и я. Так что эта квартира в прямом смысле наше родовое гнездо. И расположена она, как гнездо, под крышей чердака.

Когда в конце 60-х годов началась борьба с диссидентством, нас с чердака и из центра выселили.

Вскоре моя бабушка поменяла фиктивный брак на настоящий. После революции бабушка, которая уже стала мамой, перетащила в Москву трех старших братьев — Мортхэ, Исаака и Ефима.

Мортхэ тоже обосновался в доме на Герцена, но на первом этаже. А Исаак и Ефим поселились в нашей квартире. Исаак женился на Софье Зарецкой, и у них родилось двое детей — Герман и Нина. Герман — тот самый Герка, который забирал меня из роддома и который писал маме письма. Тот

самый Исаак, которого я звала дядя Исай и который, пока его сестра, а моя бабушка, была в больнице, давал мне натошак наперсток водки. И именно у них — у тети Сони и дяди Исая — был тот самый первый и единственный в нашей большой квартире телевизор с линзой.

А дребезжащее пианино было у тети Рахили и Геси. Рахиль была жена бабушкиного брата Ефима. У них было трое детей — Абрам, Евгения (в обиходной речи — Гесья) и Иосиф. Абрам умер от брюшного тифа, Иосиф, как все внуки Копла, которых звали Иосифами, погиб в Великую Отечественную войну. А Ефим умер еще в Гражданскую, в 1919 г. Рахиль и Гесья остались жить вдвоем в двух комнатах герценовской квартиры. Рахиль была старенькой, Гесья — сумасшедшей. Рахиль все жалела — что за судьба: потерять двух сынов и мужа и остаться с душевнобольной дочерью.

Гесья периодически лежала в сумасшедших домах, а потом отдыхала в домах отдыха МИДа или даже Совмина. Конечно, в Подмоскowie. Конечно, в несезон. Но она там (в одном из этих домов — отдыхальном или сумасшедшем) всегда находила себе кавалеров. Один ей дал точный адрес — стоянка такси на Комсомольской площади. Он работал таксистом. Его фамилии она не знала. Номера машины тоже. Но ежедневно звонила на эту самую стоянку, разыскивая своего кавалера.

А однажды она привела мужа. Прожил он на Герцена недолго. Но память о себе оставил долгую. Из всего богатого и могучего русского языка он освоил только ненормативную лексику, которую употреблял значительно чаще, чем любые другие слова. Гесья любила готовить. У нее были собственные рецепты. Например, яйца в мешочек. Для этого бралась тряпочка, из нее делался мешочек, в который клали яйца. Если одно яйцо в мешочек должно вариться одну минуту, то два яйца — две минуты. Когда она жарила мужу картошку, та, как правило, сгорала. И тогда вся квартира слышала гневные вопли голодного мужа: «Я — тебе — какие — деньги — давал? Я — тебе — советские — деньги —

давал. А ты — мне — что — даешь? Ты — мне — угли — даешь!» Вместо тире можно по своему усмотрению вставить все «известные слова» и их производные. Но вряд ли получится так мастерски и артистично, на одном дыхании. А еще у него была присказка: «Гитлер вас, жидов, не дорезал. Я дорежу!»

Тогда я услышала слово «жиды» впервые, но по молодости лет не придала этому никакого значения.

А потом Гесин муж у кого-то что-то украл. И его, можно сказать, прямо за руку в этот момент поймали. Он недолго думая выскочил с краденым добром на лестницу и побежал вниз. А за ним дядя Исай. А за ними моя бабушка. Так у Геси не стало мужа. Но, кажется, она из-за этого даже не очень переживала. А все остальные только обрadowались.

Когда не было мужей, Рахиль и Гесья сдавали угол. Студентам консерватории. Потому что консерватория была рядом с нашим домом. А еще потому, что в комнате Рахили стояло то самое дребезжащее пианино. У нас тоже было пианино, я даже в детстве играла на нем что-то, хотя музыке меня не учили — видимо, из-за отсутствия слуха. А потом пианино продали. Потому что нужны были деньги. Но на черно-белых фотографиях остались и пианино, и подсвечники, и ковер, и картины. Но только на фотографиях.

Мы тоже сдавали комнату. Даже трем студентам, но не из консерватории, а с юрфака. Юрфак МГУ был рядом с нашим домом — даже ближе, чем консерватория. И дядя Исай сдавал выгороженную фанерной стенкой комнатку, но тоже не консерваторским. У него не было пианино, в эту комнатку оно бы и не поместилось. Да и звукоизоляции никакой быть не могло.

А Рахиль сдавала угол только пианистам. Наличие инструмента, видимо, особо ценилось.

Однажды там поселился шестнадцатилетний львовский мальчик Алик. Жил он в одной комнате с Рахилью. Гесья

имела право на отдельную комнату. Но по утрам Геся в ночной рубашке приходила в комнату к Рахили и Алику, садилась за расстроенное пианино и начинала объяснять Алику, как надо играть. В результате первую же сессию он завалил. И его чуть не отчислили из консерватории. Потом приехала его мама, добилась для него и восстановления, и общежития. Но всегда, когда его мама потом приезжала в Москву, она почему-то по-прежнему останавливалась у Рахили. И когда Алика должны были послать на какой-то международный конкурс, он прислал всей квартире приглашающие билеты в Малый зал на прослушивание. Были кто-то еще из нашей квартиры там, я не помню, но Рахиль и Геся были. Сидели они на балконе в первом ряду, но с разных сторон. И все время переговаривались: «А ты выключила чайник?», или «Но это же не наш Алик?!» На конкурс Алик поехал. И стал лауреатом, не знаю того или других конкурсов. И выступал в Большом зале. Но нас на концерты больше не звал. А потом и его мама перестала останавливаться у Рахили.

Недавно по телевизору, по каналу «Культура», транслировали концерт, кажется из консерватории. За роялем был Александр Слободяник. Такой же молодой и красивый, как полвека назад. Может быть, чуточку проще. И это было наваждением. Пока не появились титры. И наваждение прошло. Появилась грусть. Потому что в титрах было — солист Александр Слободяник-младший.

А в Интернете всего за 112 рублей можно заказать CD с пластинки 1990 года «Ф. Мендельсон / Р. Шуман / В. А. Моцарт. Александр Слободяник, фортепиано». Это наш Алик.



Вкусно и красиво готовить умели все — и в папином, и в мамином роду. Если, конечно, не считать мамину кухню Гесю, которая уж слишком оригинально готовила. И меня, как и большинство Тельцов, покровительница знака Венера не обделила кулинарными способностями. А может, кулинарные способности вовсе даже не от Венеры, а от мамы, бабушки,

папиных сестер. Плюс к способностям я еще и обожаю готовить. С детства. Первые мои опыты были, конечно, абсолютно примитивными. Но даже они вызывали одобрение. А это меня всегда стимулировало. И я полюбила готовить. Естественно, для окружающих. Для себя готовить скучно и лень. Все равно никто не оценит. А мне важно, чтобы оценили. Поэтому я люблю гостей. И всегда, когда готовлю, извожу гору чистой посуды, которую совершенно не люблю мыть. А может, и мои кулинарные способности отнести к отличительным качествам?

Странно, почему для меня, гурмана, с детством ассоциируются не деликатесы и кулинарные изыски, а самые обыкновенные, обыденные, даже, можно сказать, примитивные блюда.

Нет, деликатесов и изысков в доме хватало. Бабушкины кнедлики и фаршированная рыба. Кролик, которого все принимали за нежнейшего цыпленка. И мамины грибные вариации. Белые грибы с молодой картошкой — обязательное блюдо на ее день рождения. Или картофельные котлеты с мясом внутри и грибным соусом сверху, которые почему-то называли зразами. Или вкуснейший суп из белых сушеных грибов. Или нежнейший, таявший во рту зеркальный карп — одинаково вкусный и в вареном, и в жареном исполнении.

Но вспоминаются не они. И грущу я не по ним. Кнедлики и фаршированную рыбу я не готовлю. А все остальное, и не только это, могу приготовить. И получится так же вкусно, красиво, оригинально и изысканно.

Но символами ушедшего детства стали другие вкусовые ассоциации. Горячий хлеб. Вобла. Гречневая каша с молоком. Манная каша.

Я обожала манную кашу. И никому не доверяла ее приготовление. Все очень торопились и потому всегда засыпали манку в кипящее молоко. Но разве после этого манная каша могла быть нежной, воздушной, вкусной? Нет, манную кашу так готовить нельзя. Манку, соль и сахар надо залить холодным молоком, поставить кастрюльку на малень-

кий огонь под рассекателем и, помешивая, ни на секунду не останавливаясь, медленно варить. На такое длительное действие только у меня хватало терпения. Зато мою кашу любили все. И это воодушевляло на следующую готовку.

И к приготовлению гречневой каши я имела непосредственное отношение. Начиная с тщательного перебора каждой крупинки гречки на уголке огромного стола под горящим оранжевым абажуром. Потом были таинства с чугуном, водой, духовкой. Потом укутывание чугуна в подушки, чтобы каша «дошла». А потом ее, рассыпчатую и горячую, заливали холодным молоком из бидона. Тем молоком, которое мы с бабушкой утром добывали с номерками на ладонях.

Современность с кашами быстрого приготовления в пакетиках лишила все эти блюда индивидуальности, вкуса и сказки.

Наверно, горячий ночной хлеб был особенно вкусным, потому что мы вдвоем с папой приносили его домой. А купленную мной во дворе, в длинной неспешной очереди воблу папа неторопливо, с пониманием дела, освобождал от шкурки и костей и разламывал на кусочки — длинная полоска спинки, тонкий, светящийся край от ребрышек, продолговатая плотность икры. Дележка спинки, икры, ребрышек всегда была честной и справедливой. И я сначала поглощала свою часть ребрышек, потом долго, с чувством расправлялась со своей частью спинки и только потом переходила к икре. Я всегда оставляла самое вкусное напоследок.

Сегодня воблу можно купить в любом супермаркете. И не только летом, а и в любое время года. Но этой вобле очень далеко до воблы моего детства.

А совсем из раннего детства, когда еще папа не вернулся и бабушка не болела, всплывает странный ужин. Огромный круглый стол под оранжевым абажуром ярко освещен, а остальная часть большой комнаты тает в полумраке. И мы с бабушкой вдвоем за столом. И у меня на тарелке кусок бе-

лого хлеба с маслом, аккуратно разрезанный на маленькие ровные прямоугольники. И я беру прямоугольник и подношу ко рту. А бабушка говорит: «А это яблоко». И у меня возникает вкус яблока. А потом я беру следующий кусочек, и бабушка произносит: «А это пирожное». И я тоже знаю, что это пирожное. И пытаюсь угадать, что будет таиться в следующем прямоугольничке. И иногда угадываю, еще до того, как бабушка назвала. И тогда этот кусочек становится особенно вкусным.

Чем была вызвана такая игра, я уже никогда не узнаю.

Сегодня не 13 число. И даже не пятница. Просто полнолуние. Врач велел принять лекарство перед сном, но через три часа после еды. И до утра уже ничего не есть. Выждав положенные часы, я выпиваю лекарство.
И тут возникает фантастическое чувство голода.
Как будто не ела несколько дней.
Многолетняя привычка поглощать пищу на сон грядущий берет свое.
И нет сна.
И только мысли о еде.
Даже детективы не спасают.
Рядом лежит недавно купленная и еще не поставленная на полку «Еврейская кухня».
Один рецепт, другой, третий...
Бабушку разбил паралич, когда мне было восемь лет.
Мама национальные блюда не готовила.
Ощущение вкуса конкретных блюд, пришедшее через полвека.
Сытость от чтения поваренной книги.
В очередной раз спасает вкус детства.
Память детства.
Я засыпаю умиротворенная, счастливая и абсолютно сытая.



ерная тарелка радио, ставшая потом обязательным атрибутом многих военных фильмов, такая же, как и в кино, висела на стене в первой, нашей с бабушкой комнате, рядом с дверью, и ее почти никогда не выключали. В этот раз пере-

давали очередную порцию театра у микрофона. «Анна Каренина». Анна приходит к Сереже. С игрушками. И вдруг я начала взахлеб рыдать. Бабушка и мама безрезультатно пытались меня утешить, не понимая, что так подействовало на ребенка. Для меня все было понятно — Анна не отдала Сереже игрушки. В моем послевоенном детстве игрушек почти не было. А там их забыли отдать. И я не могла это спокойно пережить.

Вторая встреча с этим романом меня оставила безучастной. Я прочла его, как и большинство людей, в школьные годы. И конечно, мне казалось, что я все поняла. Но все страсти были не моими, сопереживания не возникало, и все герои были ужасно старыми.

Самым большим открытием при новом прочтении «Анны Карениной» уже во взрослой жизни оказалось осознание их немыслимой молодости. Даже толстый Стива, который и в кино, и в театре выглядел стариком, у Толстого оказывался младше меня, тридцатилетней. Потом, с возрастом, я часто ловила себя на этом возрастном барьере в отношении реальных людей. Мой сорокалетний дедушка, которого я видела только на фотографиях, и сейчас мне кажется намного старше меня. Но — это в реальной жизни. С литературой у меня такое случилось только однажды.

А при первой встрече с этим романом я рыдала. Мне было пять лет.

Черная тарелка громкоговорителя на стене трагическим голосом передавала страшную весть. Я вскочила с постели в одной ночной рубашке и ринулась в соседнюю комнату, где спала мама. Бабушка пыталась удержать меня за хвост рубашки. Но я выскользнула, широко распахнула дверь и, захлебываясь от радости (радость была не от осознания события, а только от того, что я первая сообщу маме эту новость) с порога завопила: «Мама, Сталин умер!»

В садик я несколько дней не ходила. А мама ходила в Колонный зал. В тот исторический зал, где она в 35-м году от имени



советских десятиклассников рапортовала Сталину, что их поколение готово стать героями, и где сейчас, в 53-м году, лежал Сталин. Маме не было стыдно за свое поколение. И она обязательно должна была попрощаться со Сталиным.

Ее долго не было. И было очень холодно. А потом мама пришла. И бабушка отпаивала ее горячим чаем. А мама все никак не могла согреться. И все рассказывала, рассказывала, как она все-таки сумела пройти в Колонный зал, хотя все было оцеплено, и никого не пускали, и была очень большая очередь. И потому что было холодно, и варежки не грели, мама натянула на руки толстые шерстяные носки. А в Колонном зале стала стягивать носки с рук, а носки были ужасно длинными, и руки все равно замерзли, и носки не хотели сниматься. Кому-то из охраны мамины действия показались кощунственными или подозрительными, и ее чуть не арестовали. Но потом, когда она сняла с рук носки и все объяснила, ее пустили проститься со Сталиным.



апа вернулся осенью с правом прописки на 101-м километре. Маме пришлось выбирать между Центральным домом Советской Армии им. М. В. Фрунзе и папой. Она выбрала папу. Поэтому в августе 1954 года в маминой трудовой книжке появилась последняя запись: «Уволена по ст. 47 п. «А» КЗОТ'а». Больше в штате мама никогда не работала.

Вообще, мама часто сама себя ставила перед выбором. Например, с куревом. Курить мама начала в войну. И курила до 1948 года. А когда папу арестовали, мама курить бросила. Решила, что папа обязательно к ней вернется, если она не будет больше курить. Папа вернулся.

Мама закурила в день его смерти. И второй раз бросила, когда у нее украли сумку, в которой был партбилет. Партбилет, конечно, не папа, но тоже святое. И она опять решила бросить курить, чтобы ее из партии не исключили. Ее не исключили, хотя выговор для порядка объявили. Но это было не так страшно. Потом ей часто снилось, что она курит. Но это было во сне. Наяву она больше никогда не курила.

А тогда, осенью 1954 года, когда папа вернулся, мы вчетвером — мама, папа, парализованная бабушка и я — жили в первой проходной комнате за занавеской; в прихожей жила домработница, а вторую, дальнюю комнату мы сдавали трем студентам юридического факультета МГУ. Потому что мама уже уволилась с работы, папа даже не мог жить в Москве, не то чтобы работать, и бабушкиной пенсии — 210 дореформенных рублей (если кому интересно про эту реформу узнать, я потом расскажу) — нам всем хватить не могло. А каждый студент платил еще по 200 рублей. И это уже было что-то.

Вместе с папой в квартире поселился страх. Не обычные детские или взрослые страхи, а страх, что ночью придет милиционер и спросит, что здесь делает папа, почему он живет в Москве, если должен жить на 101-м километре. И тогда надо было сразу, спросонок, не раздумывая, сказать, что папа здесь не живет, что он только вчера вечером приехал, а утром уедет. Кажется, я больше всего боялась, что скажу что-то не то, и милиционер поймет, что я вру, а врать нехорошо, и мама всегда догадывалась, если я говорила неправду, и милиционер догадается. И я подведу папу. Под монастырь. Мне повезло, милиционер так и не пришел. Но однажды рожденный страх остается надолго.

А со студентами было даже веселее. Они много вечеров о чем-то оживленно разговаривали с папой и мамой. А 31 декабря они с мамой принесли огромную лохматую елку. И сразу запахло праздником. А потом кремлевские куранты в окне возвестили приход нового, 1955 года.



огда папа ни с кем не разговаривал, он что-то писал карандашом в маленьких тетрадках, которые назывались записными книжками. Все папины записные книжки и дневники написаны карандашом. В доме было много карандашей. И все они были папины. Для них был специальный хохломской бочонок. Чинил их папа не какими-то детскими точилками для карандашей, а опасной бритвой. В отличие от безопасных, почему-то всегда с тупыми лезвиями «Слава»,

длинную опасную бритву можно было точить. Самому — на ремне. Или отдать точильщику. Сначала точильщики еще ходили по улицам, и их призывно-распевное «Ножи-и-и-и, но-о-о-о-жни-цы точи-и-и-и-ть» эхом отдавалось в колодце двора. А потом, когда собиралась очередь хозяек с ножами, точильщик ногой нажимал на педаль, и точильный камень-круг вращался, и от соприкосновения с лезвием ножа от него летел фонтан искр. И чтобы увидеть это яркое зрелище, вместе с хозяйками выбегали дети. Но к середине 50-х в Москве уже были специальные мастерские, а не кустари-одиночки. А в мастерскую не пойдешь смотреть на искры. Потому что может никто и не прийти точить ножи, ножницы или опасные бритвы.

Папина бритва была всегда острой, но он ею не брился. Брился он электрической бритвой, они тогда только появились в продаже. И она безумно жужжала. А один раз я ее провод случайно воткнула в радиорозетку, и оказалось, что и через бритву можно слушать радио. И мы это открытие всем демонстрировали.

А опасной бритвой папа чинил карандаши. Это был целый ритуал. И в этот момент можно было о чем угодно разговаривать, смеяться и не бояться, что отвлекаешь папу от работы. Потому что когда папа работал, он — писал. Карандашом.

Ручки, конечно, тоже были. Деревянные, со сменным перышком и специальной чернильницей-непроливайкой. Но от такой ручки было много клякс. И еще были дорогие и не очень дорогие авторучки, внутри которых был специальный насосик для чернил. От них клякс было меньше, зато руки были всегда испачканы чернилами. Такие ручки папа не любил. Наверно, ему понравились бы шариковые ручки. Но тогда их не было.

Впервые я увидела шариковую ручку, когда к нам приехали наши мексиканские родственники. Бабушкина племянница еще в голодные 20-е годы с двумя сыновьями, но без мужа, которого она оставила (или он ее с двумя детьми бросил), уехала в Мексику к своему дяде, у которого к тому време-



ни уже была своя фабрика. И долго от племянницы не было вестей. А в 1956 году она неожиданно приехала в Москву. Вместе с мужем — австрийцем. Это была такая романтически-капиталистическая история. У ее дяди в Мексике, кроме приехавшей племянницы, никаких родственников не было. Ни жены, ни детей. А управляющим на его фабрике работал австриец. Дядя позвал племянницу и управляющего и пообещал, что оставит им фабрику, если они поженятся. Они поженились. Австриец оказался хорошим мужем и отцом ее двум сыновьям. Своих детей они заводить не стали.

Так вот, в 1956 году решили они навестить свои исторические родины — Россию и Австрию.

Они всем привезли подарки. Не дорогие, и не очень понятные. Мне, например, достались фильдеперсовые чулки, с которыми я совершенно не представляла что делать. К тому же они были несколькими размерами больше, чем нога худенькой десятилетней девочки. Но это так не специально получилось. Когда они собирались в Москву, про меня вообще ничего не знали. Мексиканская бабушкина племянница маму помнила примерно моего возраста, десятилетней или даже младше.

Ну, у советских собственная гордость — на буржуев смотрим свысока. Поэтому, осмотрев критическим взглядом наши комнаты, мама пришла к выводу, что стулья скрипят и как-то нас много для двух комнат, хотя студенты у нас уже не жили, и в дальней комнате жили мама с папой, а мы с бабушкой — в проходной, за занавеской. И поэтому, специально для капиталистических родственников, была придумана легенда, что мы здесь почти не живем, а живем за городом, на даче. Родственники сделали вид, что поверили.

А потом мы пошли обедать в ресторан «Прага». В кафе «Прага», которое было на первом этаже, мы часто ходили с мамой, если оказывались рядом, например, когда ходили в детскую поликлинику на Собачьей площадке. В рестораны мы тоже ходили с папой и с мамой, когда кто-нибудь из них

получал гонорар за книгу. В «Арагви», «Националь», «Метрополь» или «Прагу». Потому что это были самые близкие от дома рестораны. И там хорошо готовили.

Что мы ели в то посещение «Праги», я не помню. Но, кажется, нашим иностранным родственникам понравилось. И когда мы уже собирались уходить, и папа уже расплатился, австрийский муж бабушкиной племянницы достал шариковую ручку, продемонстрировал ее возможности и подарил... официанту.

Как мне хотелось такую ручку. Которую не надо заправлять. Которая сама пишет. Которой не было ни у кого в нашем классе. Но я об этом не сказала ни моей двоюродной тете, ни ее мужу-австрийцу, ни папе, ни маме. Никому.

Видимо, тогда и возникла, прямо по Фрейду, моя патологическая любовь к шариковым ручкам. Я и сейчас не могу спокойно смотреть на шариковую ручку, а «паркер» с золотым пером оставляет меня равнодушной.



видела Сталина, когда меня водили на демонстрации, и он стоял на трибуне мавзолея. А потом я видела Сталина в мавзолее, рядом с Лениным. Потому что все наши знакомые и родственники, которые приезжали в Москву, обязательно шли в мавзолей. И брали меня с собой. А если знакомые или родственники приезжали со своими детьми, то они еще брали меня с собой в МХАТ смотреть «Синюю птицу». Сначала я считала, сколько раз я смотрела «Синюю птицу», а потом, после пятнадцати или восемнадцати, сбилась со счета. А про мавзолей я даже не считала.

Потом был съезд. Друзья и знакомые родителей, которые были еще и героями их книг и статей и делегатами этого исторического съезда, в перерывах между заседаниями забежали ненадолго к нам. Ведь мы жили совсем близко, и можно было между заседаниями поделиться последними новостями. А вечером уже можно было не торопиться, и все долго и возбужденно что-то обсуждали.

На мавзолее второе имя замазали или затерли, но еще какое-то время его можно было разобрать. И появились переименованные строчки «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца: “Тятя, тятя, делегаты утащили мертвеца”». А еще пели частушку: «Много звездочек на небе, а одна — хрусталина. Полюбили мы Хрущева, как родного Сталина». Хрусталину мама считала гениальной рифмой, которая так емко вобрала в себя обе фамилии. И все смеялись. Всем было весело и радостно. И от жизни теперь все ждали только хорошего.

И, сидя большой компанией в ресторане Дома журналистов, хрипло и дружно пели «Товарищ Сталин, вы большой ученый. В языкознание знаете вы толк». И за соседними столами тоже начинали подпевать. Но не все. Некоторые настороженно озирались. Но за нашим столом пели все. Мамины и папины друзья, бывшие военные корреспонденты и заместитель главного редактора «Строительной газеты», и совсем молодые журналисты, литераторы, поэты, и те, кто сидел, и те, кто знал о лагерях с чужих слов. И от этого хриплого пения общий страх куда-то отступал. И казалось, что он теперь не вернется никогда.

А дома мама повторяла строки: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Она все-таки была сталинисткой, и ей было тяжелее, чем папе, который сталинистом не был.

А потом «Молодую гвардию» Фадеева, к тому времени уже покончившего счеты с жизнью, отредактировали так, что получалось, будто молодогвардейцы, ноябрьской ночью слушая по радио трансляцию торжественного заседания, не узнали голос, который говорил. Дальше было двоеточие и текст речи Сталина. Но имени его в новой редакции уже не было. И это было нечестно. И по отношению к молодогвардейцам, и по отношению к Фадееву, и по отношению к Сталину.

Разве может начинаться что-то хорошее с чего-то нечестного? Так у меня стали появляться сомнения.

о ли ощущения первой оттепели, то ли ожидания Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве спровоцировали эту игру, но эта была первая и единственная «пи-

рамида», в которой я участвовала. От кого-то пришло первое письмо. Там было 10 адресов. По первому адресу посылаешь открытку, остальные девять адресов надо переписать, прибавив свой адрес в конце, и отправить это письмо нескольким друзьям. Первая открытка пришла примерно через месяц. А потом начался шквал открыток со всех концов необъятной страны. Пришелся он на январь. Посылали любую открытку, видимо, ту, что уже была дома. Поздравление с Новым годом (что в январе естественно), с 1 Мая и 8 Марта (что явно рановато), с днем рождения (вообще не известно, когда у незнакомого тебе человека день рождения). Но все равно, приятно. Были видовые из Питера и Москвы, были полевые цветы из поселка Ковалерово Приморского края от девочки Оли, которая тогда училась во втором классе. Мальчик Саша посылал «Привет участнику международной игры!». Почему он решил, что игра международная, не знаю. Зарубежных адресов, как и открыток из-за границы не было. Но народной игра была точно. И обиженных вкладчиков в ней не оказалось.

Может быть, поэтому через 40 лет мои ровесники оказались столь доверчивыми.

о пляжа был километр. Тверской бульвар, который тоже — километр, мы с папой, не очень торопясь, проходили за 10 минут. Отрядный поход на пляж растягивался на полчаса. Говорят, что это было самое жаркое и сухое за полвека лето в Анапе. Мне не с чем сравнить, я там никогда ни до, ни после не была. Но в то лето и колодцы пересохли, и земля растрескалась. А может, я просто тосковала. Потому что родители решили отправить меня в лагерь. И подальше. «Подальше от...». От чего, никогда не произносилось. Но и без продолжения было понятно, что это нешуточное дело, когда в Москву приедет столько иностранцев.

Руководство Ступинского завода, о котором мама что-то писала, предложило ей для дочери путевку в их заводской пи-

онерский лагерь на берегу Черного моря. Так я оказалась в Анапе, где мы тридцать минут добирались до пляжа, потом ложились рядком на раскаленный песок, поворачивались по свистку с живота на спину, потом всем отрядом по свистку шли в воду, из которой совсем быстро по свистку надо было выходить. А потом в гору, в лагерь, мимо пересохших колодцев.

Все три месяца, каждый день, почти как папа, я писала дневник. В моем дневнике, в отличие от папиных записных книжек, нет ни одной мысли, ни одного чувства — сплошное перечисление имен, мероприятий и распорядка дня. Мысли и чувства нельзя было доверить тетрадке с эмблемой Седьмого Московского международного фестиваля молодежи и студентов. Потому что кто-то из подружек по отряду или даже воспитательница могли взять эту тетрадку и прочесть. Так приятно узнать чужие секреты. Меня мало интересовали чужие секреты, и уж совсем не хотелось, чтобы кто-то знал мои. Поэтому дневник походил на безымянную сводку температуры, графика дежурств, расписания мероприятий и получения писем.

Я влюбчива по натуре. Наверно, это в папу. Потому что мама — ярко выраженный однолюб. Как ни странно, если мне отвечали взаимностью, то моя влюбленность быстро проходила. Если не отвечали, то тоже проходила, но на это уходило больше времени. Хуже было, если влюблялись в меня. Я испытывала разные чувства — жалость, раздражение, неловкость. Я никогда не умела, не могла и не хотела использовать чужие чувства. Я знаю, кого я любила, почти не помню, в кого влюблялась, и, кажется, помню всех, кто влюблялся в меня.

В моем летнем лагерном дневнике про влюбленности ни слова. И я уже не вспомню, была ли влюблена сама, но хорошо помню сына нашей отрядной воспитательницы, безнадёжно в меня влюбленного. Он был моим ровесником. И, как многие ровесники одиннадцатилетних девочек, был на голову ниже меня. А у одиннадцатилетних девочек ровесники, которые ниже их на голову, редко вызы-

вают ответные чувства. Я пыталась его не замечать, а он старался всегда быть рядом. Не знаю, было ли в то время такое принято в других пионерских лагерях или это было специфической особенностью этого лагеря, но и мальчики, и девочки спали в одной палате. И с нами в палате спала воспитательница. Так что не много было мест, где можно было уединиться. Одним из таких мест была кухня, от дежурства по которой многие радостно отказывались, особенно мальчики. Но мой неугомонный кавалер сразу же просился на кухню, если я там дежурила. Его мама, которая была нашей воспитательницей, знала о безответных чувствах сына, но от этого не стала относиться ко мне хуже. Что уже было большим плюсом. Потому что потом многие мамы моих кавалеров относились ко мне подозрительно и недружелюбно.



днажды мы отправились в поход. На два дня. С палатками. С костром. С посещением пограничной заставы. Первые часа два мы шли лесом. Я шла босиком, но на это никто не обратил внимания. Дело в том, что мои старые тапочки совсем порвались, и я долго просила маму прислать мне новые, которые, наконец, накануне получила из Москвы. И старые, порванные, на радостях выбросила. А новые, только что полученные тапочки одеть в поход было просто кошунством. К тому же я любила ходить босиком. И на это никто внимания не обратил. Пока не закончился лес. Следующая часть похода шла вдоль моря, где не было никакого песка, а были острые, раскаленные на солнце камни. Но пока мы шли вдоль моря, можно было идти по воде, а в воде острые камни не раскаленные. Но потом море оказалось в стороне от нашего маршрута. И не было ни леса, ни воды, а только горы. Отряд не заметил потери бойца и ушел далеко вперед. Мои ступни превратились в кровавое месиво. Еле переставляя ноги, я медленно брела вслед за отрядом. А впереди меня ждали воспитательница и ее сын. Они сидели на большом камне, и вид у них был грустный. Оказалось, что мой кавалер стер ботинком ногу и отказывался двигаться дальше.

И воспитательница, зная его ко мне отношение, попросила меня побежать вперед, может, тогда и он пойдет за мной. И я побежала. Напарываясь на самые острые и раскаленные камни. Я бежала долго, не оглядываясь, пока тропа не вильнула в сторону, за гору. И там, за горой, я наконец остановилась и села на землю, которая вся была из острых раскаленных камней. И стала ждать. Я не знаю, сколько прошло минут. Из-за поворота показалась воспитательница, которая на закорках несла своего сына.

Надо же, оказывается один роман, который был связан с хождением и даже беганием босиком, у меня уже был. И плохо для меня кончился. Но тогда про это я даже не подумала. И только спустя много лет поняла, что я так никогда и не научилась учиться на собственных ошибках.

Хотя кроме бегания босиком в этих историях на первый взгляд, и даже на второй, нет ничего похожего.

Правда, через сорок лет мне уже так не кажется.

Когда они добрались до меня, то моей воспитательнице было стыдно и за себя, и за своего сына. Она что-то пыталась объяснить, защищая его. Но мне было все равно. Я не обиделась ни на своего незадачливого поклонника, ни на воспитательницу, ни даже на отряд, который, кажется, и не вспомнил про нас. Мы все-таки добрались до стоянки, где уже стояли палатки и вовсю полыхал отрядный костер, и все уже пели песни. И чистые котелки были убраны в сторону, и ужина нам не досталось. Но и это было уже не так важно. Я злилась на себя, что пожалела тапочки. И еще на маму, потому что у меня были только одни тапочки, а у всех остальных детей их было несколько пар. На том привале медсестра перевязала мне ноги бинтами. И весь следующий день я шла в этих бинтах. Но мы возвращались уже по другой дороге, где не было острых раскаленных камней.

Когда я вернулась в Москву, шрамы на ногах были чуть заметны, и на них никто не обратил внимания.

Вернувшись в Москву, я ее не узнала. Остатки праздника проступали то тут, то там — на стенах домов и в настроении окружающих. Но сам праздник прошел без меня. Фестиваль уже отшумел, но его символические голуби и ромашки еще несколько лет были видны на торцах зданий. А потом и они пропали.



о 12 лет я твердо знала, что я единственный ребенок в семье. В детстве я переболела всеми возможными детскими болезнями. И много времени проводила в больницах. На этот раз я лежала с экссудативным плевритом в туберкулезной клинике. Несмотря на принципиальные различия, у мамы с папой было много общего. Например, туберкулез. У мамы он был, когда я училась в первом классе, а у папы в молодости. То ли когда он был беспризорником, то ли когда его первый раз посадили. Так что моя туберкулезная интоксикация, с которой я провела полгода в клинике, — тоже неслучайна. Я умудрялась наследовать все — и болезни, и качества.

Мне крупно повезло, потому что обычно в этой клинике дети лежали годами, а я всего полгода, из которых один месяц и то лишний. Потому что когда меня решили выписывать, то позвонили домой, но мама с папой были в командировке в Киеве, а парализованная бабушка жила вместе с домработницей на даче. Соседи, хоть они и родственники, меня забрать не могли. А мне уже сказали, что меня завтра выписывают. И я раздала все свои игрушки подружкам по палате, собрала все свои вещи и ждала. Оказалось, что ждать пришлось месяц. С тех пор я никогда не собираюсь до самого последнего момента.

Но это было летом. А зимой и весной родители приезжали каждый выходной. И мы гуляли по парку. На масленицу нас даже на тройке катали. Вообще, клиника была замечательная, больше похожая на санаторий. Утром у нас были уроки, всякие, кроме иностранного языка, и в одном классе одновременно занимались дети из разных классов — с первого по седьмой. Потому что детей было немного, и учителей немного, и помещений для занятий тоже немного. Но иногда, когда приходили студенты,

некоторых детей с уроков забирали. И студенты их слушали, смотрели, ставили диагнозы и получали отметки. Меня часто снимали с уроков, потому что на моей лимфатической системе можно было легко завалить любого студента, даже отличника. Те студенты, которые мне нравились, все отвечали правильно, потому что я им всегда подсказывала. А они мне притаскивали шоколадки, которые мне на самом деле нельзя было есть, потому что до экссудативного плеврита я переболела желтухой, или болезнью Боткина, если по-научному. И я отдавала шоколадки другим детям, потому что в клинике москвичей было совсем мало, а к немосквичам родители приезжали очень редко, к некоторым даже не каждый год. Некоторые студенты, успешно сдавшие зачеты и экзамены, потом приходили в клинику на практику. В мою бытность в клинике у нас на практике была очень красивая китаянка. По-русски она говорила очень чисто, совсем без акцента. И когда лечила, была очень серьезной. А в остальное время много шутила, улыбалась. И любила детей. Но в клинике детей все любили. И жалели. А потом она уехала лечить детей в Китай. А вскоре началась культурная революция. И прекратились ежедневные передачи по радио, начинавшиеся позывными «Москва — Пекин, Москва — Пекин, идут, идут вперед народы». И народы уже не дружили. И я часто вспоминала ту практикантку и думала, что с ней стало. Других знакомых из этой огромной страны у меня не было. А мировые катаклизмы сильнее переживаешь, когда они связаны со знакомыми тебе людьми, особенно в детстве.

Днем в любое время года мы все спали на террасе, в спальных мешках. Потому что туберкулезным детям нужно много воздуха. И кормили нас очень вкусно. На масленицу были блины, а так каждое воскресенье на обед была курица и баночка черной икры на стол, на четверых. Эта баночка мне доставалась целиком, потому что мои три соседки по столу икру не ели, а врачи, сестры и нянечки ничего из рациона детей не забирали. Время было такое. И к каждому ребенку там был индивидуальный подход. Одна девочка приехала из глухой деревни, где она жила вдвоем с бабушкой и кроме картошки ничего не ела. Так у нее было специальное картофельное меню. Я такого

разнообразия потом даже в ресторанах не видела. И постепенно ее приучили и к мясу, и к курице, и к рыбе. И к градуснику. Потому что сначала она даже градусника боялась и пряталась под кровать, когда сестра приносила всем термометры.

Дочь маминой школьной подруги, та самая, с редким именем Наташа, у которой «тоже был бантик», сегодня, когда наших мам уже давно нет, а мы дружим сами по себе, рассказывает, что клиника находится в усадьбе Балашова, и там есть очень смешные львы. А я ничего не знаю об усадьбе, о Балашове и смутно вспоминаю львов, хотя провела в их обществе полгода.

Уже в другом тысячелетии врач-фтизиатр, к которому меня срочно направили после рентгена, услышав про «шестую версту», тоже ударилась в воспоминания. Она знала главврача клиники Александра Григорьевича Хоменко, крупного, вальяжного доктора. Он начал работать в клинике еще до войны. А года три назад он умер, и все стало потихоньку разваливаться, хотя и носит громкое название ЦНИИ туберкулеза РАМН.

Детская память избирательна. И с благодарностью думая о «шестой версте», я за толщей лет с трудом угадываю и Хоменко, и львов. Может, и совсем не вспомнила бы их, если бы мне не рассказали.

Но тот воскресный день я помню отлично, во всех деталях. Везет мне на воскресные дни. Не только с Длинным.

Я же дала себе слово не вспоминать про Длинного. От которого все нет и нет никаких вестей. Да и быть не может. Ведь он сейчас на приполярном Урале, сплавляется на плотях. И про проходной балл, который до сих пор не объявили, я твердо решила не думать. И опять думаю. И поговорить по-прежнему не с кем, подруги до сих пор не приехали с дачи или с моря. Пора возвращаться в прошлое, на Язу, на шестую версту, в клинику, в тот воскресный день, который так круто изменил мою жизнь.



ано утром в четверг у нас была баня. А в 11 часов начался большой обход. Была плохая, дождливая, как назло, погода. У Марии Петровны, наверно, и настроение поэтому плохое.

На обходе мне сказали, что у меня все хорошо, но так как у меня и папа, и мама работают и часто уезжают в командировки, то я, вероятно, веду не пойми какой образ жизни. Поэтому они вроде хотели оставить меня на лето. Но толком я из их слов ничего не поняла.

И срочно стала писать письмо маме.

«Дорогая мамочка! Поговори с Т.И. Виноградовой, а лучше вообще с Марьей Петровной (потому что выписывает только она). Скажи, что лето я буду жить на даче, буду соблюдать режим, что ни в какие командировки вы не поедете и вообще, чтобы после школы меня выписали.

Вечером я и Федукowa набедокурили. Я и сама не знаю, что со мной случилось. А сегодня нас уложили на 1 режим до понедельника. Но ты не огорчайся. Я попрошу, и мне, может быть, разрешат выйти на улицу, а если не разрешат, то поговорю с вами с веранды.

Ну, до свидания.

Крепко вас всех целую.

Сейчас я читаю книгу «Васек Трубачев и его товарищи». Сегодня я похудела на 200 гр. Но вы не огорчайтесь, еще наберу. Всем передайте привет.

Наташа».

В воскресенье в парк мне не разрешили выходить. Я стояла на открытой веранде второго этажа и ждала, когда приедут родители. Они приехали не одни. С ними была очень красивая девушка в модном пальто цвета молодого салата. Мама размашистым почерком написала мне записку: «Это твоя родная сестра. Папина дочь. А еще у тебя есть два брата».

С одним братом, который жил в Москве, я познакомилась спустя четыре года. Другой, самый старший, жил в Ростове. Он нянчился со мной, когда я только родилась, потому что он приезжал тогда в Москву поступать учиться, но ему не дали общежития, а жить ему было негде, а отец уже с нами не жил, и поэтому брату у нас было жить тоже странно, и все-таки он со мной нянчился.



Но познакомились мы с ним только через двадцать лет, перед смертью отца. А потом мы подружились, а теперь уже и его нет в живых. И в этом повествовании его, наверно, больше не будет.



А тогда, с веранды второго этажа детской легочной клиники на Яузе я увидела свою красивую сестру и сразу в нее влюбилась.

почти сразу узнала все семейные тайны.

У папы было четыре жены. И четыре ребенка. Первая папина жена вместе с сыном жила в Ростове. Они расстались, когда папу первый раз посадили в 1937 году. Потом, когда его освободили и перевели работать в Москву, он еще раз женился. И в том браке родилась моя красивая сестра. Она, в отличие от меня, родилась на месяц позже, так как началась война, и ее мама испугалась, и от испуга целый месяц то ли не хотела, то ли не могла родить, но потом все-таки родила. Рожала она в Сибири, где жил ее брат, который был председателем колхоза. Родила, оставила дочку у брата в Сибири, где сестра до конца войны жила. А сама вернулась в Москву, к папе и на работу — в ЦК комсомола, где они вместе работали. В 1942 году с другой сотрудницей ЦК комсомола папа ездил на две недели на Северный Кавказ инспектировать остающиеся в подполье комсомольские организации. А потом у этой сотрудницы родился сын, мой умный брат. А мама сестры требовала рассмотреть персональное дело недостойного коммуниста. И эти требования до сих пор хранятся в его личном деле в архиве ЦК комсомола. Но до рассмотрения персонального дела не дошло. Еще до рождения сына папа полюбил мою маму. Они поженились в феврале 1943 года. И папа, не говоря никому ни слова, кроме, естественно, моей мамы, ушел в кавалерию рядовым. Хотя у него было звание — подполковник. Но еще у него был независимый характер.

Папу полгода искали разные компетентные органы, ведь когда он работал в ЦК комсомола, у него были все карты подпольных комсомольских организаций и много другой, не менее секретной информации. В госпитале, по сводкам ра-

ненных, папу, наконец, нашли. Видимо, никому не пришлось в голову искать его среди бойцов кавалерийской дивизии. Нашли уже после ранения. Но теперь уже было глупо объявлять какие-то взыскания. И его откомандировали во фронтовую газету.

А в 1948 году его арестовали второй раз. Первый раз его арестовали в 37-м году, когда он был главным редактором молодежной газеты. В истории и литературе много случаев отречения отца от сына и сына от отца. И Тараса Бульбу, и Павлика Морозова мы еще в младших классах проходили. В нашей семейной хронике, в папиной судьбе, Тарас Бульба и Павлик Морозов выступили одновременно. Когда папу арестовали первый раз, в той самой молодежной газете, которой папа до ареста руководил, были опубликованы отречения от него и его отца, и его сына, который был тогда совсем маленьким, и его винить в предательстве глупо. Посадили папу со странной формулировкой — за присвоение себе Северного Кавказа. По этому делу проходило несколько человек, которым в будущем правительстве нового государства отводились ответственные посты. Следовательно очень просил папу подписать разные бумаги. Например, что он в этом правительстве собирался возглавлять министерство обороны. А папа, которому было всего 27 лет, ничего подписывать не хотел. У него еще хватало юмора настаивать на изменении формулировок — он должен быть министром иностранных дел, а новое государство — иметь выход к морю. Но про министра иностранных дел уже подписал другой заключенный. И с выходом к морю у следователя ничего не получалось. И папу держали в одиночке, а потом в общей камере, где 37 заключенных на белой рубашке кровью написали письмо Сталину. Оно, конечно, вряд ли до него дошло. Но когда «разоблачили» Ежова, некоторых из тех, кто ничего не подписал, выпустили. И папу тоже выпустили. И забрали в Москву. И он был главным редактором «Смены» и «Сельской молодежи», которая тогда была то ли «Молодым колхозником», то ли «Колхозными ребятами». Ему даже два года тюрьмы в стаж засчи-

тали. Как будто и не было ни одиночки-пенала, ни общей камеры, ни следователя. Как будто папа уже с 1936 года работал в Москве, в журнале «Смена» и еще учился на журналистских курсах. В октябре 1941 года его перевели в ЦК комсомола. А потом он ушел на фронт. А после войны стал заместителем главного редактора «Огонька». Когда он работал в «Огоньке», его арестовали второй раз. И вместе с ним арестовали еще около двадцати сотрудников «Огонька». Их дело так и называлось «огоньковским», а еще его называли — дело Осипова.

Сначала папа сидел в Бутырской тюрьме. С того времени осталось несколько расписок: «Для заключенного. От гражданки. Опись продуктов: батоны — 500 гр., сахару — 500 гр., колбаса — 300 гр., сало шпиг — 400 гр., какао сгущ. — 400 гр., чеснок (5 гол.) — 100 гр., печенье — 400 гр., яблок (5 шт.) — 400 гр., табак (Зол. Руно и Казбек) — 200 гр., спички — 5 кор., бумага кур. — 10 шт.» Подпись, дата и штамп: «Передача принята».

Из Бутырок папу перевели на строительство Волго-Донского канала, а потом в другой лагерь, на Куйбышевскую ГЭС. Где я его впервые в мае 1954 года и увидела.

Папа мог бы вернуться и раньше. Начальник лагеря имел право освободить заключенного досрочно. За хорошую работу и примерное поведение. Но это не было реабилитацией. А еще начальник лагеря мог представить заключенного к правительственной награде. К медали, например. И если заключенному такую награду давали, то это сразу же было и освобождением, и реабилитацией. Начальник лагеря на строительстве Куйбышевской ГЭС к папе очень хорошо относился и даже выделил ему отдельный отсек в бараке, чтобы папа мог писать роман. И он писал.

И начальник лагеря отправил папины документы в Москву, представив его к правительственной награде. Но документы попали к человеку, который хорошо знал папу по комсомолу, но плохо к нему относился. И он вычеркнул папу из списка на награждение. И когда документы вернулись к начальнику лагеря, тот очень переживал. Потому что теперь,

после того, как Москва вычеркнула человека из списка награждаемых, начальник лагеря уже не мог его досрочно освободить своим приказом.

Вернулся папа только осенью 1954 года, с правом прописки на 101-м км. И тогда обе мамы — и сестры, и брата — посчитали, что их детям такой отец не нужен. Детям, рожденным во время войны, легко сказать, что их отец погиб на фронте. А через несколько лет, когда у сестры и у брата то ли стал проявляться независимый отцовский характер, то ли наступил переходный возраст, но обе мамы каждая со своим ребенком уже не совсем справлялись, они решили, что пора прибегнуть к помощи отца. Одна мама сказала дочери, другая мама сказала сыну, что отец в войну не погиб, хотя на фронте был, но потом его посадили, а теперь он вернулся. Может быть, они не совсем так говорили, или совсем не так. Но отец стал нужен, хотя он и был еще прописан на 101-м км.

Тогда я узнала, что у меня есть сестра и братья.

И еще, что папа сидел.

Хотя про это я догадывалась и раньше.



моем школьном детстве в доме напротив Министерства внутренних дел жили мои одноклассники.

В глубине двора, в угловом правом подъезде, на первом этаже в большой коммунальной квартире вместе с мамой, папой, бабушкой и тетей жила очень красивая девочка Вера. Она была аккуратной, хорошо воспитанной, вежливой, никогда не перебежала улицу на красный свет и играла на виолончели. Прямо над Вериней комнатой, в которой она, конечно, жила не одна, а с мамой и папой, прямо над их комнатой жили Стриженовы, и хотя дом был старый, дореволюционный, и стены толстые, звуконепробиваемые, но даже несмотря на это у Веры часто было слышно, как Марина и Олег ругаются. Но меня это не интересовало.

Романтически прекрасного Олега Стриженова я видела летом на дне рождения моей недавно обретенной красивой сестры. Несколько часов подряд я сидела напротив него и

боялась пошевелиться. И не потому, что в десятиметровой комнате, где сестра жила вместе со своей мамой, с трудом разместилось семь человек, включая новорожденную.

В тот год, когда мы с папой и мамой впервые пришли к сестре на день рождения, она второй раз отмечала свое восемнадцатилетие. На следующий год восемнадцатилетие праздновалось в третий и последний раз, потому что, наконец, ей действительно исполнилось 18, а это уже совершеннолетие, и значит не «сворачивание малолетних», и не могло напугать великовозрастного кавалера. Сестре всегда нравились 40-летние мужчины. Тогда это был известный актер, красавец с повадками светского льва, которого сестра называла хахалем. На день рождения сестры он пришел вместе со своим приятелем, молодым, но очень знаменитым актером. Который был лет на 10 его младше, и от одного этого уже не был ему конкурентом. А то, что приятель был знаменит, совсем не мешало не менее знаменитому и даже более заслуженному по тем временам хахалу. Приятелем был Олег Стриженов.

Оказавшись за столом прямо напротив него, я ничего уже не могла ни есть, ни пить. Положив подбородок на край стола, я завороченно смотрела то ли на не казненного еще Овода, то ли на не убитого еще Синеглазенького, сорок первого от Чухрая.

Потом, в другой жизни, я общалась с Марчелло Мастоляни и с Софи Лорен, и с другими великими актерами и режиссерами, с кем на миг меня сводила судьба на премьерах и кинофестивалях, деятельное участие в организации которых я одно время принимала. Но никто и никогда не вызывал у меня подобного благоговейного трепета, который вызвал тогда, за праздничным столом Олег Стриженов. Меня можно простить — тогда мне было 12 лет.

А когда перевалило за полночь, кто-то предложил выпить за нового именинника. Оказалось, что один день рождения плавно, с боем курантов, перешел в другой. Синеглазенькому, у которого в жизни, в отличие от кино, были совершенно



зеленые, но от этого не менее прекрасные глаза, в этот день исполнилось 29 лет.

Поэтому крики над Вериной комнатой меня не интересовали, а скорее расстраивали. Я не люблю слышать, как люди ругаются.

Меня интересовала пара мальчиков, которые жили в Верином дворе, но в другом подъезде. Оба они учились в нашем 5-м (или 6-м?) классе. Одного из них звали Женья, и мы по очереди с ним были равнодушны друг к другу. Он кричал мне: «Натуся», а я, передразнивая его, всегда отвечала: «Женьюся». И тогда он спрашивал: «Когда?» И игра продолжалась.

Сейчас в этот дом, в этот двор, где с начала 90-х разместился институт Гайдара, можно войти только по пропуску.

Тогда пропуска не надо было. Но и тогда просто прийти в этот двор было нельзя. Девичья гордость не позволяла. И лучшего предлога, чем заход к Вере, было просто невозможно придумать. В половине случаев ее все равно не пускали гулять — нужно было делать уроки, или заниматься музыкой, или было уже поздно, или...

Но это уже не имело значения. Потому что мой приход во двор уже заметили те два мальчика, и было уже ясно, что сегодня будут и очередные горки, и снежки, и смех, и ожидаемо неожиданное касание руки, от которого замирает сердце, и все внутри куда-то проваливается. «Натуся». «Женьюся». «Когда?»

Пройдет всего четыре года, и Длинный на скамейке в Александровском садике спросит: «Ты выйдешь за меня замуж?» И я, как тогда, в детстве, сходу, не задумываясь, спрошу: «Когда?», даже не вспомнив, из какой игры возник этот вопрос.

А те два мальчика как-то само собой перестали интересоваться, хотя они по-прежнему учились в нашем 6-м (или 7-м?) классе,

но ничего уже не замирало и не проваливалось. Я по-прежнему приходила в этот двор, к Вере. А она приходила ко мне на пятый этаж. И, несмотря на уроки, музыку и позднее время, нас часто отпускали вдвоем. После седьмого класса мы вместе решили остаться в нашей школе, после восьмого вместе решили перейти в другую школу.



В тот день после школы я не пошла домой. Приехал мамин знакомый и забрал меня к себе. А наутро я пришла в школу, не выучив урок, и даже без нужного учебника по ботанике. И меня, конечно, вызвали. И я сказала, что у меня нет учебника, потому что я не ночевала дома. И наша ботаничка Марья вдруг заорала на весь класс: «Что у тебя в голове?! Шляешься неизвестно где и непонятно с кем. Даже учебник не удосужилась принести. Учебника у нее нет. Дома она не ночевала».

И тогда я впервые за сутки разрыдалась. Как писал папа в своем дневнике, хотя я тогда его дневника не читала, самые горькие слезы на белом свете вызваны несправедливостью. Накануне умерла бабушка. И она лежала дома. И мама не хотела, чтобы я видела ее мертвой. И поэтому мамин знакомый забрал меня из школы к себе. Я знала, что бабушка умерла. Но я не плакала.

Я и потом не плакала.

Не плакала, когда умер папа. И когда умерла мама.

А когда мы хоронили мамин прах в папину могилу, мы взяли из стены Донского кладбища урну с прахом дедушки и бабушки. Потому что так хотела мама. Наверно, она боялась, что мы без нее не будем ездить к ним. А так будут все вместе. На Ваганьковском кладбище нам дали тележку, на которой мы везли обе урны. Мраморную, с прахом бабушки и дедушки, и керамическую, с маминим прахом. Близко к могиле тележка проехать не могла. И урны надо было нести в руках. И кто-то взял тяжелую мраморную урну сверху. Крышка открылась. И прах бабушки и дедушки просыпался на тележку. И я руками собирала его.

И чувствовала осколки косточек.

А потом, уже дома, мне стало казаться, что я схожу с ума. Я не могла ни есть, ни пить, ни спать. И все время чувствовала на руках осколки косточек. Врач выписал мне какие-то таблетки. Одну я приняла. И тогда стали летать поезда в метро. Больше я таблеток не пила, потому что с ними с ума сойти было совсем просто. С ума, благодаря генам, я, кажется, не сошла. От несправедливости по-прежнему плачу. А на похоронах нет.

Бабушка умерла 3 декабря 1959 года.

Через месяц у папы был первый инфаркт. Он еще был прописан на 101-м км. Но все-таки его положили в московскую больницу, в Измайлове. Так совпало, что в этот момент из Индии завезли черную оспу, больного с черной оспой положили в Боткинскую, но карантин ввели везде, во всех больницах Москвы. Поэтому там, где лежал папа, разрешали только передачи и письма, но не встречи. Письма сохранились. В них уже забытое время — продукты и газеты из-под прилавка или распределителя, революция на Кубе, отношение сестры к отцу — на «Вы», взаимоотношения родителей.

Пока папа лежал в больнице, и нас к нему из-за карантина по черной оспе не пускали, мы все писали ему письма. А потом, когда папу выписали, мама написала ходатайство.

Еще до больницы папе все знакомые советовали написать заявление о реабилитации и о восстановлении в партии, ведь он давал рекомендацию в партию матери Зои Космодемьянской, и вообще, по этому делу уже всех реабилитировали. А папа отвечал, что не писал заявление, чтобы его из партии исключили, и не писал заявление, чтобы у него отобрали военные ордена и медали, так почему он должен теперь писать какое-то заявление. В общем, было понятно, что он никогда ничего сам не напишет. Поэтому мама и написала это ходатайство.

«Прошу прописать на мою площадь, по месту его прежнего жительства, моего мужа, Осипова Михаила Георгиевича.

Осипов Михаил Георгиевич, 1910 года рождения, уроженец Донской области, станицы Ново-Николаевской, двадцати лет вступил в Коммунистическую партию в совхозе «Гигант» Сальской области. Последовательно был на комсомольской и партийной работе в г. Грозном. И затем, начав некогда селькором, стал журналистом, редактировал комсомольскую газету Азов-Черноморского края «Молодой Ленин» в Пятигорске, был автором ряда книг, был редактором журналов «Молодой колхозник» и «Смена» в Москве, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, выполнял ответственные задания, был инициатором и организатором многих важных и интересных мероприятий. С лета 1943 года пошел бойцом кавалерийской дивизии под командованием генерала Кириченко, участвовал в рейде по тылам врага, затем был отозван во фронтовую газету в качестве зав. отделом пропаганды и партийной жизни. Был автором вышедших на фронте книг. За участие в Великой Отечественной войне был награжден орденами и медалями. При реорганизации в 1946 году журнала «Огонек» был решением секретариата ЦК ВКП/б/ демобилизован и отозван в качестве заместителя гл. редактора журнала «Огонек».

В 1948 году в связи с имевшими место хищениями в журнале был арестован, три года находился под следствием в Москве, а затем 2 июля 1951 года был осужден закрытым заседанием Коллегии Верховного суда на 15 лет по Указу от 4 VI 47 г. Отбывал наказание на строительстве Волго-Дона, где печатался неоднократно в многотиражной лагерной газете, вел большую воспитательную работу в КВЧ, на строительстве шлюза. Указом Верховного Совета ему был снижен срок на три года. Затем за отличную работу на Куйбышевгидрострое он был первым же решением суда, которое проходило, условно досрочно освобожден 24 сентября 1954 года.

По возвращении он был постоянно прописан в г. Лопасне Чеховского района. Летом 1957 года, когда кончилось поражение в правах, он получил воинский билет и стал на учет, он приступил к работе над историческим романом.

В семье сложились крайне тяжелые обстоятельства. Я болела туберкулезом и была на лечении и на учете в диспансере, тяжело болела моя мать Мария Константиновна Млынек (паралич), болела дочь (экссудативный плеврит, в связи с которым она находилась полгода на лечении в клинике под Москвой, а затем находится на учете в диспансере). В связи с этим, а также в связи с частыми приступами стенокардии и гипертонической болезнью, муж вынужден был периодически находиться здесь, по месту моего жительства. Работа над романом тоже этого требовала.

Осенью минувшего года после тяжелого приступа болезни 3 декабря скончалась моя мать.

13 января слег с инфарктом миокарда муж. После двухнедельного пребывания дома, в тяжелом состоянии он был госпитализирован и теперь, едва оправившись, возвратился домой. Он нуждается практически в постоянном уходе, как понятно, после инфаркта.

По делу, по которому осужден муж, все товарищи, насколько я знаю, сняли судимость, некоторые восстановились в партии. Он не хлопотал и хлопотать не станет, даже о прописке, — это такой характер. Он запрещал это делать и мне. Беспредельно преданный Родине, живущий в буквальном смысле этого слова интересами народа, глубоко, до самой глубины сердца идейный человек, он донской казак — и тут уже ничего не сделаешь. Я смею обратиться к Вам только потому, что иного выхода не вижу».

По такому ходатайству папу, конечно, не реабилитировали, и в партии не восстановили, и ордена не вернули. Но то ли казенно-неформальный стиль письма подействовал, то ли время изменилось, и папу, наконец, 25 апреля 1960 года прописали дома, в нашей квартире на Герцена в Москве. А через четыре дня выдали новый бессрочный паспорт.

Ему еще не было 50 лет. Ему еще предстояло перенести три инсульта и четыре инфаркта. Ему оставалось жить менее 10 лет. Но тогда об этом никто не знал.



И все радовались свершившейся справедливости.

В нашей многолюдной квартире по давно заведенной и устоявшейся традиции ежемесячные коммунальные платежи за телефон, газ и электричество в местах общего пользования рассчитывала я. Это был сложный процесс. Потому что количество жильцов, квартирантов и заезжих на неделю-другую гостей регулярно менялось. И с этим, кроме меня, конечно, никто справиться не мог.

Но в этом месяце я ничего не успела посчитать. Потому что заболела. У меня распухла коленка. И я не могла ходить. А мама и папа, как назло, уехали в командировку. Как всегда, в Жигулевск, на Куйбышевскую ГЭС. Потому что мама писала очередную книгу про рабочего, который эту ГЭС строил. И мы с Любкой остались одни. Мне уже было 14 лет. И я уже была достаточно взрослой и ответственной, чтобы остаться дома на пару-тройку недель одна.

Но я не успела посчитать коммунальные платежи. И, естественно, ничего не заплатила. И телефон за неуплату отключили. Соседям было все равно. Они могли обойтись и без телефона. Но теперь мама не могла дозвониться домой и узнать, как у меня дела. И поэтому она ничего не знала о моей распухшей коленке.

Днем пришел врач-терапевт. Посмотрел на меня, на коленку. И решил вызвать хирурга. Все-таки коленка.

На следующий день пришел хирург. Посмотрел на коленку, на меня и посоветовал вызвать фтизиатра. Все-таки у меня была туберкулезная интоксикация. А туберкулез может быть и костным.

На следующий день пришел фтизиатр, ничего туберкулезного в моей коленке не нашел и посоветовал вызвать ревматолога. Переходный возраст, растущий организм.

На пятый день, когда и ревматолог ничего для себя интересного не нашел в моей коленке, собрался целый консилиум. Они коллективно попытались мне объяснить, что совершенно не представляют, что с моей коленкой происходит. А значит, меня необходимо срочно госпитализировать. Иначе они

за мою жизнь не отвечают. Прямо так мне и сказали. Больше им сказать это было некому. Мама и папа были в командировке в Жигулевске.

Но я уже была достаточно взрослой, чтобы принимать самостоятельные решения. И из своих 14 лет я в общей сложности пролежала в разных больницах больше года. И еще раз ложиться в больницу я не собиралась. Поэтому я предложила этому консилиуму оставить меня дома под мою ответственность. Я им даже расписку дала, что отказываюсь от госпитализации. Они взяли этот документ и ушли. И больше уже не приходили.

А телефон по-прежнему не работал. И мама никак не могла дозвониться домой. И пока ничего не знала про коленку, консилиум и расписку.

Но днем меня никакие мысли и сомнения не одолевали. Просто днем я ни минуты не бывала одна.

Иногда я просыпалась в час, иногда в два часа дня. В это время уже заканчивались уроки в школе. И кто-то из моих одноклассников приходил ко мне прямо после занятий, не заходя к себе домой.

Сначала рассказывали школьные новости. Потом кто-то шел гулять с Любкой, а кто-то отправлялся на кухню варить сгущенку.

Однажды, поставив на огонь банку сгущенки в кастрюле с водой, мы за разговорами про нее забыли. А никого из соседей на кухне не оказалось. Вода выкипела, и банка взорвалась. Темная липкая сладость была всюду — даже на потолке. Но это случилось только один раз. А в остальные дни все было хорошо. Сгущенка не взрывалась. И, дойдя на огне до нужной кондиции, оказывалась потрясающе вкусной и тягучей. И это лакомство, намазанное ложкой на белый хлеб, лучше всего, конечно, на корочку разломанной французской булки, моментально поглощалось нашей дружной компанией.

Потом кто-то уходил, но приходили другие. Смена караула. Вера никогда не приходила с первой группой. Она появлялась через минут сорок или час, и всегда с едой. Она при-

носила приготовленные ее мамой котлеты с отварной или жареной картошкой, или с макаронами. Во-первых, у нее, одной из немногих в нашем классе, мама не работала. Во-вторых, ее мама очень переживала, что меня оставили одну и что я заболела. Она вообще все принимала очень близко к сердцу. И Вера тоже. Но подходила Вера ко всему серьезно и ответственно. И поэтому, в отличие от других, которые прямо после школы шли ко мне, Вера сначала заходила домой, оставляла портфель, брала баночки, кастрюлечки и мисочки с едой, уже приготовленной ее мамой, и шла ко мне. Потому что больного человека, который остался один, надо сначала накормить, а уже потом рассказывать про школьные новости. Но Вера приходила всегда ненадолго. Потому что ей надо было еще идти в музыкальную школу или заниматься музыкой дома.

Потом приходили другие одноклассники, уже успевшие сделать дома уроки. И их отпускали погулять. А они шли ко мне. Одних сменяли другие. И опять кто-то шел гулять с Любкой. А вновь пришедший рассказывал новости дня, которые я уже хорошо знала. Но в новом исполнении они приобретали новые оттенки, обрастали деталями и неожиданными комментариями.

В другой жизни мы несколько лет так переключали новостные программы, чтобы узнать детали, почувствовать оттенки и примерить к своему пониманию происходящего тот или иной комментарий. Но это, к сожалению, продолжалось недолго. Что-то закрыли, что-то само развалилось. И теперь опять нет необходимости смотреть подряд несколько программ новостей. Все равно ничего нового кроме официально-парадной хроники не узнаешь.

До 12 ночи у меня всегда кто-то был. Но к 12 уходили последние. Те, кого за столь позднее возвращение домой не ругали родители. Но и им надо было завтра рано вставать, чтобы идти в школу.

За день у меня перебивал весь класс. Я всегда была общительна. И у нас всегда был народ в доме. И такой наплыв

моих одноклассников никого — ни меня, ни соседей-родственников — не смущал.

Несколько раз ненадолго заходила сестра. Она смотрела на меня сочувственным взглядом. Но что со мной делать и как мне помочь, она не очень представляла. А брат не мог приходить, потому что с ним мы познакомимся только через два года.

А телефон по-прежнему не работал. И мама ничего не знала о моей загадочной болезни.

Когда в первые дни приходил какой-нибудь врач, все одноклассники перебирались в другую комнату. Этот переход из одного пространства в другое осуществлялся торжественно тихо и одновременно торопливо, оставляя меня один на один с очередным эскулапом.

Сначала я не очень реагировала на высказывания врачей. Но с каждым новым врачом мне становилось все больше не по себе.

Весной этого года у нас в классе умерла девочка. Очень хорошая девочка. Ее звали Наташа. И училась она хорошо, и музыкой занималась, и председателем совета отряда была. Не потому, что учителя так решили, а потому, что ребята Наташу уважали, любили и сами хотели, чтобы она была председателем отряда. И учителя не возражали. А в конце зимы она, катаясь на лыжах, упала. И у нее болело колено. Но сразу на это не обратили внимания. А когда обратили, было уже поздно. У нее началась гангрена. И уже ничего было сделать нельзя. И она умерла.

И вот прошло полгода. И теперь меня избрали председателем совета отряда. И меня тоже звали Наташей. И теперь у меня болело колено. И врачи не знали, что это за болезнь.

И хотя я дала расписку и твердо решила в больницу не ложиться, ночью, когда все уходило и я оставалась одна, мне было страшно. Я поняла, что тоже умру. До этого такая мысль, кажется, никогда не приходила мне в голову. Нет, про смерть я, конечно, знала. Как и любой мой сверстник, я знала, сколько жизней унесла война. А год назад умерла бабушка. И весной умерла Наташа. Но я не видела их пос-

ле смерти. И никого не видела. Поэтому смерть была неким абстрактным понятием. Она не коснулась меня. И мысль, что я тоже умру, мне в голову не приходила. Как это я могу умереть? В этом счастливом состоянии я дожила до 14 лет, кажется ни разу до этого не испытыв страха смерти. А тут этот страх неожиданно появился. И притаился где-то в углу огромной комнаты.

Поэтому ночью я не спала. Я просто не могла заснуть от таких мыслей. И, чтобы ни о чем таком не думать, я читала. Пока не начинало светать. А поздней осенью, переходящей в зиму, светает поздно. С рассветом я засыпала. И беспокойно спала, скомкав все простыни. До часу. Или до двух часов дня. Пока прямо из школы не приходила первая группа моих одноклассников.

Первую ночь я нормально спала, когда приехала мама. Она все-таки узнала про болезнь, хотя телефон так и не работал. Но после трех дней невозможности дозвониться домой она стала звонить всем знакомым. И, все узнав, срочно вылетела в Москву. А папа с друзьями поехал в Москву на их машине. Но самолет, на котором мама летела, из-за непогоды посадили в каком-то другом городе. И мама добиралась до Москвы уже на перекладных. И приехала всего на пару часов раньше папы.

Мама достала из шкафа чистое белое крахмальное постельное белье. И от этого белья, которое мне почему-то не приходило в голову достать самой всю эту долгую неделю, и оттого, что приехала мама, мне вдруг стало хорошо и спокойно. И никаких страшных мыслей больше не было. И я тут же уснула.

А на следующий день, когда мама вместо сгущенки сварила куриный бульон и пригласила старенького врача, выяснилось, что у меня ничего страшного нет. Просто вода в коленной чашечке. Та редкая болезнь, о которой знали только в компании Джерома К. Джерома. Я, в отличие от них, не была в лодке, но тоже была с собакой. И, в отличие от троих, я была одна.

Но и это проходит. И мое пребывание в квартире одной, не считая собаки, с водой в коленной чашечке, закончилось. Благополучно. Если не считать уже испытанного страха смерти.

Больше половины своей насыщенной событиями восемнадцатилетней жизни я уже вспомнила. А Длинного все нет и нет. И проходной балл до сих пор неизвестен. И подруги не вернулись с дачи или с моря. Но, кажется, осталось уже недолго ждать и вспоминать.



моей комнате поселилось семейство из Владивостока. Нет, мы не сдавали им угол. Просто папа летом в Домжуре случайно встретил одностаничника, которого лет тридцать пять не видел. Папин знакомый в июне 1941 года случайно оказался в Москве, где его мобилизовали и отправили на Дальний Восток. И теперь, через двадцать лет, обещали после демобилизации дать квартиру в Москве. Он попросил папу «принюхать» его семейство, когда они осенью все приедут в Москву, на пару дней, пока они не снимут квартиру, так как свою им придется ждать, наверно, полгода. Семейство было не маленькое — папин приятель, его мать, жена и две дочери. Они и поселились в моей проходной за занавеской комнате, где после бабушкиной смерти я иногда, когда не приезжали гости, что было редкостью, оставалась одна. Теперь нас было шесть человек. Правда, их старшая дочь перевелась в московский вуз и вскоре переехала в общежитие. Она часто навещала родителей, но уже не ночевала.

А мы впятером ночевали. Под храп ежедневно выпивавшего водочки папиного приятеля и при свете ламп. Потому что квартиру они решили не снимать, а остаться у нас, и к нам прибыли контейнеры с их скарбом, которые стояли нераспакованные тоже в моей комнате, а вместе с контейнерами и скарбом они привезли клопов, извести которых при таком количестве людей и вещей было нереально. Чтобы отпугнуть ненавистных кровопивцев, мы не выключали свет, но кло-

пы к свету быстро привыкли. А другой борьбы с ними мы не знали. Так проходили ночи.

Но дни были еще безрадостнее. Папа с мамой отгородились в своей комнате, ночью работали, утром спали, днем уходили в издательство или к ним кто-нибудь приходил. А я оставалась в проходной комнате за занавеской в компании милого семейства. Папин приятель и его мать почти не выходили из дома. Его жена иногда ходила за продуктами. Их младшая дочка, моя ровесница, по утрам ходила в школу. Но днем они были все время в моей комнате и все время учили меня жить. А это было еще хуже, чем клопы.

А еще была проблема с едой. То, что готовила моя мама, папин приятель принципиально не ел. Хотя мама готовила очень вкусно. Он вообще ничего не употреблял, кроме борща, вареной колбасы, картошки и водки. Причем водку в его рюмку должна была наливать его жена. Однажды она заболела. У нее была высокая температура, и ей тяжело было встать с постели, чтобы налить мужу в рюмку водку. По крайней мере, моя мама считала, что ей незачем вставать и кто-то другой может налить водку в рюмку. Все прыгали вокруг разгневанного папиного приятеля, объявившего голодную забастовку, — и его мать, и дочка, и даже моя мама. Все готовы были наполнить ему рюмку из стоящей рядом бутылки. Но он хотел, чтобы его жена не отлынивала от своих обязанностей. И тогда она встала и налила ему водки, и он съел борщ, и вареную колбасу, и картошку. В результате моя мама после нескольких неудавшихся попыток на полгода готовку прекратила. Мы каждый день ели борщ, вареную колбасу и картошку. Для меня, как, наверно, для каждого Тельца — гурмана от природы, это была дополнительная мука, на долгие годы отвратившая меня и от борща, и от вареной колбасы.

Так, с клопами, советами и борщом, мы прожили полгода, пока семейство папиного приятеля не получило новую квартиру где-то в кунцевских новостройках. Приятель пригласил папу отметить это событие в Домжуре, где они почти год назад случайно, но так удачно встретились. Там после оче-

редной рюмки он произнес фразу, которая папе не понравилась. Поэтому ни папиного одностаничника, ни его мать, ни его жену, ни их дочек мы никогда больше не видели. А фраза звучала так: «Хороший ты, Миша, мужик, но зачем ты живешь с этой жидавкой?»

У мамы было много любимых фраз. Две из них хороши в сочетании, потому что первая стимулировала в начале, а вторая успокаивала в конце. И эти фразы звучат так: «Спешите делать добро» и «Всякая добродетель должна быть наказана».

Через призму этого полугодия легче понять, почему я в первом классе не могла не пойти со своей одноклассницей к учительнице. Я все-таки была истинной дочерью своих родителей.



тот год, когда из магазинов пропала кукуруза в початках, а в баночках еще не появилась, когда были стилиаги, и с ними всю боролись, когда на экраны вышел фильм «9 дней одного года», где в эпизоде снялась моя красивая сестра, я училась в 8 классе.

Наш замечательный, дружный 7 «В», из-за которого я решила остаться в этой школе, при переходе в восьмой разделили на «А» и «Б». Мы с Верой остались в старой школе ради своего класса и оказались в чужом. А к середине третьей четверти стало понятно, что с моими тройками, граничащими с двойками, ни в какую другую школу меня не возьмут, да и в этой можно остаться на второй год.

Я придумывала разные предлоги, чтобы не идти в школу и хоть немного поспать после очередной безумной клопиной, храпливой ночи. Мне не хотелось делать уроки в комнате, где постоянно находился папин знакомый, его мать, его жена и их младшая дочь, моя ровесница, и они все вместе давали мне ценные советы, как жить. Мне хотелось пойти на школьный вечер, но было не в чем, потому что кроме формы у меня не было ни одного платья. Правда, у меня, одной из немногих в классе, были брюки. Но в брюках девочек ни в

театр, ни на школьный вечер не пускали. Поэтому я даже на школьные вечера не ходила, тем более что после концертов были танцы, а я танцевать не умела.

В общем, на меня в одночасье обрушились все метанья, сомнения и комплексы переходного возраста. Да еще с чужим семейством в интерьере. Но царь Соломон был прав. И это прошло. И пришла весна. И наши непрошенные гости уехали в район кунцевских новостроек. И забрали свои контейнеры. И мама пригласила кого-то, кто вывел всех клопов. И я уже высыпалась. И мне стало нравиться делать уроки. Я уже примирилась с чужим классом, и он перестал быть чужим. И еще я влюбилась. Не в своего одноклассника, что бывало постоянно. А в сына папиного по «Огоньку» и по несчастью друга, который был совсем взрослый, учился в десятом классе и летом должен был поступать в институт.

Времена Паоло и Франчески прошли, но на целующихся голубей мне грех жаловаться. Все совпало — первая любовь, первые поцелуи, весна и воркование сизых голубей на широких карнизах наших больших «венецианских» окон. И конечно, Блок. И заданное на завтра сочинение на свободную тему. Я написала сочинение про целующихся голубей. На одной тетрадной странице. А потом учительница, которой это сочинение неожиданно понравилось, читала его вслух в нашем классе, и в параллельном классе, и в учительской. И даже советовала послать его на конкурс коротких рассказов в самую прогрессивную газету «Известия», где главным редактором был Аджубей. В газету «Известия», где работали папины и мамнины друзья, я ничего посылать не стала, но и без конкурса эти целующиеся голуби убили сразу нескольких зайцев. Благодаря этому незабвенному сочинению, из которого я не помню ни одной строки, я получила в четверти пятерки не только по литературе и русскому языку, но даже... по черчению. Потому что учительнице черчения, которой совсем не нравились мои чертежи, тоже понравилось сочинение про целующихся голубей. Все это уравнило тройки прошлой четверти и свело весь учебный год к твердым четверкам.



А хорошистам открыты двери в другие школы. Так я попала в самый главный для меня класс. К своему Учителю.

В 9 классе осуществилась и еще одна моя давняя мечта. Меня, наконец, приняли в комсомол.

комсомолом у меня были странные взаимоотношения. Я очень хотела вступить в эту организацию. Причем никаких карьерных соображений у меня в связи с этим не было и быть не могло. Чисто идейные. Родительское воспитание. И мама, и папа с ранней юности были комсомольскими вожаками, работали в молодежных изданиях, и познакомились они в ЦК комсомола. И свято следовали идеалам своей молодости. А я была истинной дочерью своих родителей. И по успеваемости (хорошистка), и по активности (председатель совета отряда и член совета дружины), и по возрасту (все-таки я была на год старше своих одноклассников) я должна была вступить в комсомол в 7 классе. Конечно, я сама поехала в райком за анкетами. И сама их раздавала. Раздачу слонов я никогда не начинала с себя, ни тогда, ни потом. Так получилось, что кто-то, до этого неучтенный и не просчитанный, тоже решил вступить в комсомол. И я отдала последнюю анкету. А больше мне в райкоме не дали. Видимо, лимит на школьников уже был исчерпан. Так что в 7 классе я в комсомол не попала.

А в 8 классе — я уже рассказывала про этот не лучший год моей жизни, чужой класс, семейство из Владивостока, катастрофическое падение успеваемости — в комсомол меня принимать никто, конечно, не собирался.

Приняли только в середине 9 класса. Все-таки это был мой класс. У меня так получалось — если везло, то во всем. Если не везло, то тоже во всем. В 9 классе началась полоса везения.

Я уже говорила, кажется, что желаемое я получаю, но иногда приходится очень долго ждать. Имя я ждала три месяца. Но получила то, которое хотела. Встречу с папой я ждала восемь лет. И мы встретились. А через полгода он вернулся домой. И теперь мы живем все вместе. Комсомолкой я мечтала стать еще до 7 класса. Мечта осуществилась через три года.

А дальше все оказалось совсем глупо. Через полгода новоиспеченная комсомолка ушла в школу рабочей молодежи. Но по состоянию здоровья — все-таки и экссудативный плеврит, и туберкулезная интоксикация, и даже вода в коленной чашечке — нигде не работала. А значит, нигде не состояла на учете. Взносы у меня еще принимали в моей старой общеобразовательной, а не вечерней школе. Но очень просили, даже настаивали, чтобы я скорее снялась с учета. И я обещала в сентябре этот вопрос решить.

Как ни парадоксально это звучит, но решение и этого вопроса тоже зависело от проходного балла.

И его должны были вот-вот объявить. Но еще не объявили.

так, мы с Верой оказались в том самом удивительном 9 классе, своим появлением взбаламутив всех.

Почти половина мальчиков тут же влюбилась в красавицу Веру. И не просто половина, а самые что ни на есть лидеры коллектива. И мы сразу оказались в центре внимания. Кажалось, что наш приход спровоцировал поголовную влюбленность. А может, просто пришло время. Вечеринки при погашенном свете, объятия под «16 тонн» или «Приезжай ко мне в Кунтукки» не нуждались в поводах, они были потребностью юных душ и юных тел.

От Манежа до Пушкинской площади было два (или три?) кафе-мороженого с модными космическими названиями. Напротив «Националя», Центрального телеграфа и театра Ермоловой (у кого какие ориентиры), кажется, в начале 60-х открылся «Космос» с мягким мороженым в удлинённых конических стаканах, с музыкой и вечной очередью у входа даже зимой.

Правда, это были не такие грандиозные очереди, как через тридцать лет в «Макдоналдс».

На другой стороне главной культовой улицы города, ближе к Пушкинской площади расположился «Полет», может быть, он назывался «Ракета». В первой половине дня здесь было совсем пусто.



Мои все помнящие сверстники пытаются восстановить историческую справедливость и напомнить мне, что это кафе-мороженое называлось тогда «Север». Но такого холодного, чужого, не вписывающегося в мое возвышенно-космическое повествование названия просто не может быть. Ну, помню я, что там был белый медведь. И северное сияние помню. Но это ничего не значит. Автор, в конце концов, волен и отступить от реальных фактов. На то это и художественное повествование. И это его, автора, жизнь. А в его жизни мог быть «Полет» или «Ракета», но никак не «Север». По крайней мере, в 9 классе. В тот момент даже намек на «Север» быть не могло.

В третьей четверти в среду в школьном расписании нашего 9-го класса пара третьего и четвертого урока оказалась свободной, зато пятый и шестой — была литература — главные уроки, по крайней мере для меня, в этом единственном опять же для меня классе.

В «Полете», который, может быть, был и «Ракетой», было удобно готовиться к очередному уроку, разложив на столике тетради. Порция мороженого, бокал шампанского и сигарета — даже утром, даже для школьников (мы были в форме) — почему-то не смущали официанток. Так окно в расписании становилось окном во взрослую жизнь, имело смысл экономить деньги на завтраках в другие дни недели ради этого «Полета».

Начиналась весна 1963 года.

8 марта мы пришли в класс. Тогда этот всенародный праздник еще не был выходным днем.

Потом, когда его объявили выходным, оказалось, что это восьмой дополнительный выходной, после 1 и 2 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября и 5 декабря. Поэтому его сразу окрестили праздником №8, может, по аналогии с палатой №6.

Но тогда, когда он еще не был выходным, мальчики нашего 9 класса решили устроить всем девочкам настоящий праздник. Начался он утром с фотографий. Большие, 20 на

30, портреты всех девочек были прищиплены кнопками к школьной доске. И каждая входящая девочка снимала свой портрет и на обороте находила подпись. Некоторые девочки читали обращенные к ним надписи вслух, некоторые про себя, при этом краснея и смущаясь. Хотя все надписи были добрые. А потом были еще цветы. А вечером у кого-то дома танцы. В полумраке. «16 тонн» и «Приезжай ко мне в Кунтукки». Но там был уже не весь класс, а только его часть. В основном те, у кого были романы.

Некоторые из этих романов оказались на всю жизнь, два переросли в семейные узы.



У меня от того дня осталась только фотография с трогательной надписью: «Наташке, умнице, поэтическому сердцу, нашей общей любимице. Мальчики. 8 марта 1963 года».

Чередная командировка родителей совпала с весенними каникулами, и я перебралась к сестре. Когда мы просыпались утром, а просыпались мы не очень рано, первым осознанным движением было нажатие кнопки магнитофона, который стоял на полу около постели. И десятиметровую комнату заполняло что-то пронзительное, непередаваемо прекрасное. Хриплая, затертая, с не всегда различимыми словами пленка, протянута между двумя бобинами, своим надтреснутым звучанием переворачивала все внутри. «Я много лет пиджак ношу, давно потерт он и не новый», «Все нас из дома гонят дела, дела, дела...», «Вы слышите, грохочут сапоги», «Всю ночь кричали петухи»...

Я, конечно, уже давно знала, чьи это песни. Прошлым летом, гуляя вечером с Любкой, я из открытого окна услышала песни Окуджавы, и минут десять ходила около того окна — такой притягательной силой обладал для меня его голос. И песни значили очень много. Их хотелось слушать и слушать, они были совершенны до последнего хрипа несовершенной техники, и их не хватало. А теперь у сестры я могла их слушать целыми днями.

В одно прекрасное утро у сестры возникло твердое решение вывести меня в свет. В ВТО.

Тогда про вступление во Всемирное торговое общество никто не писал и не говорил. Его еще и не было, наверно, вовсе. И для москвичей ВТО был легендарным рестораном легендарного дома на Пушкинской площади, пока пожар перестроечных годов его не уничтожил.

Вся первая половина дня ушла на подготовку к этому мероприятию. Меня надо было одеть. А вещи сестры для этого не подходили. Во-первых, их знал ее кавалер, а мы собирались в ВТО именно с ним, хотя он об этом еще не догадывался. Во-вторых, сестра была крупнее меня, и ее вещи на мне смотрелись странно, то есть было бы сразу заметно, что они с чужого плеча. Но подруги сестры, которым было взамен обещано что-то из ее гардероба, тут же обеспечили меня одеждой. С обувью было сложнее, самые близкие к моему размеру туфли оказались все равно на размер больше, и они были на шпильке. Такую обувь я никогда даже не примеряла. А тут мне предстояло провести в ней целый вечер. В носок напихали побольше ваты. И я часа два училась ходить по крохотному коридору между комнатой и кухней. Три шага туда и три шага обратно. С макияжем было проще всего. Я без малейшего сопротивления подставила лицо сестре, полностью доверившись ее рукам, ее умению и ее вкусу. В общем, к приезду кавалера я была готова покорять ВТО.

Это был не тот кавалер, которого я несколько лет назад видела у сестры на дне рождения. С тем — актером, да еще заслуженным, посещение ВТО было бы вполне естественным. Но теперешний кавалер не был ни актером, ни режиссером. Он не был даже критиком. Этот кавалер был потомственным врачом-гомеопатом, широко известным в московском высшем свете. И в ВТО он был своим. Может, даже более своим, чем некоторые актеры, режиссеры и даже критики.

Его роман с моей сестрой к тому времени продолжался почти три года. И сестра была по-прежнему влюблена в него. И он был влюблен в сестру. Но его отец был категорически против его брака с русской девушкой. Может, это был тот случай,

когда сестра была готова поменяться со мной мамами. Ведь в отличие от ее мамы моя была еврейкой. И тогда бы никаких препятствий к браку не было. Но мы об этом с сестрой никогда не говорили. А ее кавалер, несмотря на свои сорок с лишним лет, послушаться отца то ли не мог, то ли не хотел. И сестре это очень не нравилось.

Кавалер, конечно, знал о моем существовании, но мы никогда раньше не виделись. И чтобы не смущать его моим юным возрастом, сестра в машине представила меня своей приятельницей. Но он сразу же все понял и стал уговаривать нас не ехать в ресторан. Очень было смешное время, когда великовозрастные кавалеры стеснялись появляться даже в ресторане в обществе 16- или 17-летних девушек, то есть с несовершеннолетними.

Мы все-таки приехали в ВТО, сестра настояла на своем. И кавалер все время чувствовал себя не в своей тарелке. Он даже не стал ждать, пока мы разденемся в гардеробе, чтобы не привлечь лишнего внимания при входе в зал. Потом он все время пытался пригласить за наш столик кого-нибудь из своих друзей и знакомых. Они ненадолго подходили, но у каждого в тот раз была своя компания, и у нас они не задерживались.

От еды я отказалась. В ресторане с незнакомыми людьми я старалась не есть. Всем объяснять, что я левша, — глупо. Вилку и нож я явно не в той руке держу, в какой этикет предписывает. Конечно, мне казалось, что все только на меня и смотрят, и осуждают про себя мою невоспитанность. Поэтому я решила вообще в этот вечер не есть. Кавалер предложил заказать им с сестрой грамм 300 коньяка, а мне вина. Это меня очень обидело. Я никогда не пила коньяк, в доме такого напитка не было, потому что папа и его друзья пили водку. А женщины тоже могли выпить водочки, но чаще пили вино. Но здесь я понимала, что мне предлагают вино как малолетке, и этого я допустить никак не могла. Он заказал бутылку коньяка. К коньяку принесли лимон. А курить я уже почти год курила. Теперь я могла быть при деле и при этом не принимать участия в разговоре, так как говорить

нам с кавалером сестры было не о чем, он уже давно забыл, что может интересовать девятиклассниц. Я долго держала рюмку в руках, даже не догадываясь, что грею ее, и изредка отпивала из нее малюсенькими глотками. Потом сосала лимон, который я всегда любила и могла поглощать в неограниченных количествах без всякого сахара. Потом закуривала сигарету. А потом все начиналось сначала.

Вечером кавалер отвез нас с сестрой к ней домой, что его немножко расстроило, так как он надеялся, что сестра поедет к нему. Встретились они только через два дня. И он сказал сестре фразу, которую на следующий день она передала мне дословно. Фраза звучала так: «Мне, старому дураку, у этой соплушки надо учиться пить коньяк». Правда, вместо слова «дурак» он произнес другое, но смысл фразы от этого не менялся.

Так впервые выпитый от обиды коньяк оказался единственным на всю жизнь напитком. Видимо, чужое мнение имеет для меня огромное значение. Хотя вкус этого напитка мне уже в первый раз понравился.

Так проходили весенние каникулы, пока родители были в командировке. Я почти не появлялась дома. А брошенная на произвол судьбы Любка скулила от одиночества и мучилась от желания гулять. Ну не могла она ничего сделать в доме, не то воспитание у королевских испанских пуделей. Я бежала с ней гулять, быстро кормила ее и оставляла воду и еду на потом. И опять убегала к сестре, к новой, пугающе завораживающей взрослой жизни. И к грустным, хриплым песням. Но Любка мне это прощала. Собаки преданнее людей. Они умеют прощать даже предательство. По крайней мере, Любка умела. А других собак у меня никогда не было.

Весна еще не наступила. Еще лежал грязный снег. И только самые теплостойкие позволяли себе ходить не в зимних пальто. Но в воздухе уже было что-то будоражащее. В юности особенно остро ощущаешь приближение нового. И доверчиво настроен на весну, любовь, счастье. И уверен, что все возможно и все впереди. Но в тот день на уроке моей единственной любимой

учительницы у меня вдруг возникло совсем другое ощущение или, скорее, понимание — *этого* никогда больше не будет.

Нам не разрешалось читать никаких учебников, только произведение и критику. Мы читали, обсуждали, спорили, устраивали суды. Темой того урока, того обсуждения был бал Наташи Ростовой. И я себя чувствовала Наташей Ростовою, у которой никогда больше не будет такого бала. И мне было безумно жалко себя (или ее?). И было ужасно обидно, что другие этого не понимают, не чувствуют, не знают. И я, взхлеб рыдая, выскочила из класса. Мне хотелось убежать, улететь далеко-далеко. Я неслась по тихому коридору, по пустой лестнице, мимо раздевалки, во двор, на улицу. Редкие дневные прохожие с удивлением смотрели вслед девушке в школьной форме, бегущей куда-то без пальто. И я это чувствовала, но это меня не останавливало и не удивляло. Потому что и прохожие не знали, что больше никогда не будет сегодняшнего дня. Я бежала по Большой Бронной. Не в сторону дома, что было привычно и естественно. Меня несло в другую, прямо противоположную сторону. И когда в конце улицы передо мной открылась площадь, я вдруг остановилась. На той стороне площади на постаменте стоял совсем не бронзовый, а задумчивый Пушкин. И я поняла, что он тоже знает, что такого бала у Наташи Ростовою больше не будет. И ком уже больше не подступал к горлу. Стало легко и зябко. Потому что весна еще не наступила. И редкие дневные прохожие были еще одеты в зимние пальто.

Так в моей жизни появились стихи и песни, так возникли чувства — и чувство страха, и чувство долга. Так я узнавала вкус хлеба и коньяка, вкус дружбы и предательства. Так постепенно, шаг за шагом, я постигала жизнь. Я по-прежнему верила в судьбу и, преклоняясь перед литературой, примеряла на себя всех героев по очереди. Я готова была полюбить весь мир. И полюбила Длинного.

вечернюю школу Вера со мной не пошла. Она была на 1 год и 15 дней младше меня. И ей одиннадцатилетка не грозила окончанием школы в 19 лет. Зато ей надо было еще окончить

музыкальную школу по классу виолончели. И поэтому сейчас у нее были каникулы. И она была далеко. На море. Если бы она была на даче, я бы обязательно до нее доехала. Ведь у меня произошло столько событий, о которых мне необходимо было ей рассказать. Но она еще не вернулась с моря.

Зато пришло время возвращаться в тот август, где мы оставили все как есть. Видимо, когда я сдала все экзамены, а Длинный еще не вернулся, ангел-хранитель решил на пару дней уйти в отгулы. Конечно, за эти месяцы он сильно устал.

Тут-то и появилась подруга япониста, у которой закончилась практика. И заставила меня вспомнить и пережить то удивительное стихотворение Пастернака, которое называется «Марбург», целиком. Она решила открыть мне глаза и поведала «истинную причину» нашего с Длинным знакомства. Конечно, Длинный был в нее влюблен. И у них был роман. Но друг-японист все время был рядом. И чтобы видаться с ней, Длинный сделал вид, что ухаживает за мной. И даже поспорил с кем-то на две бутылки коньяка, что очень быстро добьется моего расположения. И даже переспит со мной. Но она, как истинная подруга, решила меня предупредить, на всякий случай.

Наверно, ей было скучно, потому что еще не вернулись с практики ее друг-японист и мой брат не японист.

Но мне стало совсем плохо.

Мало того, что я не добрала один балл на дневное отделение, и с зачислением на вечернее отделение тоже не было никакой ясности, и надо было срочно устраиваться хоть на какую-нибудь работу, потому что без справки с работы на вечернее отделение точно не зачислят.

Так еще теперь я непрерывно придумывала, что и как я скажу Длинному. Или вообще не скажу ему ничего. И даже не встречусь с ним. Я вообще не хочу его видеть. Никогда. Моего расположения он действительно добился очень быстро. И даже переспал со мной, правда, подруга япониста, как и все остальные, об этом ничего не знала. Но это не имело значения. Свои две бутылки коньяка он заслужил. Он их чест-

но выиграл. Я могу это подтвердить. Но разве говорят своим родителям о скорой свадьбе, если спорят на две бутылки коньяка? А потом пишут такое письмо, которое я знаю наизусть и твержу как молитву. Что-то в этом построении не сходилось. Но легче мне не становилось. Потому что Длинный был далеко, на каком-то Патоке. И от него не было никаких вестей.



потом пришла телеграмма. И я поехала на Ярославский вокзал, хотя поезд приходил очень-очень рано. А я сова и не люблю рано вставать. Но последние дни мне было вообще не до сна. Из-за того, что поезд приехал так рано, эту обросшую, бородатую, совершенно исхудавшую компанию, от которой остался только средний рост 183 см, почти никто встречать не приехал. И вообще, этот поезд встречали немногие. И на предрассветном перроне мой пижонский вид был особенно заметен. И друзья смотрели на Длинного с завистью. Дед хотел бы видеть на моем месте Татьяну, Коля — Галю, Женья — Валю. Но их не было. Была только я. И Длинный был горд и счастлив.

Из этого состояния эйфории я его вывела, как только мы, договорившись о встрече в полдень у Кольки дома, оторвались от всех. Мы не успели еще дойти до такси, а я уже изобразила в лицах всю историю с романом, спором и коньяком. А потом я посмотрела на Длинного и поняла, что ни романа, ни спора, ни коньяка — ничего этого не было в помине. И мне опять стало хорошо и легко. Потому что все счастливо и быстро решилось. Меня уже зачислили на вечернее отделение, и завтра я первый раз должна пойти на работу, и Длинный, наконец, приехал, и все сомнения растаяли.



12 часов у Кольки дома был полный сбор. Все были отмытые, побритые и совершенно цивилизные. И каждый со своей девушкой.

Единственный вопрос, который обсуждался, — где вся компания сегодня вечером будет отмечать успешное окончание сложнейшего похода. Вариантов было немного. Квартирные

условия Кольки и Жени такой возможности не давали. Татьяна без Деда начала ремонт, готовясь к предстоящей свадьбе. И все недвусмысленно посматривали на Длинного. «Длинный, а у тебя дома?» — «Нет, у меня дома нельзя, там отец». — «А на даче?» — «Ну, там мать и бабушка из Куйбышева приехала». Повисло понурое молчание, которое я тут же прервала деловым предложением отметить их приезд у меня, где, конечно, были родители, но меня это не смущало. Все облегченно вздохнули. И я побежала вниз, в автомат, звонить домой, чтобы все-таки предупредить родителей, что сегодня к нам нагрянет еще дюжина гостей, не считая нас с Длинным. На лестнице меня остановил Длинный. Оказалось, что и его отец, и мать, и бабушка, приехавшая из Куйбышева, — все на даче. Но он никого не хотел звать к себе домой по одной простой причине — он хотел быть только со мной, он слишком давно со мной не был, и ему никто, кроме меня, не нужен. Кажется, я все испортила. Но я уже обещала его друзьям, и я видела, как они облегченно вздохнули. Я не вернулась с полпути со словами, что ко мне нельзя, что к нам неожиданно приехали гости, что маме надо завтра срочно сдавать в редакцию работу, и по всему по этому ко мне домой сегодня нельзя. Я устремилась к телефону-автомату и просто поставила родителей перед фактом, что сегодня к нам придет дюжина гостей.

За праздничным столом нас было человек двадцать. Никого не смущало наличие дома моих родителей и случайно зашедших на огонек их знакомых. Походники почти не пили, зато не могли оторваться от еды, о которой они грезили последние две недели, когда все, с такой тщательностью рассчитанные запасы, неожиданно закончились. В результате они опьянели и осоловели от еды раньше, чем к ним пришло чувство сытости.

Поглощение пищи временами прерывалось подведением итогов таежной эпопеи. Длинный, который весь поход ощущал себя летописцем, пустил по кругу записную книжку. И каждый записывал по одной фразе, а следующий продолжал тему. Короткие реплики в процессе насыщения становились пространнее.

«Вообще, этот поход — немножко не то, чего я ждал. Я тоже рассчитывал отдохнуть, половить рыбку, поохотиться, а пришлось повкалывать.

Да, поишачить пришлось.

Может, поэтому и получилось так хорошо.

Было и хорошо, и интересно, и трудно, все было.

Досталось и с маршрутом, и с погодой, и с продуктами.

Когда брали жратву, то кричали, что много берем, когда готовили, кричали — сыпь больше.

В Москве мы еще недостаточно представляли себе свой аппетит после дня ходьбы с рюкзаком по тайге и горам.

Не рассчитали с продуктами, потому что не знали оптимальных норм засыпки.

Вообще, к таким вещам надо относиться серьезнее.

Не все было, как задумывалось, но без этого тоже нельзя.

Зато много посмотрели и себя показали.

В этом что-то есть. Не совсем определенное, но существенное. В общем-то, въелась такая жизнь очень крепко. Наш третий август был самым хорошим из всех. Все было здорово. Прекрасное место Урал.

Хочется быстрого сплава.

Да, в нижнем течении Патока скучный сплав.

Были, конечно, отдельные организационные недочеты, но они в основном были связаны с недостаточно ясным представлением о степени трудности похода. В основном все это были мелочи. Единственно, что бы действительно не помешало, так это организованная система дежурства. Из-за ее отсутствия, особенно в первой части похода, получалось так, что очень весомые доли трудовой повинности ложились на Черныха, который всегда, образно выражаясь, выступал как буддийский монах, готовый к самосожжению. И, по-моему, снова достиг 99-процентного уровня «положительности».

Зато очень удачно была применена система наличия отсутствия руководства.

Что мне понравилось? Дружная шобла хороших ребят; Север; хороший маршрут; здоровая жизнь. Не понравилось? Излишнее увлечение голодными нормами, которых мы не

соблюди; жалкие попытки раскольнической деятельности, пресеченные в корне на станции Печера Северной железной дороги.

Всякие легкие базлы были скорее для выяснения истины и, в основном, чтобы не разучиться работать языком.

Жаль, что не было спирта.

Вынес я из похода две мечты: первая — иметь абсолютно непромокаемый костюм; вторая — опустить ноги в горячую ванну.

На будущий год хотелось бы завалиться на юг, желательно с байдарками.

Да, хочется пожариться на солнышке, покупаться.

На следующий год у меня не будет времени; пусть «Ротшильд не рассчитывает на меня» и в последующий за ним год; но все же я сходил бы в любое место европейского юга, кроме Крыма и Кавказа, в августе — сентябре — июле. С этой шоблой я бы пошел в любое место, как только будет возможность.

Хорошо пойти в другой раз куда-нибудь в тепло. Ну, вопрос пойти или нет вообще не стоит.

Я теперь смогу пойти куда-нибудь только через лето. Поэтому воспоминания о приполярном Урале будут растянуты на два года, а они очень ярки. Ведь поход в целом удался. Выжили.

А у меня в перспективе пока три месяца на целине «по зову партии и по велению сердца».

Ну, что же, даешь казахские степи, и еще раз выполним лозунг: «Выжить во что бы то ни стало!»

Проблема выживания интересовала меня более всего. Когда увидел, что за окном плывут столбы, — понял, проблема решена положительно (более нуля). Самое яркое впечатление (оно же самое тусклое) — от снега. Самое радостное воспоминание будет о раздачах слонов, даже скудных. Самые грустные воспоминания — о собственной беспомощности и хилости. Какое пожелание? Хорошо бы... Все «хорошо бы». Если я не занят — я к вашим услугам.

Очень хочется, чтобы этот поход понравился бы всем так же, как мне. Тогда я буду считать, что все в порядке.

А ребята у нас отличные, правда?»

А потом Длинный спрятал записную книжку, а Колька достал гитару, и все запели:

*Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу.
На это место уж нету карты, плыву вперед по абрису.
А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою.
Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою!
К большой реке я наутро выйду, а утром лето кончится.
И подавать я не должен виду, что умирать не хочется!*

*Товарищ, на север легла нам дорога,
Товарищ, забудем про юг!
Я знаю, о чем ты грустишь понемногу
Вдали от московских подруг.
Я знаю, ты скажешь, усталость виною,
Что грустными стали глаза,
Но будь откровенным хотя бы со мною —
Тебя потянуло назад.
Маршрут наш нелегкий окончится скоро,
И поезд помчит нас домой.
И вот уже старый приветливый город
Встает за окошком стеной.
И снова вокзалы. Забыты тревоги.
И кто-то нас будет встречать.
Но горы Урала, Вангыра пороги
Не раз будем мы вспоминать!*

*Давно ли в путь друзей ты провожал, теперь настала очередь твоя,
Собрав в рюкзак остатки багажа, уехать снова в дальние края.
Подруга вслед рукой тебе махнет, попросит друг не забывать его,
И также по делам своим пойдет, как будто не случилось ничего!*

*А жизнь на Патоке совсем не патока,
И не крахмально-патошный завод.
Здесь нету девочек, и нету водочки.*

*Живет таежный замкнутый народ.
Здесь ночи белые, а тучи черные.
Три раза в сутки объявляется аврал.
Тут руки сильные и мысли четкие.
Здесь приполярный северный Урал.
Сюда конвертики и телеграммочки
Один раз в месяц привозит караван.
Здесь нету папочки, и нету мамочки.
Есть зверский холод и сырой туман.*

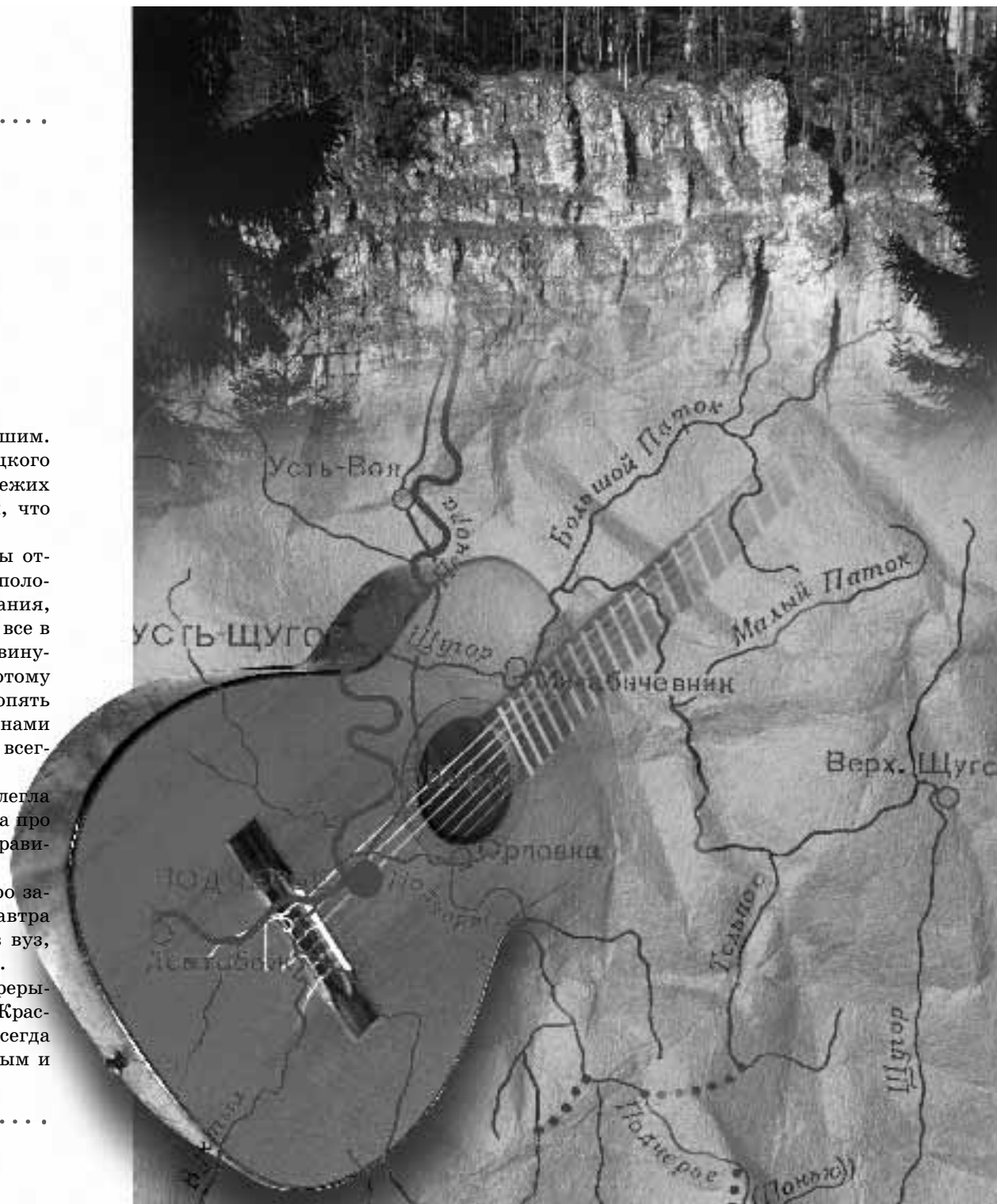
Качество некоторых стихов, может быть, и было не лучшим. И их охрипшим голосам далеко было до хора Пятницкого или ансамбля Александрова. Но столько еще совсем свежих собственных впечатлений было вложено в эти песни, что критиковать их никто не посмел.

Потом всей компанией, прихватив с собой гитару, мы отправились гулять с Любкой. Но далеко не ушли. А расположились в скверике у серого, совершенно секретного здания, на котором не было никакой вывески, но про которое все в округе знали, что это подстанция метро. Мальчишки сдвинули две, надо сказать, не легкие чугунные скамейки. Потому что всем еще хотелось быть поближе друг к другу. Мы опять пели про Паток, и про Солнышко лесное, и еще «Кто с нами был, мы того не забудем, кто с нами был, будет с нами всегда», что звучало почти как гимн.

А Любка, немножко побегав по скверу по нужде, легла перед двумя сдвинутыми скамейками. И тоже слушала про Паток и про Солнышко. Кажется, ей компания понравилась.

А потом кто-то посмотрел на часы и сказал, что скоро закрывается метро и что завтра рано вставать, ведь завтра понедельник, и кому-то рано на работу, а кому-то в вуз, за расписанием и новостями. И что лето закончилось.

А может быть, никто не смотрел на часы, а просто в перерыве между песнями все услышали бой курантов. Ведь и Красная площадь, и Кремль были совсем рядом, и у нас всегда был слышен бой кремлевских часов, и особенно чистым и



ясным он был в ночной тишине, когда Москва засыпала. А уже наступила последняя августовская ночь. И все глянули на небо — не упала ли звезда, — чтобы загадать желание — о новом завтрашнем дне или о следующем новом походе. Но звезды не падали. И тогда все засобирались по домам.

И мы тоже пошли домой. Сначала на пятый этаж, чтобы отвести Любку, а потом на двадцатый. Потому что и отец Длинного, и его мать, и бабушка, приехавшая из Куйбышева, были на даче. А он так давно со мной не был. И с раннего утра, с того момента, как увидел меня на перроне, только об этом и мечтал. И, кажется, предыдущие 30 дней тоже.

омой я вернулась в 6 утра.

И наконец впервые за последнюю неделю крепко заснула. Забыв не только про споры и коньяки, но даже про то, что через два часа начинался первый рабочий день моей первой работы.

Но мама об этом не забыла. И в 7 утра она стала будить меня, говоря, что если я сейчас же не встану, то меня уволят. Я сквозь сон легко на это согласилась: «Пусть уволят». Тогда вместо угроз в ход пошла холодная вода. Меня подняли. Я даже дошла до работы. Но, кажется, так и не проснулась. По крайней мере, так мне казалось до полудня.

В этот первый день на работе делать было абсолютно нечего, так как начальство еще две недели должно было быть в отпуске. И три моих новых сослуживицы, немногим старше меня по возрасту, но в отличие от меня уже сотрудники со стажем, так как работали в этой конторе целых два и даже три года, не стали тратить время на то, чтобы объяснить мне мои служебные обязанности. Четыре часа мы вспоминали только что закончившееся лето и этими воспоминаниями обменивались. В отличие от меня, три моих новых сослуживицы были отдохнувшими и загорелыми, но во всем остальном их впечатления от прожитых месяцев не шли ни в какое сравнение с моими. Ни событийно, ни эмоциональ-

но. То есть ни по количеству, ни по качеству этих событий и эмоций.

овно в 12 часов открылась дверь, и в ее проеме возник Длинный. Конечно, я успела вчера ему рассказать, где я с сегодняшнего дня работаю. Но Длинный, верный своей тактике, сделал вид, что пропустил эту информацию мимо ушей. Он не стал спрашивать ни адреса, ни телефона. И вообще никак не отреагировал. И вдруг совершенно неожиданно появился. Здесь мы с ним оказались схожи. Мы оба любили театральные эффекты. Я окончательно проснулась. И бесконечно длинное, бессмысленное и бессодержательное первое рабочее утро сразу наполнилось и смыслом, и содержанием. Он пришел за мной, чтобы пообедать в «Национале». Как-никак, первый в жизни обеденный перерыв нужно было отметить.

Вчера я не могла не пригласить друзей Длинного к себе домой. Сегодня с такой же легкостью я пригласила только что возникших в моей жизни сослуживиц пообедать с нами в «Национале».

Второй день подряд принц, вернувшийся из дальних походов, хотел побыть наедине со своей принцессой. А не менее соскучившаяся принцесса, почему-то воспитанная на фантастическом чувстве коллективизма, царственно предлагала принцу окружение то из дюжины придворных, то из трех фрейлин. И принц вынужден был соглашаться, чтобы, если и не наедине, все-таки побыть рядом со своей принцессой. Интересно, интересно, такое в какой-нибудь сказке было?

Это стало хорошей традицией. Каждый день в 12 часов, можно было часы проверять, открывалась дверь, в ее проеме возникал Длинный, и мы впятером шли обедать в «Националь». Сослуживицы иногда заказывали эскалоп, иногда шашлык, иногда котлету по-киевски. Я всегда заказывала яичницу-глазунью, только просила посильней ее зажарить. Потому что я вообще-то яичницу, особенно дрожащую гла-

зунью, совсем не любила, но это было самое дешевое блюдо в меню «Националя». Мне неважно было, сколько Длинный ежедневно тратил на моих сослуживиц, но вводить его в дополнительный расход на меня я не могла.

Слава Богу, это продолжалось только 1 месяц и 5 дней. А потом я уволилась. Потому что мне больше не нужна была справка с работы. Молодая жена может учиться на вечернем отделении и нигде не работать. Потому что она — жена.

Так закончилось это бурное и памятное во всех отношениях лето.

ы пошли подавать документы во Дворец бракосочетания, твердо определив дату нашей будущей свадьбы.

Я давно, можно сказать, с детства знала, что ничего нельзя загадывать заранее. Но в данном конкретном случае выбор даты был абсолютно естественен и обсуждению не подлежал. Конечно, это должно быть 14 октября, день свадьбы родителей Длинного, Покров день, всегда, в отличие от Пасхи и Троицы, приходившийся на одно и то же число и поэтому не всегда на воскресенье.

сли бы это была выдуманная история, то дальше сразу должен был бы следовать эпилог: «Они познакомились на Пасху, он сделал ей предложение на Троицу, поженились они на Покров, в годовщину свадьбы его родителей. Они прожили долго и счастливо и умерли в один день». Но помните, что говорил Кола Брюньон: «Когда ваяла жизнь, я подчас плошаю. Она лукавее нас, и ее выдумки почище наших». По тому, что и как произошло дальше, можно предположить, что эту историю так удачно закручивала и ваяла все-таки жизнь. Хотя можно, конечно, и не соглашаться с Кола Брюньоном. Тоже мне доморощенный авторитет.

Так или иначе, но пожениться на Покров день, в годовщину свадьбы родителей Длинного, нам не удалось.

В этот день в Грибоедовском Дворце торжественно регистрировали только младенцев.

Убоявшись 13-го, перенесли на 15-е. Про чертову дюжину я вспомнила, а про юбилейный день рождения Лермонтова — нет. А еще филолог.

ля меня долгое время не существовало никаких полутонов. Никаких оттенков. Только белое и черное. Или — или. Я дважды была на Кавказе, но мне там не нравилось. И потом оба раза я целый год болела. А в Крыму меня все устраивало.

Крым я любила. И очень болезненно отнеслась к его потере, как к чему-то сугубо личному. Мой предок еще в Суворовскую войну воевал в Крыму. А папа освобождал Крым в Великую Отечественную. Папа и Прагу освобождал. Но к Праге у меня никаких особых чувств не было. А Крым — жалко. Хрущеву я лично не могла простить три вещи — пропавшую в Консервном магазине кукурузу в початках, день его снятия и то, что он отдал в подарок Крым. Может, Кавказ и важнее стратегически для государства. Но мне Крым дороже.

Все говорили — Евтушенко, а я кричала — Вознесенский. Все таяли от отсутствующего в школьной программе Есенина, а я обижалась за Маяковского. Тютчев — Некрасов. Пушкин — Лермонтов. Дальше в глубь веков и сравнений мы в своем школярском знании не шли.

В 8 классе у нас была учительница, в равной степени уставшая и от Пушкина, и от Лермонтова, и от нас. А может, Пушкин всем открылся раньше, чем мне. Школьный Пушкин был прилизан, а Лермонтов, даже по нашим учебникам, а уж тем более по нашим представлениям, был романтиком и бунтарем. Я выбрала Лермонтова.

Его юбилей мистически совпадал с российскими катаклизмами. В год столетия со дня его рождения началась Первая мировая война, столетия со дня смерти — Великая Отечественная. Заметьте, не Вторая мировая, в которой Россия (или СССР) на участвовала, а Отечественная. 150-летние годовщины знаменовались новым отсчетом в истории стра-

ны — 1964, 1991. Правда, про 1991 мы тогда еще не знали, но можно было догадаться. Да и сами годы жизни завораживали мистической предопределенностью 14-41.

Потом такие номера — перевертыши любили ставить на свои машины некоторые не самые крутые новые русские. Самые крутые хотели только три семерки и сразу. Очко. Выигрыш. Всегда. При себе.

В год собственного перевертыша — 46-64 — я, выбирая день свадьбы, ненароком попала на день рождения Лермонтова — 15 октября, первый день после закончившейся оттепели.



то-то во времена нашей замечательной юности подавал документы в загс только для того, чтобы попасть в магазин для новобрачных. Там продавалось много дефицитных товаров, почти как в «Березке». Чтобы пресечь это безобразие, был разработан специальный бланк приглашения со штампом и печатью отдельно жениху, отдельно невесте, каждый с индивидуальным шестизначным номером, где фиксировались особо ценные покупки. Чтоб невеста, не дай бог, не купила два кольца.

«Уважаемая невеста _____ (фамилию и инициалы вписывали от руки).

День Вашего бракосочетания назначен на (дата и время — тоже от руки) 15 октября 1964 г. в 11 час. На регистрацию Вашего брака приглашайте родных и друзей. Регистрация состоится по адресу: Москва, ул. Грибоедова, 10, Дворец бракосочетания.

Приглашаем Вас посетить салон для новобрачных: Проспект Мира, 49. Проезд: Метро до ст. «Ботанический сад». Троллейбусы 48, 9, 42. Автобусы 19, 81, 85, 98. Трамвай 25. Телефон для справок И-4-39-03. Салон работает без выходных дней с 9.00 до 20.00 по воскресным дням с 9.00 до 18.00. Без перерыва на обед».

И все это великолепие венчал штамп не какого-то районного загса, а Дворца бракосочетаний отдела ЗАГС Исполкома Моссовета.

Мы, конечно, тоже приобрели нечто дефицитное в салоне для новобрачных, в другом месте обручальное кольцо купить было невозможно. Но главным для нас было событие, действие.

И мы к нему тщательно готовились. Обдумывали. Взвешивали. Выбирали. Гостей, родственников и знакомых тасовали родители.

И брат, и сестра были против моего замужества. Им, правда по разным причинам, Длинный не очень нравился. Моей красивой сестре вообще редко нравились мужчины младше 40 лет. А мой умный брат так недавно со мной познакомился, что не хотел сразу меня потерять. Понятно же, что я в его компании буду теперь значительно реже, чем раньше, да еще, конечно, с Длинным в придачу. Но это были, пожалуй, единственные родственники, которым Длинный не нравился. Но их отношение к нашей свадьбе на приглашении никак не отразилось. Близких родственников надо звать всех. Естественно, несмотря на свое отношение, и сестра, и брат на нашей свадьбе были.

С нашими друзьями не все было так однозначно и понятно. Всю походную компанию мы позвать не могли — место не позволяло. Татьяну и Деда — обязательно. Валю и Женю — может быть, но не обязательно. А больше, кроме Кольки, из походников никого. Хотя Коля и Галя уже объявили о своей помолвке, и их свадьба должна была быть вскоре после нашей, и они уже официально пригласили нас обоих на свою свадьбу, но здесь мы очень быстро достигли соглашения — Колю мы, конечно, позовем, но Гали на нашей свадьбе не будет. Я не могла забыть ее взгляд, когда мы с Длинным первый раз поцеловались — в ее комнате, на ее кровати. Подругу япониста, несмотря на слишком дружеское ее отношение ко мне, великодушно простили и пригласили.

Сложнее было со свидетелями. Конечно, претендентом № 1 в свидетели Длинного был его школьный друг, японист, который нас познакомил. Но, по странному стечению обстоятельств, его в момент свадьбы в Москве не было. Он был в командировке. Еще не в Японии, но уже с японцами. Такая

редкая по тем годам переводческая практика ему была очень важна, и он не мог от нее отказаться даже ради нашей свадьбы. А может быть, он подсознательно избегал ответственности за все последствия нашего знакомства, — тщательно продуманной и спланированной им акции.

В этой ситуации ничего не оставалось, как пригласить на роль свидетеля Деда. А я из трех моих самых близких подруг выбрала не самую близкую, но зато и не самую красивую. Красивая Вера, которая была моей самой близкой подругой, на меня, естественно, обиделась. Правда, не надолго. И это не испортило нашей дружбы. И, конечно, она была и во Дворце на бракосочетании, и дома, на свадьбе.

А потом оказалось, случайный выбор свидетелей — тоже не случаен. Но эту историю еще рано рассказывать, до нее еще надо дожить.



о бракосочетания в грибоедовском Дворце, которое было назначено на 11 утра, оставалось менее часа. Все гости, которые собирались ехать во Дворец, собрались в нашей квартире.

Родители Длинного во Дворец ехать не собирались, говорили, что это плохая примета. Они ждали нас у себя дома, в высотке. Там, на расставленных буквой «П» столах, собранных по соседям, уже был накрыт свадебный стол. И четко определены места, где кто сидит. Больше всего дискуссий было по количеству гостей. Мама, конечно, хотела пригласить всех наших друзей, знакомых и родственников. Но родители Длинного считали, что количество приглашенных с обеих сторон должно быть одинаковым, раз затраты одинаковые. Но и здесь в конечном итоге пришли к соглашению. А после застолья, вечером мы улетали в трехдневное свадебное путешествие — в Эстонию. И с этим тоже все согласились.

Все уже надели пальто или плащи, октябрьское межсезонье это позволяло. Длинный был в модном плаще болонья, а я в новом, только что сшитом зимнем пальто, отороченном каракульчей — остатки роскоши бабушкиной пубы. Все уже



взяли цветы. Все уже стояли в коридоре, и кто-то уже выходил на лестницу. И тут раздался телефонный звонок. Звонили из редакции. Новость была сногшибательной. Совсем не свадебный подарок. Сняли Хрущева.

На улице толпа — человек десять-двенадцать — производила странное впечатление. Утро буднего дня, но все празднично одеты. Все с цветами, но все понурые. По лицам можно было подумать, что все собрались на похороны, но яркость одежды и цветов это предположение отметала. Надо было срочно что-то делать. И я взяла инициативу в свои руки.

Организаторские способности у меня, наверно, от бабушки. И я всегда любила руководить процессом. Нет, мании величия у меня нет. На всех, начиная с детсадовских, групповых фотографиях я всегда крайняя слева, хотя и в первом ряду. В центр группового снимка при всей общительности меня никогда не тянуло. Вот в центр внимания — другое дело. Один начальник мне как-то сказал, что я должна быть невестой на свадьбе или покойником на похоронах. И не иначе. Но это все-таки не мания величия.

Это был тот самый случай, когда я действительно была невестой на свадьбе. И я ринулась спасать ситуацию.

Сначала я поймала такси всем гостям, включая свидетелей. А потом в последнюю пойманную машину, в нарушение всех правил и традиций, села вдвоем с женихом. Во-первых, мне хотелось с ним не расставаться, во-вторых, покурить спокойно, без осуждающих взглядов и слов.

В комнате для невест я тоже решила навести порядок. То, что все невесты были старше меня, восемнадцатилетней, меня не смутило. Я придирчиво проверила все букеты и безжалостно удалила из них красные и желтые цветы. Надо сказать, что никто не возражал. Более того, это произвело впечатление, и мне стали задавать вопросы, как идти, под руку или нет, с какой стороны от жениха, как нести букет, и еще что-то, такое же важное. Например, какой фамилией надо расписываться в книге регистраций — старой, девицкой, или новой. Я была уверена, что новой. Я почти месяц

разучивала новую роспись, и у меня это уже хорошо получалось. В общем, я с апломбом отвечала на все вопросы.

За свадебным обедом, когда понурые гости больше были обеспокоены происходящим в стране, чем за столом, ведь к власти пришел триумвират, и среди тостов звучал хит того дня: «Долгих лет коллективного руководства», я опять проявила инициативу. После пары вялых и вразной криков «Горько!» я решила дирижировать процессом. Стоя во главе стола юная во всех смыслах жена воскликнула: «Итак, три четыре, горько!». И все дружно, хотя и удивленно, хором гаркнули «Горько!», и до конца праздничного застолья никому уже ни разу горько не было. По крайней мере, от вина. Но горечь предчувствия перемен в тот день не покидала многих.

Свадебное путешествие отменялось. Родители решили, что будет переворот, и первыми, кто отколется, будут прибалтийские республики.

Следующие 30 лет я считала своих родителей ретроградами, перестраховщиками и консерваторами. Когда первыми откололись прибалты, ни папы, ни мамы в живых уже не было.



слове «мука» — все зависит от ударения.

То ли год был неурожайным, то ли неурядицы в снабжении нужны были перед снятием Хрущева, но муку в Москве осенью 1964 года продавали по талонам. Выдавали их в домоуправлении, по одному талону на один килограмм муки в месяц на каждого прописанного. Отоварить талоны нужно было до первого числа.

Папа уже перенес два инфаркта. Пятый этаж без лифта губителен для него. Мамин друг, заместитель главного редактора «Строительной газеты», договорился о приеме в Моссовете по поводу улучшения жилищных условий отличного журналиста, их постоянного автора и т. д. и т. п. Зампред по строительству выслушал маму, взял у нее справки и заяв-

ление, обещал сообщить решение. На следующий день раздался звонок, правда, не из Моссовета, а от маминого друга: «Анька, что ты там натворила? Срочно иди к нему!» Мама пошла. Вальжанный начальник открыл сейф, двумя пальцами выудил оттуда десятку и вручил ее маме со словами: «Таких взяток я не беру». С ударением на слове «таких».

Наши жилищные условия изменились только через семь лет, на следующий год после папиной смерти. По решению партии или правительства, или других компетентных органов мы попали под великое переселение коренной московской интеллигенции на окраины расширяющейся столицы. Борьба с диссидентами была в разгаре. Черная тушинская дыра засосала меня на 19 лет, порвав все связи.

А тогда, в 1964 году, именно этой десятки, которая случайно прикололась к выпискам из папиной истории болезни, не хватило, чтобы отоварить талоны на муку. А без муки — сплошная мука. Если правильно расставить ударения.



за ставка



ас немножко удивило название глав. И Вы хотите, вы ждете, вы требуете комментария. И автор готов пойти вам навстречу. Ненадолго прервать сюжет повествования и объяснить свою позицию. Никаких недомолвок. Все предельно открыто.

выСтавка подСтавка отСтавка доСтавка
приСтавка заСтавка

Странное название глав. Больше похоже на игру в слова. Все-таки у героини филологическое образование. И у автора тоже.

Ставка, по Далю, — палатка, намет, шатер, кибитка, юрта или вежа; жилье, которое ставится на время. У Даля есть и еще одно определение. Деньги или вещи, поставленные на выигрыш; вклад в кон; что на кону, о чем идет игра, заклад или состязанье, соревнование в играх, на скачках, в стрельбе.

Ставка больше, чем жизнь. Кажется, был такой фильм. Сродни второму определению Даля.

А Ставка главнокомандующего ближе к первому.

В своем повествовании я, конечно, главнокомандующий. И не допущу, чтобы какая-то мадам Бовари без спроса и

за

разрешения автора выскакивала замуж. Или это была Татьяна?

А повествование и есть игра. Игра слов. Игра в слова.

Игра, в которой ставка может равняться жизни.

Так что оба определения Даля нам здесь подходят.

Можно и по-другому на эти определения посмотреть — в повествовании дом хоть и не палатка, и не кибитка, а тоже оказался временным жильем. И в жизненной игре можно подумать, что героиня не на тот кон поставила.

Даль всегда дает простор для ассоциаций.

Игра слов. Игра в слова. Великая игра. Спасительная игра.

при ставка



утешствие в пространстве нам совершить не удалось — в Прибалтику нас не пустили. Но для путешествия в глубь веков специального разрешения не надо. И потому мы отойдем ненадолго от реальных перипетий незадачливых молодых людей, которым снятие Хрущева испортило свадебное путешествие. И для небольшой передышки окунемся в семейные легенды и мифы, иногда сопровождающиеся реальными датами.



Арсентий Корнеевич Терентьев жил лет сто, сто пятьдесят назад. Был он николаевским солдатом, 25 лет служил в Казани. А потом вернулся в свою деревню под Самарой и взял в жены односельчанку Дарью Ивановну. Дарья Ивановна была очень красива — греческий нос, матовый цвет лица, зубы больно хорошие, красивые. Величавая такая была. Похожа на цыганку, и песни больше цыганские пела. Очень хорошо пела. А Арсентий Корнеевич строил дачи миллионерам Соколовым, Субботиным. При советской власти в этих дачах санатории и дома отдыха открыли. Такие были большие и красивые дачи, которые Арсентий Корнеевич строил. А Дарья Ивановна хозяйство вела. В молодости она работала у Калачевых, у купцов, экономкой-поварихой. Был у них свой домик — одна большая комната и кухня. Все у них было хорошо, ладно. Но...

У Дарьи Ивановны и Арсентия Корнеевича все дети умирали, выжил только один сын — Иван.

Страшно даже подумать, что и Иван мог бы не выжить. Не было бы тогда его дочери, его внуки, и тогда бы не могло быть правнука — Длинного. А как же тогда появился бы наш сын? Но Иван, слава Богу, выжил.

Иван пошел по отцовской линии. Столяром-модельщиком стал. Уехал в Самару. Женился на Ольге. Сам он материну красоту не унаследовал, да и ростом был невысок — в отца. А жену, как и отец, выбрал красавицу. Пошли у них дети. Правда, из одиннадцати только шесть выжили.

Когда Иван обзавелся семьей, Дарья Ивановна и Арсентий Корнеевич тоже перебрались в Самару, к сыну. Он ведь у них единственный, а они уже немолодые, особенно Арсентий Корнеевич. Но, несмотря на свой преклонный возраст, Арсентий Корнеевич продолжал работать.

Дарья Ивановна каждую неделю водила детей в баню. Хозяйство у здесь она вела. И умело вела. Сильно пригодился опыт работы экономкой-поварихой у купцов. Укладывалась. А к празднику всем обновки делала. Платья, рубашки, штаны — и детям, и взрослым — всем. И готовила на всю семью. Хорошо готовила, особенно тесто хорошо делала, и девочек приучала. Давала им маленькие противни, кусок теста, начинку, и они сами пекли. А постепенно и дрожжи давала, учила ставить тесто. А еще Дарья Ивановна рассказывала внукам сказки, ею самой придуманные истории, рассказывала подолгу, интересно, увлекательно.

Ольга, жена Ивана, которая родилась и выросла в Самаре, в многодетной семье потомственных железнодорожников, сама выучилась шить. Мыла, шила на всю семью, ее за это Арсентий Корнеевич очень уважал и всем хвалил.

Иван сначала модельщиком был. И дома у него вокруг печки всегда стояло очень много досок. Пока дерево не просохнет так, что от щелчка звенит, он ничего делать из него не будет.

Некоторые по месяцам стояли — сохли. Иван и красил дерево сам, и лакировал.

Славился он. Руки у него золотые были. Какие шкатулки делал. Раз делал шахматный столик по заказу губернатора. Ему Ивана рекомендовали. Сколько вечеров он просидел! Работа тонкая, каждый квадратик вырезать — дерево подобрать и клеить. А ему ничего не заплатили. Рюмку водки вынесли. «На работе, — говорят, — расплатятся». А на работе и не собираются. Иван Арсентьевич тогда пришел домой сильно расстроенный и обиженный. Зато губернатор сделал кому-то шикарный подарок, который ему стоил-то всего рюмку водки.

Иван приучал детей к труду да к терпению. Выписывал он «Родину» и «Ниву» со всеми приложениями и иллюстрациями. Книжки, руководства — как воспитывать детей. Он все прочитывал и много уделял детям времени, занимался с ними. Картинки им показывал. Много книжек читал. Все очень любили детей. Отец и дед проводили с ними много времени. Но не баловали. Приучали к труду. Все в детстве заставляли делать: и полы мыть, и два медных самовара чистить, и свои мелкие вещи стирать. Может, поэтому и в жизни потом легче было.

Из модельщиков подался Иван Арсентьевич в железнодорожное депо. Работал там, пока не ослеп. Семья осталась без кормильца. Это уже после гражданской войны ему пенсию дали как инвалиду 1-й группы, без переосвидетельствования. И то доказывать свидетелям пришлось, что на работе зрение потерял.



ругой Иван, прадед не Длинного, а мой, тоже жил сто, сто пятьдесят лет назад. Когда он родился, крепостное право еще не отменили, что для мальчика имело немаловажное значение. Потому что мать Ивана была крепостная. И хотя отец его был помещиком, сам Иван оставался крепостным. Мать Ивана была красивой. И барин ее любил. А помещица невзлюбила Ивана с детства и, когда он подрос, решила его отдать в рекруты. Муж ее этому противостоять не мог,

а мириться не хотел. Очень характерная ситуация для российского дворянства. И потому помещик дал Ивану денег и помог бежать.

Пришлось Ивану поскитаться — бурлачил, странствовал. Добрался до Украины. И там ему повезло. Сапожник, у которого была своя сапожная мастерская, взял его в ученики. Жил сапожник этот с женой, но детей у них не было. Иван стал жить у них. И они его полюбили, как родного сына. И дело свое хотел сапожник Ивану передать, потому как и хозяйственная хватка у Ивана была, и модельная обувь хорошо получалась, и с заказчиками был он обходителен.

А тут влюбилась в Ивана родовитая и богатая полячка, любимая дочь Михая Пясецкого — Михалина. Пясецкий, конечно, допустить не мог, что его единственная наследница, красавица дочь выйдет замуж за Ивана безродного. Даже такой вариант, как приемный сын сапожника, его тоже не устроил. Но с любовью не поспоришь. Да и сам Иван Пясецкому нравился. И нашел Пясецкий семью родовитых, но бездетных поляков. К тому же и обедневших. Зато фамилия у них была звучной — Ламинские. Вот они и усыновили Ивана перед венчанием.

Так Иван стал Ламинским. И женился на Михалине. И дело свое он открыл, родители жены, кстати, вложили в его дело немалые деньги. Помогли и их связи. Иван много работал, много ездил. Сначала у них с Михалиной был маленький дом, потом большой. Был один работник, потом несколько. Потом Иван открыл свои обувные магазины и в Киеве, и в Варшаве. Но это было сто или сто пятьдесят лет назад. Умер Иван еще до революции. А Михалина дожила до 1930 года. В тот год у ее внука, названного в честь ее и ее отца Михасем, родился первый сын. Михась — мой отец. Михалина — моя прабабушка. А их старшая с Иваном дочь (всего у них было три дочери) — Надежда Ивановна — моя бабушка.

Надежда Ивановна вышла замуж за донского казака Георгия Яковлевича Осипова. Родился он 6 мая 1866 года и умер тоже 6 мая 1949 года, в день своего 83-летия. Мне тогда было три года. Но я его никогда не видела. Был он дипломированным агрономом, любил землю.

Женат был дважды. С первой женой — Надеждой Ивановной прожили они 33 года — с 1895 по 1929 год. Рождались у них все больше девочки. На Дону это означало бедность — семья большая, а земли нет. Надел земли давали только при рождении мальчика. Первый мальчик, Михась, мой отец, был седьмым ребенком.

А Георгий Яковлевич был двенадцатым ребенком Якова Осипова.



онской казак Яков Осипов, второй сын станичного атамана и его жены турчанки, которого за сходство с матерью в станице звали турком, сто пятьдесят лет назад служил в Войске Донском и участвовал в походах и войнах. А тогда, сто пятьдесят лет назад, шла война на Кавказе. В начале похода поставили их на постой в горном грузинском селении. Яков остановился в доме молодой вдовы с годовалой дочерью. Несколько месяцев Яков у той вдовы прожил. А потом война увела его дальше. И вернулся он в это селение только через 14 лет. И влюбился в юную грузинку, дочь той вдовы. Ему тогда было 33 года, а ей только исполнилось 15. И увез ее Яков на Дон. За 40 лет их совместной жизни родилось у них 18 детей. Яков дожил до 96 лет, пережив свою молодую жену на 23 года.

Внук Якова Осипова, сын Георгия Яковлевича и Надежды Ивановны, Михась был женат четыре раза. Последней его женой и любовью стала Аня Млынек.



лынек по-польски — маленькая мельница. Может быть, среди предков моего прадеда, польского еврея Мотла Млынека, были мельники, но это точно не известно.

Были Млынеки родом из Варшавы. У Мотла было несколько детей — и сыновей, и дочерей. Один сын, Гирш, еще до Первой мировой войны уехал в Москву, женился там на моей бабушке Марии Гафт, и назад в Польшу уже не вернулся. А после революции совсем редко имел возможность получить весточку от родных.

Про дедушкину польскую родню говорили, что они все, наверно, погибли во время Второй мировой войны. Хотя точно никто не знал. А вот про бабушкиных двух сестер, брата и их детей было точно известно, что они погибли в 1942 году в Белоруссии. Но про это не говорили. Может, потому, что тогда надо было бы писать про родственников на оккупированной территории, а что ж про них писать, если они все погибли. Но лучше и не говорить.

Гирш Мотлович в Москве стал Григорием Матвеевичем. Григорий Матвеевич и Мария Константиновна поженились в 1916 году. По детским воспоминаниям именно этот год видится мне на фамильном столовом серебре. Но потом часть серебра мама продала, другая часть пропала в ломбарде, и дата потерялась.

Был он верующим. Ходил в синагогу, носил талес, читал Тору, соблюдал все обычаи. Хотя неизвестно, были ли в его роду раввины. Вот у бабушки точно были, но она верующей не была. Вера не по наследству передается.

Был он пацифистом. И когда его призвали в армию, еще на Первую мировую войну, еще до женитьбы на бабушке, он не смог стрелять в людей и попал в госпиталь с психическим расстройством.

А еще он был экономистом. И даже написал какую-то книгу по статистике. В советское время он работал начальником отдела Наркомцен на улице Мясницкой, когда ее еще не переименовали в улицу Кирова. Располагался Наркомцен в доме, построенном Корбюзье.

Мой сын, правнук Георгия Матвеевича, тоже экономист, и тоже работает на Мясницкой, которой опять вернули старое имя. Правда, он работает не в доме, построенном Корбюзье. Вот такое различие и такая преемственность в нашей семье.

Умер Григорий Матвеевич на 41 году жизни — 31 августа 1935 года. В год, когда его единственная дочь с отличием окончила школу, от имени всех выпускников первой советской десятилетки выступала с речью в Колонном зале Дома

Союзов, поступила в ИФЛИ. Жить бы да радоваться. А у него сердце не выдержало.

Умер он в санатории под Москвой на руках у бабушки. Она вернулась домой, но дочери до следующего утра ничего не говорила, чтобы не расстраивать. В то утро в хрустальной вазе на круглом столе на белоснежной вышитой скатерти стояли флоксы. От их сильного запаха у мамы разболелась голова. Она часто говорила, что голова — это слабое место. И потом этот запах преследовал ее всю жизнь. И в доме флоксов никогда не было. Мне эта нелюбовь к флоксам тоже передавалась по наследству.



Жена Георгия Матвеевича, Мария Константиновна, урожденная Гафт, была дочерью Копла и внучкой Эйсера.

опл Гафт тоже жил лет сто, сто пятьдесят назад. Родился он в Хеславичах, что в Белоруссии. Может, где еще есть Хеславичи, но эти точно в Белоруссии. Был он сыном Эйсера. Это доподлинно известно. Хотя у евреев в последнюю очередь интересуются отцом. А евреем он был точно. Но имя его матери история не сохранила. Кто-то в роду Копла был даже раввином. А сам Копл был мельником. Правда, своей мельницы у него никогда не было. Может, потому что надо было часто переезжать с места на место, вернее, из местечка в местечко. То ли из-за нужды, то ли из-за погромов.

Брат Копла перебрался в Ярославль, основал там свое предприятие по добыче и сплавке по реке леса, разбогател, все его дети получили европейское образование. А его внук (или правнук?) стал актером Валентином Гафтом. Имени этого брата Копла я не знаю, не известно даже, старший он был брат или младший, но точно известно — богатый.

А Копл не разбогател, европейского образования детям не дал, и потомки его даже в пятом колене актерами не стали. Мало того, что он был беден, так он еще был очень добр. По семейным преданиям, однажды он отдал кому-то свои единственные брюки и ехал на бричке в юбке жены.

при

Было у Копла четыре сына и три дочери, а внуков — 26. Почему-то четырех внуков Копла звали Иосифами. И надо же, такое совпадение — все четыре Иосифа погибли во время Великой Отечественной войны на фронте. И еще Исаак погиб. Но больше на фронте никто не погиб. Правда, трех его детей и семерых внуков убили немцы в 1942 году в Белоруссии. Но Копл или его любимая жена, слава Богу, до этого не дожили. Копл умер в 1915 году, а его жена пережила его только на четыре года. Она умерла в 1919 году. Правда, за эти четыре года произошло две революции, закончилась одна война и началась другая. А еще дочь Копла Мария вышла замуж и родила дочь Анну, которая через 29 лет стала моей мамой. Но этого ничего Копл уже не застал.

Тех потомков Копла, которые выжили, жизнь разбросала по всему миру. Даже в России кое-кто остался. Но немногие. Кто живет в Канаде, кто в Америке, кто в Мексике, кто в Германии, кто в Эстонии.

Поди ж теперь разбери, понравилось бы это Коплу?

В раннем детстве мне кто-то сказал, что я наполовину еврейка, наполовину казачка. По рассказам мамы, я смешно развела ручки в стороны, спрашивая: «А какая половинка какая?». Эту историю неоднократно повторяли, и я ее запомнила, но так и не получила ответа на вопрос, который не стал менее значимым, хотя уже не предполагал столь прямого разделения пополам.

С годами выяснилось, что кровей во мне гораздо больше. Но, несмотря на их гремучее смешение, я, как это ни парадоксально, для одних — донская казачка, а для других — еврейка. Для донских казаков все равно, кто мать, если отец — казак, значит, и дети — казаки. А у евреев, как известно, все наоборот. И еще я точно знаю, что во мне загадочным образом переплелись вместе с генами моих предков православная и мусульманская, католическая и иудейская религии. Может, поэтому я оказалась атеисткой, чтобы никто из родственников не обиделся.

162



при

Моему сыну и внукам и кровей, и религий еще добавилось с разных сторон — и с запада, и с востока. Но это уже другая история.

Для моего сына Иван Ламинский и Иван Терентьев равно удалены во времени и одинаково близки по крови, насколько могут быть близки прапрадеды. И хотя до рождения сына еще полтора года, и мы, конечно, про его рождение ничего не знаем, но наши предки, сейчас заочно познакомившись, в нем скоро объединятся.



за

.....
ставка



родилась в год проведения Первого международного кинофестиваля в Канне. Сначала открытие кинофестиваля планировалось на осень 1939 года. Но, как известно, осенью 39-го началась война. И всем было уже не до кинофестивалей. Но в 1946 году войны не было. И от этого всем было радостно. И хотелось рожать детей и проводить кинофестивали.

На том первом фестивале в Канне Орику вручали приз за музыку к фильму «Красавица и чудовище», который сегодня, спустя почти 60 лет, мы с внуками случайно поймали по одной из восьмидесяти телевизионных программ. Глядя на это старое кино, я неожиданно понимаю, что прошло не несколько десятилетий, а целая эпоха.

В знаменитой французской версии «Аленького цветочка» дворец Чудовища оснащен всеслышащими ушами и всевидящими очами — сказочно-примитивными, почти не скрытыми камерами слежения и жучками, совсем не такими сложными, как охранная аппаратура современных офисов и квартир. Разве может это удивить сегодняшних детей, которые и чудовищ видели пострашнее, и волшебство соизмеряют с Гарри Поттером. Огромное зеркало, где Чудовище может видеть все, что происходит в его владениях, намного меньше, чем экран домашнего кинотеатра, на котором эта сказка сейчас демонстрируется. Мне обидно за

за

фильм, который вызывает у внуков скуку. Нет у них ни нашей детской влюбленности в Жана Маре, ни воспитанного годами преклонения перед классикой. Что им до Клемана, Кокто, Орика. Зачем им мой сложный напиток из ассоциативных форм кинематографического языка и собственных воспоминаний.

Сколько жизней прошло, сколько несбывшихся сказок.

Все сказки начинаются одинаково.

Давным-давно...

В тридевятом царстве, в тридевятиом государстве...

В другой стране, в другой жизни люди были рождены, чтоб сказку сделать былью.

Самолеты более доступны, но менее совершенны, чем летающие ковры. Воплощенная сказка не сделала людей счастливее.

Закадровый пафос. Заэкранный пафос.

А что за кадром? И что на экране?

ПОД ставка



рошло уже две недели после свадьбы. И мы уже начали забывать, как три дня, несчастные и промокшие, гуляли под непрекращающимися московскими дождями. Я — в новом светлом зимнем пальто, отороченном каракульчой, а Длинный — в модном темном плаще болонья. В Таллин нас не пустили.

Компьютер все время норовит мне лишнюю «н» вставить в название этого старинного города. Ну, не было ее тогда, при советской власти.

И жить нам, в общем-то, было негде. Снятая за 40 рублей в месяц квартира на Мосфильмовской еще не была освобождена предыдущими жильцами, ведь мы договорились в нее переезжать после Таллина. На 20-м этаже еще разбирали свадебные столы. И квартира была завалена, в буквальном смысле этого слова, свадебными подарками, которые надо было куда-то до поры до времени складывать. А мы толком даже не успели их рассмотреть. А на пятом этаже было, как всегда, полно народу. А нам в эти законные свадебные три дня хотелось быть вдвоем. Вот мы и гуляли под непрекращающимися московскими дождями. И проклинали тихо, про себя, триумвират, пришедший так не вовремя к коллективному руководству. Нет бы им эту заваруху устроить чуть поз-

же, ну хотя бы дня через два или три. А они ничего лучшего не придумали, как объявить об этом с утра пораньше прямо в день нашей свадьбы. То ли мой ангел-хранитель зазевался, то ли исторические катаклизмы и решения Политбюро не по зубам даже ангелам-хранителям.

В один из этих трех дней мы вместе с моей сестрой и ее кавалером решили поужинать в ресторане Дома журналистов. Тогда были такие рестораны, куда посторонний войти не мог. Только свои, избранные. Члены. Ресторан Домжур славился недорогой, но очень хорошей кухней. Вообще-то член Союза имел право провести с собой одного или двух гостей, а тут перед мамой, единственной среди нас обладательницей членского билета, стояла нелегкая задача провести четверых. Правда, мама надеялась, что ей, не просто члену Союза журналистов, а члену оргбюро, можно сказать, одному из основателей послевоенного Союза, в этом не откажут. Но именно ее и не хотели пускать. Впереди шла моя красивая сестра с кавалером. И у них никто не спросил билета или приглашения. Дальше шествовали мы с Длинным. Но нас тоже никто не остановил. А вот замыкающей шествие маме вход попытались перекрыть. Первые две пары явно шли в ресторан, а куда эту тетку несет, было непонятно. Ситуация была банально глупой. И немножко пошлой. Но мама все превратила в шутку.

Кажется, этот ужин в Домжуре был единственным заметным событием трех послесвадебных дней. Это был наш третий ресторан. После выпускного вечера в «Праге» и бесконечных яичниц в течение месяца и пять дней в «Национале». Домжур с сестрой и кавалером. И с мамой, которую пытались туда не пустить.

о три дня прошли. И снятую квартиру освободили, и мы ее чуть-чуть обустроили. Правда, свадебные подарки нам пока не отдали. Зачем по чужим углам новые, красивые, дорогие вещи трепать. Вот будет своя квартира, тогда это все и пригодится. И чайный сервиз, и столовый, и шесть серебряных ложек. А лыжи, которые походные друзья Длинного по-

дарили мне, чтобы я имела собственное снаряжение и экипировку, когда поеду с ними зимой в горы (это они в августе ходили на байдарках и плотах, а в январе спускались на лыжах с гор), мы и сами не взяли. До гор было далеко. Даже до сессии было далеко. И лыжи с остальными свадебными подарками были отправлены в кладовку на 20-м этаже.

И уже прошли две недели, за которые мы узнали много нового друг про друга. Например, то, что мы оба терпеть не можем мыть посуду. А еще Длинный с большим удивлением обнаружил, что я терпеть не могу яичницу-глазунью, которую, по совершенно непонятной ему причине, ежедневно у него на глазах поглощала во время наших «национальных» обедов. Это у него в голове не укладывалось.

За свои двадцать лет Длинный привык к определенным правилам игры.

Размеренная, устоявшаяся, заведенная, как хронометр, раз и навсегда ровная, определенная на годы вперед, немножко показушная, в меру лицемерная и лживая, благополучная жизнь. Такая, как у всех. Квартира. Машина. Дача. Папа — начальник. Мама — домохозяйка. Серебряная медаль. Мама всегда делала подарки учителям. Но это вполне допустимая плата за серебряную медаль. Институт. Выбор не обсуждается — папа работает начальником в профильном НИИ. Все это было правильно, но скучно. Жизнь начиналась за порогом дома, с друзьями. Байдарки летом, горные лыжи — зимой. Преферанс ночами в общежитии. Компании по выходным — весной, осенью, зимой. Но не летом. Летом надо отрабатывать выходные с родителями на даче. И вообще, надо отрабатывать карманные деньги. Стипендию не платят — обеспеченная семья, папа начальник. Но карманных денег, которые выдает папа, хватает на все. На компании, ухаживания, рестораны, кино, цветы. Если покупаешь какую-то вещь, то папа деньги возвращает. А еще мама иногда подбрасывает, втихую от папы, на такси.

Наша новая жизнь в снятой на время квартире в одночасье порушила все старые привычки и отношения. А новые еще

не возникли. От одного этого было сложно. Как на перепутье.

 В это время я почти не виделась со своими школьными подругами, с красавицей Верой и с не самой красивой подружкой, свидетельницей. Они еще учились в школе и готовились к поступлению в вузы, и интересы у них были еще совсем детские.

К тому же у меня теперь появились новые институтские приятели, которые сначала встретили меня настороженно.

Когда после шести месяцев, проведенных в туберкулезной клинике, я, оставшись на второй год в 5-м классе, пришла в новую школу, меня тоже настороженно и насмешливо встретили. Весь сентябрь я ходила в школу в юбке, из которой выросла, и в розовой маминой шерстяной кофточке, которая села после очередной стирки так, что даже мне не доходила до талии. Школьной формы у меня не было, так как на нее у родителей не было денег. Зато у меня была толстая коса. И все почему-то решили, что я приехала из деревни. Правда, спустя месяц уже никого не волновало, как я одета. Потому что ребята в классе оказались очень хорошими. И я уже познакомилась с Верой, и с другой девочкой, которая будет у меня свидетелем на свадьбе, и с мальчиком Женей, который жил в Верином дворе. И с другими мальчиками и девочками, которые потом, через два года, будут по очереди дежурить у постели больной одноклассницы, пока ее мама и папа не вернутся из командировки. Но сначала, когда встречают по одежке, все в классе решили, что я приехала из деревни.

 С ейчас, конечно, за деревенскую меня никто не принимал. Тетка за весну, лето и осень нашила мне такое количество нарядов, какого у меня с глубокого детства не было. То есть все наряды были, пока бабушка шила на старенькой ручной машинке Зингер, которой цены не было. А когда бабушку парализовало, то на машинке уже никто не шил. А из тех нарядов я, как растущий организм, очень быстро выросла.

Но этой весной, незадолго до моего дня рождения из Ростова приехала Тетка и занялась моим гардеробом. Тетка — старшая отцовская сестра, только, конечно, не та, что учила его французскому языку, та живет в Крыму. И не та, у которой она отбила жениха, Ивана. Та с мужем, которого тоже зовут Иван, живет в Пятигорске. Посмел бы кто-нибудь у ростовской Тетки кого-нибудь отбить. У папы вообще много сестер. Можно сказать — четыре, а можно сказать — и пять. Потому что с одной, самой младшей сестрой, у них мамы разные, а отец один. А еще одна родная сестра, самая красивая, живет в Питере, который, конечно, Ленинград, но его чаще называют Питер. А мой папа у этих четырех-пяти сестер один-единственный брат. Все сестры живут в разных городах. Иногда они приезжают в Москву. И, кажется, все относится ко мне неплохо. Но ростовская Тетка, которую, в отличие от других тетей, я всегда называю только Тетка, без имени, но как бы с большой буквы, выделяя, тоже выделяла меня из многочисленных своих племянниц и племянников, больше всех любила, даже не скрывала этого и считала, что я на нее похожа. Своих детей у нее не было.

Она приехала весной и сразу занялась моим гардеробом. А потом еще кое-что сшила в Ростове летом, и опять в Москве осенью, перед свадьбой. Фасоны, конечно, придумывала я сама. И ткань выбирала сама, и пуговицы, и другие важные детали. Правда, фасон одного костюма я даже не придумывала, а просто рассказала Тетке о безумно понравившемся мне французском костюмчике сестры. Черная узкая юбка до колена, с небольшим разрезом сзади, короткий, до талии, пиджачок без пуговиц, без воротника, с вырезом под горло, и с рукавами до локтя. Когда полочки пиджачка расходились, то была видна подкладка, яркая, красная, в цветочек. И такой же яркой, красной, в цветочек была кофточка на мелких пуговках, с воротником и манжетами, обрамляющими края коротких рукавов. В результате совместных усилий у нас с Теткой получился серый костюм с темно-зеленой со светлыми разводами кофтой с рюшечками вместо воротника и манжет. В этом сером костюме даже сестра не угляде-

ла сходства со своим французским. И мой костюм мне очень шел. И нравился мне ничуть не меньше, чем французский костюм сестры. Так что понятно, что Тетка очень творчески подходила к реализации моих фантазий. И мой гардероб весь год пополнялся новыми, замечательными нарядами. Поэтому за деревенскую девушку меня было сложно принять.



Тогда меня приняли за выпендривающуюся лгунью. Как человек яркий и заметный, я не могла не привлечь внимание своих однокурсников. Они меня приметили еще на вступительных экзаменах. Может, потому что я была единственной на всем потоке с совсем не взрослой прической — не с бабеттой, не с хвостом, не со стрижкой — а с двумя косичками. Между собой они сначала, пока мы не познакомились, меня так и называли — девочка с косичками. Оказывается, сама того не заметив, я даже прической не вписалась в общие рамки.

Через две недели после начала занятий (а на вечернем отделении занятия начинались на месяц позже, когда дневники вернутся с картошки) эта задавака с косичками пришла с обручальным кольцом, которое, конечно, взяла у мамы. Да еще беззастенчиво врет, что у нее три дня назад была свадьба. Естественно, это вызвало снисходительную насмешку. Косички, с которыми я продолжала ходить на занятия, они мне прощали. Но обручальное кольцо, которое я теперь демонстрировала на безымянном пальце правой руки, было сродни мелкому вранью. Неужели этим она хочет вызвать интерес? Или заслужить уважение? Или казаться старше? Глупо это, как-то по-детски глупо. Так решили мои одногруппницы. Мальчиков в нашей группе не было. Как и в первом классе, я оказалась в обществе одних девочек. Это было специфической особенностью филфака — факультета невест. Редкие мальчики, разбросанные по разным группам, курсам и отделениям, общей картины не портили. В нашей группе было, конечно, не 13 Наташ. Но вообще без Наташ быть не могло. С одной Наташей мне крупно повезло. Она

стала моей настоящей подругой. Чтобы как-то отличить ее от остальных Наташ, окружавших меня до того, мы будем дальше величать ее по имени-отчеству. Наталья Леонардовна. Именно она мне и рассказала о реакции остальных членов группы, которая уже распространялась по всему курсу, на неожиданно появившееся обручальное кольцо.

В следующий раз, чтобы окончательно всех добить, я принесла на занятия свадебные фотографии и пустила их на лекции по кругу. На фотографиях я была без фаты и тоже с двумя косичками. Но в белом платье. А рядом симпатичный длинный парень в очках. И роспись в книге, и обмен кольцами, и официальный поцелуй — то есть весь набор необходимых атрибутов неопровержимо доказывал, что кольцо было не мамино, а мое собственное. Эту лекцию я, кажется, сорвала. Такова была реакция первого курса факультета невест на первую на курсе свадьбу, в которую они изначально не поверили.

Вообще эффект Кассандры у меня присутствует. Мне многие по многим поводам не хотят верить. И не верят. Я не люблю, когда мне не верят. Но мне не всегда бывает так быстро, легко и просто доказать свою правоту, как тогда — со свадебными фотографиями. Тогда за одну лекцию все встало на место. И снисходительных взглядов больше уже не было. И я оказалась в центре внимания. Ну, это я всегда любила.

В один прекрасный вечер я пришла на лекцию в Коммунистическую аудиторию с тремя сонными карпами, купленными в магазине «Рыба» в нашем доме на Герцена. Перед занятиями я часто забегала домой. Ведь мой факультет был всего в пяти домах от моего родного дома, где я уже не жила. В очередной заход домой я прикупила трех спящих карпов и отправилась с ними на занятия. В начале лекции карпы мирно спали в сумке. Но потом один карп вдруг проснулся, и стал бить хвостом, и выскочил из сумки, и таким манером попытался спуститься вниз по ступенькам Коммунистической аудитории. Те, кто сидел ближе к проходу, бросились этого карпа ловить. Все понимали сложности, свалившиеся на молодую жену.

У меня появились новые приятельницы и даже подружки.

А с Натальей Леонардовной мне вообще крупно повезло. Мало того, что она стала мне действительно хорошей подругой, так она еще и английский знала, и вязать умела, и мама у нее тоже умела вязать и к тому же была левшой. Так, благодаря подруге и ее маме, я наконец воплотила свою давнишнюю мечту — научиться вязать — в жизнь.

Поэтому со старыми школьными подругами мне было совсем некогда видеться.

Ато к нам на снятую и уже слегка обустроенную квартиру часто приезжали друзья Длинного, которые, конечно, уже были и моими друзьями. И которые тоже уже почти все были семейными. Правда, японисты еще не поженились, но все шло к этому. А Татьяна и Дед поженились еще раньше нас, в конце сентября. И уже совсем не считали себя молодоженами. А вскоре после нашей свадьбы состоялась свадьба Коли и Гали в ресторане «Украина». А потом и Валя с Женей расписались и теперь оба стали Черныхами.

Надо сказать, что все пары подобрались на редкость выразительные и характерные. Конечно, в киношном смысле ни одну пару нельзя было назвать красивой, но своеобразие и изюма — хоть отбавляй. И удивительная совместимость. Даже когда все сидели или стояли вразнобой, легко было понять, кто кому пара. Не ошибешься ни за что.

Японисты были язвительными интеллектуалами и сибаритами. Их роднила не внешность, а манера поведения.

Деда и Татьяну, наоборот, объединял контраст поведения. Он был громогласный, она — тихая, спокойная. Но оба светлые.

А Черных были темными, будто их фамилия обязывала. Почти одного роста, плотно сбитые. И легко брались за любую работу, не разделяя ее на мужскую и женскую. У них и имена были такие, по которым сразу — на бумаге — не определишь, мужское имя или женское. И даже в сочетании с фамилией не поймешь (на бумаге, конечно), — Валя Черных, Женя Черных.

Коля и Галя были высокими и худыми. И в них, в Гале больше, но и в Коле тоже, чувствовалась порода.

Сегодня мы ждали в гости Татьяну и Деда.

Надо сказать, что с продуктами сейчас сложно. Приезжающие из других городов говорят, что у них совсем плохо. Они из Москвы все время везут сумки с продуктами. В Москве, конечно, не так плохо. Но сложно.

И с деньгами у нас сложно. Здесь, правда, требуются пояснения. Родители дают нам по 70 рублей. Так они договорились. Пока я не работаю и Длинный не получает стипендию. По 20 рублей на квартиру и по 50 рублей на жизнь. Мне таких денег раньше никогда не давали. А с Длинным как раз все наоборот. Пока мы не поженились, ему ежемесячно на карманные расходы давали полтинник (то есть, конечно, 50 рублей, которые почему-то все уже тогда называли полтинниками). Так как он сын высокооплачиваемого начальника, то ему стипендия не полагалась. Вот папа ему и выплачивал стипендию из собственной зарплаты.

«Голь на выдумки хитра» — говорила моя бабушка. У нее было много запоминающихся коротких фраз. Если я говорила, что мне скучно, бабушка тут же предлагала: «Давай пригласим духовой оркестр». Я представляла этот духовой оркестр в нашей комнате, и мне становилось смешно. И уже не скучно. Убирая за мной или за мамой разбросанные по стульям вещи, бабушка неизменно повторяла: «Вещи говорят — береги нас дома, а мы будем беречь тебя в гостях». У бабушки было совсем немного вещей, но они всегда выглядели нарядно, изысканно и аккуратно. Бабушка любила повторять: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Кажется, у нее на каждый случай была своя фраза. Но я из всего многообразия ее емких выражений житейской мудрости, кажется, восприняла только одну: «Голь на выдумки хитра».

Сейчас она мне в очередной раз очень пригодилась.

Итак, сегодня мы ждали в гости Татьяну и Деда. С продуктами было сложно. И денег катастрофически не хва-

тало. Исходя из этих трех условий необходимо было изобрести что-то недорогое, вкусное, сытное и запоминающееся. Изобрести можно было что-то из муки, воды, одного яйца, сахарного песка и небольшого количества сливочного масла. Больше, кроме чая и кофе, в доме ничего не было.

Я изобрела блинчики, начинкой для которых стала обжаренная в масле мука, смешанная с сахарным песком. Начинки было много, она была хрустящей и вкусной и совершенно не поддавалась расшифровке своей сущности. С чаем мы умали пару десятков маленьких блинчиков, посыпанных сверху сахарным песком. А потом я рассказала рецепт их приготовления. И Дед тут же стал пилить Татьяну, которая была на два года старше меня (все молодые жены друзей Длинного были ровесницами своих мужей, а значит, старше меня на два года), за ее нетворческий подход к кулинарному искусству. Она не готовила Деду вообще никаких блинчиков. Только картошку с мясом. Или картошку с рыбой. Так как они и до свадьбы жили вместе уже два года, то Дед немножко устал от такого однообразия домашнего меню. И откушав блинчиков, стал в очередной раз воспитывать Татьяну. Он это делал постоянно, но как-то добродушно, не злобно, любя. И Татьяна, кажется, уже привыкла и совершенно на него не обижалась. И на меня за блинчики не обиделась. Зато Длинный был непомерно горд моими кулинарными способностями, проявленными уже на первом месяце семейной жизни.

Иногда к нам навещала свекровь. Она недавно стала работать в отделе заказов в гастрономе, который располагался в ее же доме. Это было очень удобно. Можно было даже в обеденный перерыв забежать домой. И на работу недалеко ходить. И дефицитные продукты достать теперь не проблема. Никого ни о чем просить не надо. Наоборот, теперь тебя все просят. И покупатели, сейчас, когда так сложно с продуктами, благодарны, если им что-то отложишь. И всегда уважительны, приветливы, норовят свою симпатию вы-

разить, регулярно какие-нибудь незначительные подарки делают, ну а по праздникам так и значительные. Покупатели, конечно, бывают разные. Бывают и такие, что душу из тебя вытрясут за батон сырокопченой колбасы или две-сти граммов красной рыбки. Ну, нет уже ни колбасы, ни рыбы. Или они в других наборах. А в ими выбранный набор ни рыбы, ни колбасы не полагается. Но что про таких вспоминать. А вот свои, постоянные покупатели — другое дело. Чувствуешь себя нужным, полезным, уважаемым человеком. Как дома, в четырех стенах, уже давно себя не чувствовала.

Но когда свекровь в свои выходные выбиралась к нам на Мосфильмовскую, она продукты не привозила. Ни дефицитные, ни обыкновенные. Она приезжала с инспекциями, проверить, что постирано, выяснить, что приготовлено. И регулярно напоминала мне, что Длинный — мужчина, и поэтому он должен есть в два-три раза больше, чем я. Я не очень понимала, почему ему тогда не дают больше денег.

Став свекровью, я избежала хотя бы этих ошибок. Меня совсем не интересовало, что постирано и что приготовлено.

Длинному, который привык, что у него всегда есть деньги, который в материальном плане чувствовал себя вольготнее и свободнее большинства своих друзей, было намного тяжелее, чем мне. 50 рублей только на карманные расходы и те же 50 рублей на все про все. На дорогу, даже если больше никуда не ездить, только в институт и назад, на Мосфильмовскую, нужно было 18 копеек. У него был проездной со студенческой скидкой, а вечерникам скидки не полагались. Теперь сигареты. Я курю без фильтра, «Солнце» или «Шипку», это 14 копеек, а Длинный курит с фильтром, это уже 30 копеек. В общем, еще 13 рублей в месяц. 24 дня занятий — 24 рубля для дневных обедов. А еще остаются завтраки и обеды. А еще пиво, которое я, слава Богу, терпеть не могу, а Длинный любит. Хотя бы 1–2 бутылки, хотя бы в выходные. Или кино. Ну хотя бы пару раз в месяц. А еще

химчистка или прачечная. Или какие-то другие мелкие траты. А тут еще у друзей три свадьбы подряд — это уже не мелкие траты. И подарки, и цветы. А еще скоро Новый год. А потом на зимние каникулы все собираются в Карпаты, кататься на горных лыжах. А у меня даже куртки нет.

В общем, я сэкономила как могла. А денег все равно не хватало. И Длинный мучился. Кому пришлось в голову посадить его на такой паек, свекрови или Солнцу, я не знаю. Еще месяц назад они на него тратили в три раза больше, и это всех устраивало. И если он на свои законные карманные деньги покупал носки или носовой платок, то ему эти траты считали нужным компенсировать. Но тут было дело принципа. Раз мои родители могут давать только 70 рублей, значит, и они будут давать 70 рублей и ни копейки больше. Но мои родители, жившие только на гонорары, далеко не каждый месяц имели возможность даже на эти 50–70 рублей.



Так и не узнав за месяц свои служебные обязанности, я уволилась со своей первой работы. Она сыграла свою историческую роль, обеспечив мне справку для зачисления на вечернее отделение. В остальном ни она мне, ни я ей не были нужны. А бессмысленным делом зачем заниматься? Теперь, став женой, я уже могла не волноваться о справке. Она мне теперь была не нужна. Но работа очень даже была нужна. Для зарабатывания денег. И я ее искала.

Конечно, я писала репортажи и брала интервью. И мне даже выдавали официальные поручения на бланке и с печатью: «Редакция журнала поручает внештатному корреспонденту подготовить материал о...» или «Редакция журнала поручает проведение интервью к новогоднему номеру журнала». Но публикации были непостоянными. И гонорары появлялись от случая к случаю. А денег катастрофически не хватало всегда. И я искала работу. И всем об этом говорила.

В общем, когда одна мамина приятельница, еще со времен их общей работы в ЦК комсомола, предложила мне попробовать себя в несколько ином качестве, я сразу согласилась.

И по звонку маминой приятельницы отправилась во Всесоюзный научно-исследовательский институт легкой промышленности, где меня обмерили, записали все данные в гроссбух и обещали позвонить. ВНИИ Легпром набирал манекенщиц.

Именно в этот момент Длинный где-то встретил свою первую школьную любовь, дочку академика. Ту самую, с которой он целовался во время школьных перемен в соседнем подъезде. И был приглашен с молодой женой в гости. За ужином были и академик, и его жена, и, естественно, их дочь. И у меня было ощущение, что и академик, и его жена постоянно сравнивают свою дочь со мной. Родители рассказывали о замечательных достижениях дочери в учебе, и хотя она училась только на третьем курсе, но все были уверены, что она обязательно поступит в аспирантуру. Длинный ничего не сказал ни о моей учебе на филфаке, ни о моих многочисленных публикациях. Он сказал, что меня пригласили работать манекенщицей. Я разозлилась и обиделась одновременно. Но до ухода из гостей старалась не подавать вида. А за порогом дома, еще на парадной лестнице, выдала все, что я про него и его дурацкие представления думаю. Длинный меня успокаивал: «Чудо, но это же значит только одно — что у тебя отличная фигура. Гордиться должна». Это меня не устраивало. То, что у меня хорошая фигура, и так было видно. А в этой академической семье должны были больше ценить умную голову, но это так сразу и не увидишь.

Я еще не до конца понимала, что Длинный — специалист по уколам. И всегда знает, куда этот укол нанести. Он всегда знал самое незащищенное, самое слабое, самое больное место.

У его первой любви была действительно не очень хорошая фигура. А моими филологическими способностями и даже публикациями ее удивить или смутить было сложно. Длинный даже не заметил, что, доставив себе маленькую радость, обидел не только свою первую любовь, но и меня.

Но в тот момент моя карьера манекенщицы не удалась. Мне из ВНИИ Легпрома не позвонили. И я им не позвонила.



А через полгода, когда на кактусе появился второй росток, звонить уже было глупо.

Поиски работы я на некоторое время решила прервать. Потому что подошло уже время первой сессии. И мы с Натальей Леонардовной засели за учебники, конспекты и тексты. Если мне просто надо было сдать сессию, то перед Натальей стояла сверхзадача — сдать сессию на «отлично». Ей, с ее замечательным английским языком, на русском отделении делать было нечего, ей обязательно надо было переводиться на романо-германское отделение. А для этого нужны были отличные результаты двух сессий.

Первым зачетом был английский язык. Мои познания в этом предмете ни в какое сравнение со знаниями Натальи Леонардовны не шли.

Даже при поступлении в университет экзамен по английскому языку оказался самым непредсказуемым. Я поставила в тупик молодую преподавательницу, к которой я пошла сознательно. Я видела, что она меньше придирается и почти не задает каверзных вопросов. Но со мной она растерялась. И позвала опытную пожилую преподавательницу, к которой я совсем не хотела идти. И они вместе пытались выяснить, что же со мной происходит, то ли я ничего не знаю, то ли так волнуюсь, что все забыла. Они задавали мне вопросы по-английски, а я отвечала на чисто русском. «Почему я решила поступать на филфак? Ну, здесь решающую роль, конечно, сыграла моя любимая учительница литературы в 9-м классе, которая...». «Спасибо. Назовите своих любимых русских писателей. Спасибо. А английских поэтов? Спасибо. А американских писателей? А какое произведение вы недавно прочли?» «J. D. Salinger. The Catcher in the Rye». Это была первая английская фраза после моего пятнадцатиминутного русского монолога. В русском переводе повесть называлась «Над пропастью во ржи», но я назвала ее английское, оригинальное, название. Это так потрясло пожилую преподавательницу, что она сама не заметила, как перешла на русский. «Вы ее читали в под-

линнике?» — удивленно спросила она. «Нет, — радостно воскликнула я, услышав, наконец, звук родной речи. — В подлиннике читал мой брат». Больше мне вопросов решили не задавать. Меня отправили в коридор. А через пять минут, посоветовавшись, вернули мне экзаменационный листок, где к четверкам по сочинению и литературе и русскому устному добавилась третья четверка. Четверка по сочинению в тот год была большой редкостью, и, видимо, и молодая, и пожилая преподавательницы решили не портить мою филологическую устремленность тройкой. В конце концов, я поступала на русское, а не на романо-германское отделение.

Но компания Натальи Леонардовны на меня положительно повлияла. То, чего не смогли сделать преподаватели, курсы и репетиторы за предыдущие годы, Наталье удалось за один семестр. В общем, зачет я сдала легко, практически автоматом. И это был первый зачет в моей новенькой зачетке. И конечно, я должна была им похвастаться.

Я по привычке забежала на Герцена. Любка приветливо вильнула такими модными теперь завитыми шнурочками, свисавшими на обрубленном хвосте. Я походая погладила ее. Что могла понять даже такая замечательная собака в первом зачете? Мне нужны были понимающие зрители, готовые эту радость тут же со мной разделить. А Любка просто обрадовалась мне. И ей дела не было до моего зачета. Зато мама все правильно поняла и оценила. Она внимательно рассмотрела все странички новой зачетки, и фотографию ее дочери с двумя косичками, и даты, и печати. И подпись преподавателя после четкого «Зачет». Подпись ее особенно заинтересовала. Оказалось, что они с нашей преподавательницей вместе учились в ИФЛИ. Но с тех пор мама ее не видела. И ничего про нее не знала. А теперь узнала и обрадовалась, что я учусь у ее сокурсницы, у бывшей ифлийки, у замечательной женщины. И что именно она принимала у меня первый зачет. Такая преемственность поколений. Такое вот прекрасное совпадение.

Тогда я даже предположить не могла, как это совпадение отразится на моей дальнейшей жизни.

Свекровь выбрала самый неподходящий момент для своей очередной инспекции. И слова были самые проникновенные. «Тебе сейчас тяжело. У тебя сессия. И у него сессия. Надо заниматься учебой, а не готовкой и стиркой. Поживите пока у нас. Я буду готовить. Я все равно каждый день готовлю. У вас будет отдельная большая комната с балконом. И деньги можно сэкономить. Зачем чужим людям платить по 40 рублей в месяц. На эти деньги можно себе какие-то вещи купить. Поживете пока у нас. А там что-нибудь придумаем». Длинный был согласен. Я догадывалась, что свекровь с ним на эту тему уже не раз заводила разговоры. А мне крыть было нечем.

П перед новым годом, в разгар сессии, мы переехали. И теперь живем на 20-м этаже. В большой комнате с балконом. За стеклянными дверями. Эти стеклянные двери могли открыться в любую минуту. И на пороге могла возникнуть свекровь, которой именно сейчас позарез что-то нужно было взять в этой комнате. Или она хочет посмотреть сегодня ночью фигурное катание, чемпионат Европы, Белоусову и Протопопова. «Ну, конечно, у них завтра экзамены. Даже телевизор в собственном доме посмотреть нельзя!» После этого монолога раздавался хлопок стеклянной двери. А на следующий день мы уже не возражали ни против Белоусовой, ни против Протопопова и засыпали под победные выступления наших фигуристов. О том, чтобы перенести телевизор в другую комнату, и речи быть не могло. Солнце приходил с работы уставший. После программы «Время», которая и тогда уже, кажется, была, он вообще ничего не смотрел. И он рано ложился спать. А свекрови было одиноко. И хотелось поговорить или хотя бы посмотреть телевизор.

У нас все — вкусы, предпочтения, интересы — разные. Даже в мелочах.

Например, я люблю подарки, и люблю янтарь. А мать Длинного янтарь не любила. В 1961 году муж подарил ей янтарные бусы. Если кто не помнит — это был год денежной реформы.

Нет, это, конечно, была не павловская реформа. И никакой не дефолт. Такого слова — дефолт — в 1961 году никто и не слышал.

Просто рубль стал десятью копейками. И бабушкина пенсия, если бы бабушка дожила до этой реформы, теперь была бы не 210 рублей, а 21 рубль. Только бабушки уже не было. А с деньгами ничего страшного не произошло. И то, что раньше можно было купить за рубль, теперь можно было купить за 10 копеек. Я не отвлеклась от рассказа о янтарных бусах, просто объяснила, чем 1961 год был примечателен. День рождения у матери Длинного — весной. А реформа началась с 1 января. И к весне еще к новым деньгам не привыкли. И все цены переводили то туда, то обратно. В уме, конечно. И мать Длинного, когда увидела бирку с ценой на подаренных янтарных бусах, быстро перевела эту цену в новое ценоисчисление и ахнула. Какая-то подделка за 4 рубля. Она так Солнцу и сказала. И очень на него, на Солнце, обиделась. А он тоже обиделся. Потому что те бусы он долго выбирал, и стоили они 40 рублей уже по-новому, а по-старому так и вообще 400. А это были очень большие деньги — две пенсии моей бабушки, например.

С тех пор Солнце перестал выбирать жене подарки ко дню рождения или к другим праздникам, например, к Новому году или к 8 Марта. А стал отдавать деньги на подарок. Чтобы она сама себе выбирала, что хочет. Через год она поняла, что цена тех бус была уже новой. Но деньги ее все равно больше устраивали, чем подарки. Сама бы себе она никогда янтарные бусы не купила. Потому что она янтарь не любила.

Но кое-что нас с матерью Длинного все-таки объединяло. Это курение.

Официально курил только Длинный. И ему предписывалось выходить в холл, потому что помещение с зеркалами,

лепниной и несколькими скоростными лифтами назвать лестничной клеткой язык не поворачивается. Летом можно было курить на балконе. Но если Солнце был на даче или в командировке, то можно было покурить и на кухне. А прокуренность помещения всегда можно было списать на Длинного. Не то чтобы я скрывала свое курение. Нет, об этом знали все. Но при Солнце курить было нельзя, чтобы его не расстраивать. Я думаю, он знал не только про то, что я курю, но и про то, что его жена тоже курит. Но делал вид, что не знает. И она делала вид, что не курит. И курила. И я при нем делала вид, что не курю. И курила. И всех это устраивало.

ома я старалась находиться как можно меньше. С утра я уезжала к Наталье Леонардовне. И мы садились заниматься. В эту первую сессию нам предстояло сдать восемь предметов. И на подготовку к каждому из них было два или три дня. Мы делили предмет пополам. И каждый читал свою половину. А потом пересказывал другому. Так получалось быстрее и лучше запоминалось. Но зарубежная литература, которая в один семестр включила всю Древнюю Грецию и весь Древний Рим, была неподъемна даже располвиненная. Хотя это был всего лишь зачет, но его мы боялись больше, чем экзаменов. В данном случае мы решили ничего не пересказывать друг другу и, чтобы хоть что-то иметь при себе на сдаче этой махины, засели за изготовление шпаргалок. Кажется, это нас и спасло. В общем, подготовка к сдаче разных предметов требовала индивидуального подхода. А главное, очень отвлекала от мыслей о 20-м этаже, куда я старалась вернуться как можно позднее. Дома у Натальи Леонардовны днем мы были одни. К вечеру возвращались с работы ее родители, иногда забегала ее старшая сестра с мужем, которых Наталья звала смешно — женатиками. Но в полном или неполном составе вся семья была открытой, легкой, веселой. И я себя там чувствовала легко и свободно. Как у себя дома, на Герцена. И от этого было еще тяжелее вечером возвращаться на 20-й этаж.

Так шел первый месяц наступившего года, так шел третий месяц нашей семейной жизни. И впереди уже маячили Карпаты.

юбка умерла в январе, через три месяца после нашей свадьбы. Может, она не перенесла предательства. Я уехала с Герцена, и почти не появлялась, и совсем не гуляла с ней. А может, она почувствовала, что папе с его инфарктами и маме с ее тромбозом, тяжело по три раза в день при любой погоде ее выгуливать. Ведь она знала, что мы живем на пятом этаже без лифта. А больше ее выгуливать теперь было некому. Нянечек или домработниц после бабушкиной смерти у нас уже не было.

Так или иначе, но ее преданное собачье сердце не выдержало. И она тихо умерла. Она уже была старенькой. А щенят у нее никогда не было. Она не хотела иметь дело с другими пуделями. Говорят, что черные шнуровые королевские испанские пудели — вымирающая порода.

Мама ничего не сказала мне по телефону. У меня была сессия. А зачем расстраивать человека во время сессии. После ее смерти у нас никогда уже не было собак.

оя спортивная карьера не удалась. Нет, в детстве у меня были, конечно, разные спортивно-физкультурные увлечения. То есть и задатки у меня были, и желание их реализовывать. Я, конечно, хотела, как большинство моих сверстников, заниматься фигурным катанием. Но мама поголовное увлечение этим видом спорта не одобряла. Поэтому у меня не было ни коньков, ни спортивной формы, и я не стала фигуристкой. Но художественной гимнастикой можно было заниматься в школе, в секции, для этого одобрения или разрешения мамы не требовалось. И я занималась. При моей гибкости и подвижности у меня неплохо получались мостики, шпагаты, кольца и всякие другие фигуры. Так что на всех праздниках я обязательно выступала и с сольной программой, и в пирамидах, без которых тогда ни один праздник не обходился.



Но в один день, за пару месяцев до моего десятилетия, все рухнуло. Пирамиды, сольные программы и спортивная карьера.

проснулась от жара. Мама вызвала врача и, пока врача не было, пыталась меня как-то утешить или подбодрить. Когда у человека высокая температура и жар, он не хочет ничего есть. Но мне хотелось. Мне безумно хотелось селедки. И мама спустилась вниз, благо далеко не надо было идти, магазин рыбы был в нашем доме, и купила мою любимую жирную атлантическую селедку пряного посола с икрой. И я умяла эту селедку целиком за один присест. С черным хлебом, с маслом. И с удовольствием. А потом пришел врач. И сразу же выяснилось, что у меня все классические признаки острого инфекционного заболевания, которое в обиходе называется желтухой, а по научному гепатитом или болезнью Боткина. И селедку мне есть категорически нельзя. И вообще ничего острого и жирного нельзя. И шоколад нельзя. Меня нужно немедленно госпитализировать, вещи и игрушки увезти на дезинфекцию, а в школе объявить карантин. На карете скорой помощи...

Какое красивое название было — Карета Скорой Помощи, а теперь это какой-то реанимобиль.

...меня очень быстро доставили в инфекционную больницу, в палату, где было еще 15 девочек с желтухой. Но на девочек мы в этой палате были мало похожи. Потому что сначала меня машинкой постригли наголо, под ноль. От моих льняных кудрей ничего не осталось. Зато появились уши торчком. И голове было холодно. В таком неприглядном виде, в больничной пижаме, которая была мне мала, я появилась в палате. А там оказались такие же стриженные под ноль девочки в больничных пижамах, которые кому-то были тоже малы, а кому-то, наоборот, велики. Первый вопрос, который мне задали, был: «Как тебя зовут?» Я ответила: «Наташа». Но все дружно засмеялись и почти хором выкрикнули: «Нет, теперь тебя зовут Ашатан». В этом ко-

ролевстве кривых зеркал у всех имена читались задом наперед.

Так в один день я потеряла волосы, имя и возможность есть свои любимые блюда.

В этой больнице я лежала уже месяц. Никого из родных в больницу не пускали, а значит я могла видеть маму только из окна пятого этажа. И очень скучала и по дому, и по классу. Но сегодня врач объявил, что завтра меня выписывают. И чтобы отпраздновать это замечательное событие, я устроила всей палате сольное гимнастическое выступление. Отсутствие музыки делало, конечно, это представление не таким элегантным, что было обидно. Но всем понравилось и без музыки. Только лечащий врач на следующий день, когда у него в руках уже были все документы на мою выписку, был очень сильно удивлен, почему моя уже почти здоровая печень опять вылезла из-под правого ребра почти на четыре сантиметра. В больнице я осталась еще на десять дней. И твердо усвоила, что никаким спортом и даже физкультурой мне заниматься ближайший год нельзя.

Болезнь Боткина, она же гепатит, она же желтуха, аукалась мне в жизни неоднократно. На первый же день рождения, который был вскоре после выписки из больницы, все гости принесли исключительно шоколадные подарки — зайца, медали, тортики и просто шоколадки. А мне шоколада было категорически нельзя. И я очень обиделась. И оставила родителей с гостями праздновать это событие без меня. Я ушла со своего дня рождения к соседям смотреть телевизор, спектакль «Кража». Там что-то украденное прятали за какой-то картиной. И я смотрела и плакала, потому что у меня несправедливо украли мой любимый праздник, который я так ждала.

А через два года, когда я оказалась в туберкулезной клинике, выяснилось, что и здесь желтуха мешает моему лечению. Паск, лекарство такое, другие дети принимали по четыре-пять таблеток за раз, а мне одну таблетку в день делили на два приема. Чтобы печени не повредить. И с жирами, которые так необходимы легочникам, конечно, тоже были проблемы. Но и это было еще не все. Все я даже перечислять не

буду. В общем, желтуха мне потом всю жизнь о себе напоминала. А я так и не знаю, где я ее подцепила. Поэтому моя спортивная карьера не удалась. Спортом и даже физкультурой, от которой я сначала три года была освобождена, а потом самовольно устранилась, я уже восемь лет не занималась. Я стеснялась кататься на лыжах, коньках, велосипеде, я разучилась бегать, прыгать, подтягиваться на кольцах и т. д. и т. п. Я не тянула даже на нормы ГТО. И вот такому неуклюжему неспортивному существу теперь предстояло встать на горные лыжи. На глазах у всей компании.

Мы с Длинным приехали в Карпаты почти на неделю позже всех. Все-таки у вечерников сессия оказалась чуть сдвинутой. Приехавшие первыми Боб, Черныхи и Колька сняли избу, где в одной большой комнате нам всем предстояло неделю или десять дней спать. На полу, в спальнях мешках. Потом приехали Дед с Татьяной, как раз перед Татьяниним днем, который отпраздновали без нас. И еще несколько человек приехало, а Галя не поехала вообще. Это был первый выезд с женами, и, кажется, Колька немножко обиделся на Галя. Но Галя, рожденная в другой стране и воспитанная в других условиях, видимо, не хотела спать на полу в мешке в одной комнате со всеми. Татьяна и Валюха всегда ходили в походы, и в горнолыжные, и в байдарочные. А Галя никогда. Но зато она легко отпускала Кольку одного. Может, сначала это его даже чуть-чуть задевало или обижало. А потом он был даже признателен ей за это. Потому что других не очень отпускали. И с годами это их чуть-чуть тяготило. Во Львов мы приехали ранним утром. И пару часов до отхода нашей электрички гуляли по пустынному старинному заснеженному городу, рассматривая непривычные для московского глаза почти европейские витрины. Ни выпить кофе, ни купить что-нибудь было еще нельзя. Город спал. А потом мы несколько часов ехали на электричке по лесистым и заснеженным гуцульским Карпатам. Красоты за окном, мои новые, подаренные на свадьбу лыжи и новая красная куртка, которая



мне очень нравилась и очень мне шла, — все это настраивало на оптимистический лад. И я уже почти не боялась продемонстрировать свою неуклюжесть.

Весь следующий день я именно этим и занималась. Мы подошли к горе. Мне пристегнули лыжи. И, с трудом передвигая ноги в тяжелых негнувшихся ботинках, с мешающими двигаться лыжами, я долго, наверно минут двадцать боком, лесенкой поднималась. А потом очень быстро, наверно за минуту, спустилась с этой, с таким трудом завоеванной высоты. Последние метры спуска я преодолевала уже на пятой точке. До вечера это зрелище можно было наблюдать еще раз пять или шесть.

А на следующий день пошел дождь. Гора обледенела. И на лыжи я уже не встала. Зато научилась играть в преферанс.



давно хотела научиться играть в преферанс. Еще когда в моем детстве мы жили на даче — в Отдыхе, в Малаховке или Лосе. Родители почти каждый день играли с друзьями в эту игру. Иногда одна игра продолжалась два и даже три вечера. Говорились странные фразы: «Первый ремиз — золото», «Хода нет — ходи с бубей», «Туз — он и в Африке туз». Но меня тогда никто не научил играть в эту замечательную игру. А тут помогла обледенелая гора. Делать было совершенно нечего. И все играли в преферанс «на стол». То есть проигравший покупал выпивку — красное гуцульское домашнее вино на всю компанию. Из этого вина лучше всего было варить глинтвейн. И мы варили. Я очень быстро научилась, как мне казалось, всем премудростям игры. И почти все время выигрывала. И мне все завидовали. Потому что так не бывает, чтобы и в карты выигрывать, и в любви везло. А то, что мне везет в любви, ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения.

Потом выяснилось, что у меня эти два показателя, в отличие от большинства людей и вопреки приметам, совпадают. Когда не везло в любви, то и в карты не выигрывалось.

Конечно, в ту зиму, когда гора сначала обледенела, а потом растаяла, мы не только играли в преферанс и пили глинтвейн.

Днем мы гуляли по маленькой деревне у подножья горы, а вечером Колька доставал из чехла гитару, и каждый по очереди называл какую-нибудь песню, и эту песню все пели. А потом кто-то другой предлагал следующую песню. И опять все пели. Кто-то вспоминал Паток. И пели про Паток. Кто-то про Солнышко лесное. К этому летнему репертуару теперь добавились еще и зимние песни. И первой среди них стала «лыжи у печки стоят». И обязательно после этой спетой строчки кто-нибудь спрашивал: «Какой дурак их туда поставил?» Это уже был своего рода рефрен. Наши лыжи простояли всю неделю в холодном «предбаннике» избы. На обледенелую и растаявшую гору больше никто подняться не рискнул.

В следующую зиму я уже не могла встать на лыжи, а только позволяла возить себя и свой живот на саночках в наши подмосковные вылазки в Турист, где опять была снята одна изба на всех. Сезон открывался 5 декабря, в День Конституции, когда снег уже лег, и продолжался до конца февраля. Компания выбиралась на выходные в эту избу, на облюбованную гору. Ни на Кавказ, ни в Карпаты никто в тот год уже не поехал. Все ждали прибавления семейства. Последний раз я была у горы за неделю до родов. Меня даже на саночках возить боялись. И я два дня гуляла под горой.

А на третий год никто из компании на лыжи за зиму ни разу не встал, потому что и у нас с Длинным, и у Татьяны с Дедом, и у Гали с Колей, и у Жени с Валею появилось потомство. Два мальчика (у нас и у Татьяны с Дедом). И две девочки (у Черныхов, которым было все равно, кто родится, и у Гали и Коли, который страстно хотел мальчика).

Вобщем в горы никто не поехал, и даже не сняли избу в Туристе. Потому что мамы новорожденных не очень любят, когда папы в этот момент уезжают в горы или в Турист. А сознательные папы не хотят создавать сложности ни себе, ни молодой маме.

Через год, когда и горы, и лыжи возобновятся, меня в этой компании не будет. А в моей компании и в моей жизни долго не будет ни гор, ни лыж.

Но, видимо, несмотря на первую неудачу, увлечение этим видом спорта у меня прошло не совсем. Оно реализовалось уже в другой жизни, когда именно с моей подачи старший внук встал на горные лыжи, и совсем неплохо это у него сейчас получается.



Вернувшись с растаявших гор, мы перебрались с 20-го этажа на пятый. Вернулись с неба на землю. Или наоборот?

Почему-то здесь, в проходной комнате за занавеской, я себя чувствовала более защищенной, чем в той, другой квартире за закрытыми стеклянными дверями.

Если меня все не устраивало на 20-м этаже, то Длинный с трудом привыкал к жизни на пятом. К общей кухне, к очереди в туалет вечером и в ванну утром, к телефону в коридоре, к ночной работе родителей. Разительный контраст с собственным домом и привычным укладом Длинного потряс. Перевернул. Завораживал и манил. И одновременно раздражал. Ему нравились яркие неординарные люди, приходящие к нам в дом, и не нравилось, что в доме всегда чужие люди.

Но журналистика его увлекла. Ему хотелось писать. И мы стали писать вместе, а Длинный еще делал к нашим интервью или репортажам фотографии. И его фотографии публиковали вместе с нашими материалами. И он уже подумывал бросить свой технический вуз и поступить на журфак. Правда, пока такими планами он делился только со мной. О реакции Солнца на такое решение даже подумать было страшно. А в остальном все было по-прежнему. Я бегала на лекции на свой факультет. Правда, теперь я перестала посещать английский. И на то были веские причины. После первого же занятия во втором семестре я подошла к преподавательнице и спросила, не помнит ли она по ИФЛИ мою маму. Она, конечно, помнила. Это была лучшая ученица. Это была умница. Это была девочка с горящими глазами. На нее все равнялись. Ею все гордились. Она помнила и мамину речь в Колонном зале. В общем, она была очень рада, что я мамина дочь. А я в этот момент совсем этому факту рада не была. У

столь гениальной мамы не может быть такой тупой дочери. А в своем очень посредственном знании английского языка я не сомневалась. И дернул же меня черт спрашивать у нее про маму. Везет мне на совпадения. И я решила больше на английский не ходить. Я всегда принимала очень мудрые и ответственные решения.

Я умудрилась не ходить на английский два года. И, естественно, не сдала пять зачетов по языку. Но этого как-то никто не заметил. Зато когда подошла очередь госэкзамена, все — и учебная часть, и деканат, и еще какое-то университетское начальство — встали в стойку. И приняли решение — если до 5 марта я не сдам злополучные пять зачетов и экзамен, меня отчислят. Я все сдала, но не к 5, а к 7 марта. Комиссия заседала 10 или 11 марта. И меня легко отчислили. Потому как в назначенные сроки я не уложилась. Конечно, это должно было произойти в самый неподходящий момент, когда вся моя жизнь трещала по всем швам. Но тогда, на первом курсе, такой поворот событий я не могла себе даже в дурном сне представить. И просто перестала ходить на английский язык.

Так в новых впечатлениях, эмоциях и увлечениях закончилась зима, наступила весна. За это время женился мой брат, японисту теперь не к кому было ревновать свою девушку, и они тоже поженились. На майские праздники мы с походной компанией отправились на байдарках по подмосковным речкам. Но почему-то с майскими праздниками нам не везло. Может, в тот год снег и не шел, но все равно было холодно и неудобно. А еще мы забыли соль и спички. Так мы отметили первую годовщину нашего знакомства. Мы с трудом верили, что с того пасхального воскресного дня прошел всего год. Слишком много всего вместил он в себя.



потом, как и должно было быть, началась очередная сессия. И опять мы с Натальей Леонардовной засели за тексты, учебники и конспекты. И опять перед ней стояла сверхзадача все сдать на пятерки. И опять мы больше всего боялись зарубежной литературы. И опять неподъем-

ный объем. Теперь это были Средние века и Возрождение вместе взятые. Да еще так удачно совпавшие с юбилеем Шекспира. Поэтому в каждом билете вторым вопросом был Шекспир. Теперь шпаргалки мы решили не писать. Мы опять честно поделили весь объем пополам. Я взяла себе своего любимого Шекспира, которого и так, кажется, знала наизусть. Но теперь я засела за появившиеся в большом количестве в связи с круглой датой книги и статьи о Шекспире. И с упоением пересказывала Наталье все трагедии и комедии вместе с комментариями из прочитанных книг. На Натальин рассказ про Средние века и Возрождение времени не осталось вообще. Но незнание всего остального курса меня не смущало, меня переполнял Шекспир. Это меня и погубило.

Зачет как всегда начался в 5 часов. Принимал его у нас очень серьезный, вьедливый и занудный аспирант. Поэтому к 11 часам ночи большую часть группы еще даже не запустили в аудиторию. А в это время аудитории положено освобождать и университет запирают. И нас всех — и группу, и занудного аспиранта — в прямом смысле выдворили. То есть отправили во двор. В скверик перед факультетом, где памятники Герцену и Огареву равнодушно взирали на происходящее. Хотя происходило что-то из ряда вон выходящее. Обеспокоенные долгим отсутствием детей родители, в основном папы, столпились за оградой скверика. В скверике, у центральной лестницы другого, не нашего факультета, под фонарем стоял преподаватель с ведомостью в одной руке и с билетами в другой и пытал очередную жертву, которая рядом с ним переминалась с ноги на ногу. А под другим фонарем, единственным не занятым преподавателем источником света, большая часть группы листала учебники и что-то беззастенчиво списывала, то есть готовилась к сдаче. Самым разумным родственником оказался Длинный. Он принес бутерброды, которые мы с Натальей Леонардовной на глазах у остальной оголодавшей публики быстро умяли. На всю группу эти бутерброды поделить было невозможно.

Подкрепившись бутербродами, мы с Натальей отправились под первый фонарь тянуть билеты. А потом с этими билетами переключались под другой фонарь, где смогли, наконец, выяснить, что же мы вытащили. Первый вопрос Наталья знала хорошо, а второй, шекспировский, я ей немножко напомнила. Потом я заглянула в свой билет. Второй, Шекспировский, вопрос меня, естественно, не волновал. Здесь я могла без подготовки идти отвечать. Но был еще первый вопрос, про трубадуров и менестрелей. Отвлекать Наталью на трубадуров и менестрелей я не стала, про них всего-то была страница текста в учебнике. Стоя под вторым фонарем, я эту страницу прочла. И отправилась под первый фонарь. Ответ на первый вопрос занял у меня пару минут и никаких дополнительных знаний не потребовал. На второй вопрос я отвечала уже минут тридцать. И конца нашей дискуссии не было видно. Зануда спрашивал у меня уже про пятнадцатую книгу о Шекспире. О предыдущих четырнадцати я ему все рассказала. Но пятнадцатая, которую я тоже читала, показалась мне лишней для одного зачета. И я решила сказать, что эту книгу я не читала. «Как? — опешил зануда, приготовившийся к долгой дискуссии. — Вы обязательно должны прочесть эту книгу. Прочтите и приходите завтра на зачет с другой группой». Такого поворота событий я, конечно, не ожидала. Но теперь что-то лепетать про то, что и эту книгу я тоже читала, было глупо. И было глупо стоять под этим фонарем. И совсем рядом куранты пробили уже час ночи. И еще человек пять ждали своей очереди под другим фонарем. И их родители, в основном папы, ждали за оградой. И меня ждал Длинный. Той ночью я так и не сдала зачет. Я уже, кажется, говорила, когда я все знаю, мне не везет.



Когда мы переехали на Герцена, я опять стала гораздо чаще видеться с Верой. Иногда мы с ней встречались вдвоем. Пару раз забежали днем по старой привычке в «Космос», посидеть в приятной обстановке, съесть порцию мягкого мороженого из длинного стаканчика, покурить и поболтать.

Но это было редко. Я вообще старалась без Длинного никуда не ходить. Мне казалось это каким-то предательством. И чтобы Вере было не скучно в нашей женатой компании, мы познакомили ее с приятелем Длинного, который тоже жил в высотке, только четырьмя этажами ниже. Я, конечно, понимала, что в момент выпускных экзаменов знакомство с новым мальчиком чревато осложнениями. Но Вера, в отличие от меня, была целеустремленным человеком, умела не разбрасываться и не отвлекаться. А разрядка и в момент выпускных экзаменов нужна. В общем, редкие свободные от экзаменов и подготовки к ним (у нас ведь тоже были экзамены — сессия) вечера мы проводили вчетвером. Чаще у Веры, которая теперь жила одна в большой комнате, а ее родители переехали в другую, освободившуюся после выезда соседей комнату в этой же квартире. Так у нас образовалась уже третья общая компания. Первые две — японисты и походники — обустроивали свой семейный быт и тоже сдавали сессии.

В тот вечер мы вернулись от Веры поздно. И были немножко навеселе. И не стали общаться с родителями, а сразу завалились спать. И папа не сказал мне, что сегодня днем обнаружил у моего кактуса новый росток. Так что я оставалась в неведении до утра. А утром, когда папа показал мне совсем маленький, едва проклюнувшийся, еще мягкий, не колючий расточек, я решила Длинному ничего не говорить. Во-первых, он ничего не знал об удивительных способностях кактуса предсказывать мою судьбу, во-вторых, ничто, кроме кактуса, о возможном будущем потомстве не говорило, и, в-третьих, Длинный вообще пока не хотел обзаводиться потомством и даже об этом говорить. Какое потомство, когда нам негде и не на что жить. Поэтому я ничего и не сказала. Но у меня появилась тайна. И я стала прислушиваться к себе. Но никаких подтверждений прогнозам кактуса не обнаружила. И на время про это забыла. То есть по полной программе переключилась на весеннюю сессию.

Длинный тоже сдавал сессию. То есть регулярно уезжал в библиотеку, подолгу не возвращался, а потом рассказывал



об очередном сданном предмете. Свою зачетку он никому не демонстрировал. Ведь он заканчивал уже четвертый курс и давно не находил в такой демонстрации ничего интересного. Через пару недель оказалось, что основным занятием Длинного в эту сессию был преферанс в общаге.

В конце июня, практически одновременно, выяснились три вещи. Во-первых, кактус оказался прав. Во-вторых, Длинный вообще ничего в эту сессию не сдавал, и его вот-вот отчислят. В-третьих, Татьяна и Дед собираются на Волгу на байдарках.

На фоне первой новости вторую родители Длинного восприняли лучше. То есть ее почти не обсуждали. Такие кардинальные перемены, как поступление на журфак, Длинный в последний момент решил отложить. Если поступать на журфак сейчас, то уж точно не поедешь на байдарках. А Длинный загорелся поехать на Волгу с Татьяной и Дедом. И потом, если сейчас поступать на журфак, это может очень осложнить отношения с отцом. Сейчас лучше сделать пробный первый шаг. Забрать документы из одного технического вуза и перевестись в другой технический вуз. Пусть и с потерей курса. Что он и сделал. Про журфак он даже не заикнулся. Так что вторую новость его родители переварили быстро и почти для Длинного безболезненно.

С первой новостью было совсем не так просто и гладко. Каждый имел по этому поводу свое особое мнение, свою позицию. И началась дискуссия. Папа и кактус были «за». Мама считала, что такие решения мы должны принимать сами. Что бы она ни сказала, она потом будет виновата. Поэтому она говорить ничего не будет. Что думал Солнце, я так никогда и не узнала. Но оставались еще Длинный и свекровь. И они оба были категорически «против». У Длинного аргументы были одни — нам негде и не на что жить. У свекрови аргументов и доводов было значительно больше. Например, такой: «Если вы думаете, что я буду сидеть с вашим ребенком, то вы глубоко ошибаетесь». Я была бы рада, чтобы она не сидела с нашим ребенком, и такие замечания на меня

впечатления не производили. Не действовали и вопросы: «А как же твой филфак? А как же ваша учеба? Ты хоть о муже подумай, как он сможет учиться, если будет маленький ребенок?» На такой вопрос можно всегда ответить вопросом: «А как все остальные справлялись?» Конечно, ее сын не мог быть всеми остальными, и тогда в бой пошла тяжелая артиллерия: «Я здоровая была, и то трое суток рожала, чуть не умерла. А ты точно умрешь».

Вы заметили, что присутствие беременной, как правило, навеивает на женщину воспоминания о своей собственной беременности или родах? Мать Длинного тоже вспоминала. И свои единственные роды, которые продолжались трое суток, во время которых она, крепкая, молодая, здоровая, чуть не умерла. И свои многочисленные беременности в первые послевоенные годы, когда аборт был запрещен. Врачи их, конечно, делали, но тайно, дома, за большие деньги и без обезболивающих средств. А один раз у нее была двойня. Но это выяснилось не сразу, а потом, когда врач уже ушел. Как вы думаете, сколько одна беременная может выслушать таких историй и не взбеситься?

Можно прямо кино снимать «Москва слезам не верит». Кстати, мы с главной героиней внешне неуловимо похожи. И одинаковые черты характера при желании уловить можно.

В результате всех дискуссий я решила сходить к врачу. Врач посмотрела и сказала: «Деточка, у тебя слабый плод. Тебе надо ложиться на сохранение». И отправила меня сдавать анализы. Анализы я сдала. Но мне стало совсем обидно. Такого безобразия я от себя не ожидала. А как же наследственность? Ведь у мамы никакой угрозы выкидыша не было. Правда, у бабушки, еще до мамы, была другая беременность, и, кажется, она закончилась выкидышем. Ну не могло же мне именно это и передаться. В общем, я решила никому — ни маме, ни Длинному не говорить о поставленном врачом диагнозе.

Потому что еще задолго до зачатия, когда еще на кактусе не появился второй росток, я уже твердо знала — я хочу ребенка, мальчика, похожего на Длинного. Но с ямочками, которых в



наших двух родах ни у кого не было. Но мне очень хотелось, чтобы у мальчика были ямочки. Кто-то мне сказал, что во время беременности надо украсть два яйца, и тогда у ребенка обязательно будут ямочки. Я несколько раз в магазине подходила к яйцам. Но у меня духу не хватило даже одно яйцо украсть. А еще кто-то очень умный сказал, что если долго на кого-то смотреть, то ребенок будет на этого человека похож. Однажды, в тот самый момент, когда все бурно обсуждали вопрос «быть или не быть», в троллейбусе напротив меня сидел негр. Ехали мы в этом троллейбусе долго. Я знала, что мне не надо смотреть на негра. И пыталась отвернуться. Но он все время был перед глазами. И я очень боялась, что ребенок родится черненьким.

Родился он желтеньким, но это всего-навсего была родовая желтушка.

В общем, я твердо решила рожать. Когда все аргументы были исчерпаны, Длинный предложил альтернативу: «Или аборт, или едем на Волгу на байдарках». Про себя он думал примерно следующее: «На следующий год, если Чудо решит рожать, уж точно ни на Волгу, ни на байдарках не поедешь. Тогда можно будет и на журфак поступать. Совместить приятное с полезным». Услышав про байдарки, не выдержала мама: «Ты там, на необитаемом острове, кровью истечешь, ни одного врача рядом». Хотя про угрозу выкидыша мама ничего не знала. Выслушав всех, я никого не послушалась. Когда мне про ямочки или про негра говорили, то я верила. А тут я сама знала, что делать. Я прекрасно понимала, что через месяц мне уже никто не будет говорить про аборт, все возможные сроки пройдут. А этот месяц лучше провести на необитаемом острове, нежели в разговорах и нервотрепке. Я давно научилась принимать решения. Все-таки мне было уже 19 лет. Я решила ехать на Волгу.

мы стали собираться в дорогу. Эти сборы, может быть, и не очень похожи на описанные в бессмертном произведении Джерома К. Джерома. Но все сборы хоть отдаленно напоминают друг друга. И всегда в последний момент все что-то

забывают. И всегда вдруг происходит что-то непредвиденное и из ряда вон выходящее. Но у нас поначалу все складывалось на редкость удачно. По традиции Дед и Длинный постриглись наголо. Зато с покупкой билетов традиция была нарушена. Мы приобрели билеты в купе. Ехать в поход с байдарками в купе было верхом пижонства. И ограниченные средства диктовали традиционный общий вагон. Но месяц назад Татьяна и Дед завели щеночка, который, естественно, тоже отправлялся с нами в путешествие. А щеночков в общий вагон не пускают. Только в купе. Мы, правда, немножко сэкономили, взяв билеты не на самый скорый поезд. Поезд отправлялся из Москвы в 0 часов 10 минут. Мы решили ехать до Волгограда, а оттуда уже сплавляться вниз по Волге до Астрахани. Но обратные билеты мы брать не стали. Все может измениться. Зачем себя связывать жесткими датами. Карты у нас были. И места стоянок мы наметили. Примерно. Но опять же решили смотреть по обстоятельствам. Внутренне все уже настроились на то, что это будет не настоящий байдарочный поход, а так, туристический отдых. С большим количеством стоянок и небольшим количеством переходов. Когда в компании беременные и щенки, длительные переходы планировать глупо. Может, мы и не дойдем до Астрахани. Не в этом счастье. Главное, чтобы с погодой повезло. Чтоб дождей поменьше было. Но мелкий дождь, начавшийся в вечер нашего отъезда, нас не смущал. Уезжать в дождь — хорошая примета.

Итак, вещи были собраны, билеты лежали во внутреннем кармане штормовки Длинного, вместе со всеми деньгами и документами. В моей куртке внутренних карманов не было. И вообще, женщинам доверять деньги и документы глупо. И теперь мы, сидя на 20-м этаже, ждали подачи заказанных такси.

Так как состав действующих лиц немножко отличался от известной повести и по количеству, и по полу, то есть вместо трех друзей и собаки было два друга, две жены и полуторамесячный щеночек, одной лодкой мы обойтись не могли. Тем более в байдарочном походе. Поэтому у нас было две байдарки. Ехать с байдарками, рюкзаками с одеждой и провизией и со щенком

на метро мы не решились. Тем более что все знали, что я беременна, а значит, поднимать тяжелые вещи мне нельзя. Но обе байдарки, и Длинного, и Деда, были дома у Дедов, куда их отвезли сразу после майского похода. В нашей комнате на пятом этаже только байдарки не хватало. А на 20-м этаже кладовку занимали две пары лыж, Длинного и мои, и до сих пор не разобранные, ждущие лучших времен свадебные подарки. И байдарку там разместить уже было сложно. Дед сам предложил оставить нашу байдарку до лета у него, все равно скоро пойдем еще куда-нибудь. И все с этим согласились. Так что обе байдарки были теперь у него. А телефона в квартире у Дедов не было. По этой простой причине оба такси были заказаны на одно и то же время и по одному адресу — на площадь Восстания. Где телефон, естественно, был.

Но, видимо, диспетчер не понял, зачем людям два такси по одному адресу на одно и то же время. И прислал только одну машину. А в одну машину мы впятером с двумя байдарками и четырьмя рюкзаками вместиться не могли. На первом такси, которое пришло вовремя, даже несколькими минутами раньше, уехал Длинный. Доехал до Дедов, погрузил половину вещей, забрал Татьяну и щенка, и они отправились на вокзал. Приехали, разгрузились, дошли до перрона. Состав еще не подали. Впрочем, все шло прекрасно. Оставив Татьяну с вещами и щенком на перроне, в месте предполагаемой остановки нашего второго вагона, Длинный вернулся на площадь, встречать нас с Дедом. А нас все не было и не было. Пока я не совсем ласковым тоном объяснила непонятливому диспетчеру, зачем нам два такси, и пока он это второе такси нашел и прислал по нужному адресу, прошло минут пятнадцать или двадцать. И пока я доехала на этом такси до Деда, и он погрузил оставшиеся вещи, и мы, как назло, еще постояли на паре светофоров, к нашему прибытию на вокзал до отхода поезда оставалось от силы минут десять.

Когда мы, наконец, подъехали, мужчины схватили вещи и побежали, а мне велено было стоять на месте и ждать с пеналом (это такая часть байдарочного снаряжения), чайником и одним рюкзаком. Длинный с Дедом разгрузились около

Татьяны. Место остановки второго вагона было угадано правильно. Деду и Татьяне оставалось только побросать вещи и сесть в вагон, а Длинному еще надо было бежать за мной. Что он и сделал. Мы с ним успели впрыгнуть в последний вагон за пару секунд до отправления поезда. И стоя в тамбуре этого последнего вагона, пытались перевести дух после пробежки. А поезд потихоньку начал набирать скорость. Когда мы поравнялись с местом, где Длинный оставил Татьяну, Деда, песика и вещи, выяснилось, что они и сейчас там. На опустевшем перроне. Гора вещей, песик на руках у Татьяны и Дед, что-то кричащий и размахивающий руками. Что именно он кричал, разобрать было нельзя. Я стояла рядом с проводницей, и мы уже поравнялись с тем местом, где были наши друзья, и уже проехали его. И чтобы понять, что они кричат, я высунулась из вагона и развернулась лицом к ним, то есть против хода поезда. Но все равно ничего не поняла, что с ними произошло. И тогда я прыгнула. Головой вперед. Против хода поезда. Я уже давно не занималась спортом. А с поездов вообще никогда не прыгала. Так что опыта у меня не было. Ума, видимо, тоже не было. И чувства самосохранения. Зато было удивительное, воспитанное годами, чувство коллективизма. Если человек попал в беду... А то, что Деда оказались в беде, у меня никаких сомнений не было. Я упала плашмя в пяти сантиметрах от столба. Испуганная проводница захлопнула и заперла перед носом Длинного дверь. И поезд умчался. Вдаль.

А мы остались на перроне. Шел мелкий обволакивающий дождь. И щенок жалобно скулил. Наверно, ему было холодно. А мне было даже очень жарко. Поэтому, встав на ноги, я первым делом сняла с себя куртку и укутала в нее щенка. От того, что говорил Дед, мне становилось только жарче. А еще мне становилась понятна вся бессмысленность моего прыжка.

В наше купе продали билеты дважды. Когда подали состав, Татьяна могла бы сесть, потому что она была первой. Но она была одна. И не села. А потом, когда Длинный с Дедом прибежали, Длинный показал проводнику билеты и побежал за

мной. А Татьяна с Дедом попытались сесть, но оказалось, что наше купе уже занято. И ребят в вагон не пустили. А билеты были у Длинного. А без билетов, которые проводник видел минуту назад, но ничего тогда не сказал, теперь он даже разговаривать не хотел. Поэтому Татьяна и Дед остались на перроне. И кричали они о том, чтобы Длинный бросил им билеты или деньги. Потому что все билеты и деньги были у Длинного. И мой прыжок все равно ничего не изменил. Но с этим смириться я не могла.

Я отправилась к дежурному по вокзалу. Тот выслушал мою сбивчивую тираду, сообщил, что следующий поезд отправляется в Волгоград через сорок пять минут. Но на него без билетов нас посадить не могут. А у того поезда, на котором уехал Длинный, как раз через сорок пять минут будет первая остановка, и там все проверят — документы и билеты, и тогда нам уже смогут дать другие билеты на другой поезд, но тот, другой поезд будет только через 12 часов. Так что нам торопиться некуда. Но с собачкой в здании вокзала находиться нельзя, так что мы можем пока подождать на улице, под дождем. А через часочек опять к нему зайти. Но только кто-нибудь один и без собачки. Перспектива была шикарная.

Я понуро выходила из здания вокзала, направляясь к месту, где оставила под дождем Татьяну и Деда. И попала в объятия совершенно бледного и ошарашенного Длинного. Оказалось, что когда я так удачно прыгнула с поезда и приземлилась рядом со столбом, кто-то закричал: «Пьяная баба вывалилась», и проводница заперла дверь, в тамбуре было еще несколько человек. Длинный попытался что-то объяснить проводнице. Но она его и слушать не хотела. И тогда другие пассажиры ее слегка прижали к стенке, отобрали ключи, открыли дверь, дернули стоп-кран, Длинный прыгнул, а вслед за ним выбросили стоящие в тамбуре вещи — пенал, рюкзак и чайник. Но пока зажимали проводницу и открывали дверь, поезд уже проехал километра три. Длинный побежал на вокзал, оставив все вещи в кювете. Он влетел в медпункт, где на лавках мирно дремали врач и медсестра, и завопил: «Где беременная, у которой выкидыш?»

Другого исхода событий он уже не предполагал. А ничего не понявшие тетки высказали предположение, что ее, беременную, у которой выкидыш, увезли в Склифосовского. Благо это совсем близко. Я в этот момент выходила от дежурного по вокзалу. А Длинный из медпункта, который оказался рядом с кабинетом дежурного. И мы неожиданно столкнулись. И уже вместе перешагнули порог соседнего кабинета.

Дежурный сначала увидел меня с собачкой и уже открыл рот, чтобы сказать, что он все уже объяснил и пока сделать ничего не может. Он даже начал произносить эту фразу, но вслед за мной появился Длинный и уже протягивал дежурному билеты. Дежурный не стал выяснять, каким образом Длинный вместе с билетами оказался здесь. Он просто дал кому-то указания по телефону поменять нам билеты. И нам их очень быстро поменяли. На следующий поезд, который отходил уже через двадцать пять минут. Так что перед Татьяной и Дедом мы предстали уже вместе и с билетами. Но оставались еще вещи в кювете — пенал, рюкзак и чайник. На сей раз билеты поделили, нам с Татьяной выдали деньги на носильщика, и наши стриженные наголо мужья устремились за брошенными где-то в кювете вещами. Нас без проблем пустили в вагон, и носильщик затащил за отдельную плату все вещи прямо в купе. И щенок уже не скулил. Но до отхода поезда оставалось всего пять минут, а наших мужей до сих пор не было. Тогда я решила пойти к начальнику поезда, чтобы объяснить ему ситуацию и попросить его немножко задержать отправление поезда. Он выслушал мои невнятные, сбивчивые и взволнованные объяснения, и посоветовал скорее садиться в вагон, потому что поезд через две минуты тронется. По расписанию. Ровно в час ночи. И я села в вагон. И поезд действительно тронулся. Но в этот самый последний момент на подножку нашего вагона успели прыгнуть и Длинный, и Дед. И даже все вещи были с ними.

Мы сидели в купе. И поезд куда-то ехал. И мы еще не понимали, куда мы едем. И у нас не укладывалось в голове, что между отправкой того и этого поезда прошло всего 50 минут. Нам казалось, что прошло несколько часов или, может быть,

целая вечность. И над головами наших стриженных наголо мужей были нимбы. Может быть, это была лишь испарина над лысыми головами, появившаяся от мелкого дождя и быстрого бега. Но я видела над их двумя головами настоящие нимбы. Как бледное облачко. Но очень ровные. Только они, кажется, не светились.

А у меня на голове шишка была видна даже под копной нестриженных волос. И весь бок, несмотря на куртку, брюки, свитер и майку, был ободран до крови. Но больше ничего плохого не произошло. Может быть, мой ангел-хранитель оказался опять рядом. Хотя даже он, наверно, уже понимал, с кем имеет дело. Этот прыжок был так же необходим, как мой поход в первом классе с подругой к учительнице. В этой жизни я уже успела совершить много глупостей. Но это была, наверное, самая большая глупость.

Но мы все-таки ехали. Хотя еще и не очень понимали, куда и зачем.



выбранному нами еще в Москве, по карте, месту первой стоянки, где нам предстояло собрать байдарки, надо было добираться от Волгограда километров двадцать на местном автобусе. А потом еще с километр пешком. Когда мы наконец добрались, оказалось, что место даже лучше, чем мы предполагали. Абсолютно безлюдное, во-первых. Пологий спуск к воде, что особенно радовало. Это, во-вторых. В-третьих, широкая песчаная полоса берега, более чем достаточная и для сборки байдарок, и для двух палаток, и для костра. И в-четвертых, место оказалось очень красивым. От реки шла прохлада. И река была величественно спокойной и даже чистой. И рядом был лес. И в лесу было полно сухих веток, необходимых для костра. И он тоже дышал прохладой. В общем, мы почувствовали себя первооткрывателями. И хотя расслабляться было еще рано, необходимо было собирать байдарки, разжигать костер, готовить еду, разбирать вещи, ставить палатки и т. д. и т. п. Но мы все, не сговариваясь, растянулись на песке, и только счастливый щенок, почувствовавший, на-

конец, свободу, не переставая, носился от кромки леса к реке и от реки к лесу.

Здесь должно было быть несколько глав. О том, как байдарки отказывались собираться. О том, как комары нещадно сжирали беременную путешественницу, и она, поутру выбравшись из спального мешка и марлевого полога, на четвереньках доползала до Волги и минут по сорок отмачивала все четыре опухшие конечности. О том, что 65 год оказался неурожайным. И в очереди за хлебом, который то ли привезут, то ли нет, в деревне можно было простоять 4 или 5 часов. Один раз в такой очереди наша героиня упала в обморок. И пришла в себя она в совершенно незнакомой комнате, прохладной и чистой. В чьей избе она оказалась и как туда попала, так и осталось для нее неизвестным. С хлебом было плохо, зато помидоров было навалом. Ведро — 10 копеек. Но это не в городе, не в поселке и даже не в деревне. Это у большой семьи лесника. Два старших ребенка лесника уже школьного возраста, но их еще в школу не отдавали, ждали, когда и третьему пойдет восьмой год. В этой семье никто не мог поверить, что мы «из самой Москвы». «А в Москве есть помидоры?» — «Есть». «А откуда?» — «Из Болгарии» — «А это где?» (И как объяснить, что ни волжских, ни ростовских помидор в Москве нет.)

А еще надо, обязательно надо рассказать, как Длинный каждое утро ходил в деревню за молоком, творогом, маслом и другими, очень полезными для беременных продуктами. Но наша героиня совершенно не могла есть что-то одна. Поэтому она под разными предложениями отказывалась есть и молоко, и творог. И тогда, чтобы добру не пропадать, их поглощали все остальные члены коллектива. И щенку иногда перепадало. Но на следующее утро Длинный опять шел за полезными молочными продуктами. И приходилось придумывать другую историю, по которой сегодня ни молоко, ни сметана в горло не лезли.

А еще был сом. У него был только один ус. Он попался на удочку в тот день, когда еды и без него было много. И его не сварили. А привязали на леске к байдарке. И он несколько дней с нами путешествовал. Его кормили. А когда пришла его очередь кормить нас, героиня категорически отказалась не только готовить, но и есть этого сома. Потому что он уже был родной. Был членом коллектива. И она видела, ка-

кими преданными глазами он смотрел на всех, включая щенка. И на нее он смотрел.

А еще была пшенная каша, приготовленная рыбаками, со свежайшей, только что вынутой черной икрой. Крупинки и икринки были почти одного размера. И пшенки и икры в этом ни с чем несравнимом блюде было поровну. Кашу солили. А потом добавляли свежую, не соленую, икру. Такое блюдо героиня ела только один раз в жизни. Но на всю оставшуюся жизнь запомнила.

А еще — в какой-то момент устав от походной жизни — Чудо и Длинный, оставив Татьяну, Деда и щенка на стоянке, взяли билеты на теплоход и отправились вверх по течению — в Волгоград.

На теплоходе у наших героев была отдельная каюта. И можно было, наконец, поспать после бессонной ночи на пристани. Но, проснувшись, герои захотели есть. У них были деньги на еду. И на теплоходе был ресторан. Но их туда не пустили. Потому что у героини не было юбки. Она была в брюках. Не в шортах, не в шароварах, не в спортивных трико, а в брюках. Но в 1965 году женщин в брюках в рестораны не пускали, даже на теплоходах. И тогда за небольшую дань уборщица смиростивилась над голодной героиней. И дала ей свой халат, в который могли поместиться сразу две героини. Почему-то в таком неказистом виде в рестораны пускали. И все кончилось благополучно. Героиня не умерла от голода. Они вместе с Длинным добрались до Волгограда, где в этот момент продолжали широко отмечать 20-летие Победы. По этому поводу в недавно переименованном городе была ГДРовская выставка. И, казалось, полгорода стояло в очереди за целлофановыми пакетами. Целлофановые пакеты были тогда в диковинку. Но эта нескончаемая очередь вызывала вселенскую тоску и грусть.

И хотя эти две или три главки так и не были написаны, их краткое содержание может быть важно для дальнейшего повествования.



В общем, посещение славного города у нас вызвало разочарование. К тому же билеты на теплоход мы не достали. А провести еще одну ночь на пристани нам совсем не хотелось. И тогда мне пришла в голову гениальная идея съездить в Волгодонск к папиному другу дяде Васе Дейнеко. Я совер-

шенно не представляла, в городе они сейчас или на даче, или вообще уехали отдыхать. Но то, что все его многочисленное семейство отсутствует одновременно, мне показалось маловероятным. Правда, их адреса у меня не было. Но я ни минуты не сомневалась, что такого человека, как дядя Вася, в таком небольшом городе, как Волгодонск, каждый знает. Моя уверенность на Длинного подействовала. Мы нашли автовокзал, купили билеты и сели на последний в этот день автобус, отправляющийся на тот берег. Минут через сорок мы достигли моста, и тут перед нашими глазами предстал плакат «Стотысячный Волгодонск приветствует Вас!». Может, на плакате это было написано по-другому. Но про сто тысяч жителей было написано. И Длинный грустит. По фамилии и имени, даже без отчества, а отчество я не помнила напрочь, я с детства привыкла называть всех друзей и знакомых родителей дядями и тетями, найти человека в стотысячном городе поздно вечером, когда все справочные бюро давно закрыты, Длинному не представлялось возможным. А обратных автобусов сегодня в Волгоград уже не будет. И где ночевать в этом Волгодонске, было непонятно. Он уже всерьез злился на мою уверенность, апломб и глупость вместе взятые. Опять я его втравиваю во что-то. Только деньги на автобусные билеты зря потратили. Он так злился, что я тоже начала нервничать. Я и не предполагала, что Волгодонск такой большой город. Сто тысяч жителей даже на меня подействовали. И я уже не была абсолютно уверена, что все сто тысяч дядю Васю знают. В общем, сомнения закрались в мою душу, но я решила пока это не демонстрировать. Еще успею сполна получить от Длинного моральную трепку. То есть бурчания, упреки и язвительные замечания в комплекте с недовольным выражением лица.

Автобус остановился. Мы приехали. И оказались на автобусной станции, где было полно таких же приезжих, как мы. И у них было совсем глупо спрашивать про дядю Васю. И куда идти дальше тоже было непонятно. Поэтому я подошла к милиционеру. От полной безысходности. Но дежуривший на автобусной станции милиционер, как это ни странно, дей-

ствительно хорошо знал дядю Васю, и даже знал его адрес, и его телефон тоже знал. Через 15 минут нас радостно и громко встречали и дядя Вася, и его жена, тетя Тая, и их многочисленные уже взрослые дети.

Дядя Вася и тетя Тая хорошо помнили Длинного. Год назад, в прошлом июне, они жили у нас дома дней десять. Как раз тогда, когда приехала моя родственница с мужем и дочкой, которой не давали покоя наши поцелуи. Когда приехали дядя Вася и тетя Тая, у нас уже было полно живущего во всех комнатах народу, и положить вновь приехавших было, в общем-то, некуда. Тогда родители решили спать по очереди. Сначала спали жены, то есть мама и тетя Тая, а их мужья в той же комнате вели разговоры. А потом спали мужья, а жены беседовали. А на следующий день, оставив дядю Васю и тетю Таю в своей комнате, родители перебрались на недельку-другую пожить к друзьям. Дейнекам это, кажется, показалось не очень удобным. Но мама, смеясь, вспоминала, как дядя Вася гулял всю ночь, когда она приезжала к папе на Куйбышевскую ГЭС, когда папа был на поселении, и они с дядей Васей жили в одном бараке. В общем, оказалось, что в наших семьях это давешняя традиция уступать свою кровать и комнату другу. А долг платежом красен. И родители уехали, а Дейнеки остались.

Тогда, год назад, они видели Длинного несколько раз, когда он ко мне приходил, и догадывались о нашем романе. Но о дальнейшем развитии событий они ничего не знали. Ни про мое поступление в МГУ, ни про свадьбу. Ну, и про беременность, естественно, тоже не знали. Они писали нам поздравительные открытки к каждому празднику. Не только к Новому году или 8 Марта, но и к 7 Ноября и к 1 Мая. Но мама и папа почему-то ни на чьи поздравительные открытки не отвечали. Мама вообще не умела писать короткие письма. А на длинные у нее времени не хватало.

В общем, так получилось, что Дейнеки ничего про нас не знали, но ужасно нам обрадовались, хотя мы и свалились как снег на голову, да еще ближе к ночи. Естественно, нас и накормили, и напоили, и спать после долгого застолья и

расспросов уложили в отдельной комнате. Первый раз за две недели мы спали не в спальном мешке, не в палатке, не на полу пристани, а в кровати на чистых простынях. И без единого комара. Но меня больше всего радовало не это. Хотя все это было очень приятно.

Я была безумно горда всем происходящим, включая, естественно, тот факт, что первый встречный в чужом стотысячном городе действительно знал дядю Васю. И Длинный, кажется, опять поверил в мои незаурядные способности находить выход из безвыходной ситуации.



о ли мы неправильно рассчитали, то ли забыли советы прошлого года, когда собрались у меня дома после приполярного Урала, относиться к этому серьезнее, но денег нам не хватило.

Не то что на купе или плацкарт, но даже на сидячие места. С одной стороны, у нас был общий котел, то есть всю имеющуюся у нас наличность мы сложили в один карман — Длинного. Правда, изначально, в этом «котле» наших денег было больше. Но мы и тратили больше. Например, устроили себе экскурсию в Волгоград и даже в ресторан ходили на пароходе. А Дед с Татьяной в Волгоград не поехали. Так что теперь трудно уже посчитать, сколько у кого в «котле» осталось. Но это и не имело значения. Деду и Татьяне все равно взять было негде. Ведь у них не было родителей. А нам было проще, нам могли родители прислать. Но почему-то до сих пор не прислали. То есть они уже несколько дней назад выслали, но перевод до сих пор не пришел.

Собрав все до копеечки, мы все-таки умудрились купить четыре сидячих билета на какой-то совсем не скорый поезд. Щенок, который уже немножко подрос и набрался ума, должен был тихо сидеть в рюкзаке и не подавать признаков жизни. Хотя бы вначале. А там уж как повезет. Может, и не высалят. Все равно других вариантов не было.

Но после покупки билета не осталось ничего. А нам еще сутки ехать в этом совсем не скором поезде, до отхода которого оставалось уже менее часа. И уже прошло часа два, как мы

последний раз ходили на почту. И еще теплилась надежда, что за эти два часа деньги появились и ждут не дождутся нас на почтамте, до которого не так уж далеко, минут десять быстрым шагом.

Со всеми вещами на перроне решили оставить меня, все равно кому-то надо было остаться с вещами, а я хожу медленнее всех.

Но собаку мне не оставили. Во-первых, чтобы пес не мозолит вокзальным служителям глаза. Во-вторых, чтобы он нагулялся на сутки вперед.

Ждать, да еще в неведении, да еще когда нет ни одной скамейки, и ты не можешь сесть, и нет книжки, которая бы позволила бы отвлечься, да еще когда ты не можешь отойти от горы вещей, тяжело. И морально, и физически. Ждать вообще тяжело. А тут еще столько отягчающих обстоятельств. Но то ожидание превратилось просто в муку. В десяти шагах от меня, от нашей груды вещей, прямо на перроне продавали жаренные пирожки с мясом. За 10 копеек. И запах этих пирожков был такой сильный. И некуда было от него деться. И так хотелось съесть хоть один, единственный пирожок. Но 10 копеек не было. Я сделала три шага в одну сторону, потом пять в другую, потом увеличила радиус между мной и вещами еще на пару шагов. Я не замечала ничего вокруг. Я даже не смотрела на вещи. Я сантиметр за сантиметром исследовала асфальт под ногами. А вдруг кто-нибудь случайно обронил 10 копеек? Но нигде, даже в радиусе десяти шагов ни одной копейки не было. И ребят не было. И не было известно, получают ли они деньги. И запах пирожков был все сильнее. И некуда было от него спрятаться.

10 копеек я не наша. Деньги не успели прийти. Но до Москвы мы добрались.

Н ам крупно повезло. Уже больше трех месяцев мы провели с Длинным вдвоем. То есть без родителей. Сначала месяц на Волге. Потом, когда мы вернулись, уехали мои родители. Тоже на Волгу. В Жигулевск.

Проводив родителей на Казанский вокзал, мы купили домашние продукты — хлеб, колбасу, еще что-то. И уже собрались было на Герцена, домой, где целый месяц квартира будет в нашем безраздельном пользовании. Но дома еды не было. А хлеб с колбасой — это все-таки сухомытка. И мы незаметно для себя завернули в ресторан «Москва». В огромном зале было мало посетителей. Но практически все официанты собрались у одного столика, где сидели четверо посетителей. Остальных официанты не замечали. Немножко подождав, мы достали из сумки свой хлеб, свою колбасу, намазали ее ресторанной горчицей и стали жевать. Так было приятнее коротать время в ожидании. Официантка наконец подошла. Но вместо того, чтобы принять заказ, долго нам рассказывала, что же у них такое произошло. Эти четыре посетителя приехали с Севера, остановились в гостинице «Москва», что-то заказали в номер. В том числе ящик коньяка. Но это, кажется, было вчера. А сегодня они с утра продолжали застолье уже в ресторане. А когда они попросили счет, то у бедного официанта глаза округлились. Цифра была почти четырехзначной. Тогда все и собрались, чтобы коллективно пересчитать. Ну не может такого быть, чтобы четыре человека даже за сутки на такую сумму наели. Пересчитывали раза три. Но сумма не уменьшалась. Надо сказать, что гости с Севера этому ничуть не удивились. Даже, кажется, обрадовались. Поведав нам эту душещипательную историю, официантка наконец решила принять заказ.

— Пожалуйста, жульены...

— Что вы, это такие ма-а-аленькие кастрюлечки, вы же не наедитесь. Давайте я лучше вам борща принесу.

То ли ее смутили наши бутерброды с их горчицей, то ли она была сердобольной от природы. А может, просто было такое время.

Так начался месяц нашего пребывания на Герцена.

А теперь, когда Солнце уехал в отпуск в санаторий, свекровь тоже уехала в отпуск. До праздников было далеко. И стол заказов, где она работала, был не очень загружен. И ее легко

отпустили. Она поехала в свой родной город, где жили все ее родственники и друзья и где она уже несколько лет не была. А как известно, ее родной город Куйбышев тоже расположен на Волге. Какой-то просто волжский год у нас у всех получился.

После отъезда свекрови мы на месяц перебрались на 20-й этаж.

Такой удачей, как отдельная квартира и без родителей, решили воспользоваться и наши друзья. Оставив дома беременных жен (а по возвращении с Волги выяснилось, что и Татьяна беременна, и Валюха, и Галка), мужская часть компании собралась у нас вечером поиграть в преферанс. Игра предполагалась на всю ночь. Пока метро не откроется. Дед жил с нами рядом, у зоопарка. А Кольке и Черныху было добираться далеко. Поэтому сразу договорились играть до утра. Я всегда любила гостей. И как истинная сова только приветствовала ночные бдения. И преферанс я люблю. Мне это напоминает мое детство, игру родителей на даче. Конечно, мне тоже хотелось поиграть. Но как примерная хозяйка я решила не мешать мужской компании, а, наоборот, обеспечивать их всем необходимым — чаем, кофе и бутербродами.

В момент очередного кофе-чаепития мужчины начали выяснять, кто из них раньше станет отцом. По всему получалось, что Длинный. Что ему, естественно, понравилось. Он уже не вспоминал, что еще три месяца назад был категорически против своего возможного отцовства. Сейчас он был горд тем, что скоро будет отцом, да еще и первым в компании.

— А мы решили назвать ребенка Сашкой, — сказал Черных.

— А ты уже знаешь, кто родится? — удивленно спросил Колька.

Тогда не было никакого УЗИ, и будущий пол ребенка определяли только бабки по одним им известным приметам.

— А нам все равно, кто родится. Мы с Валею уже давно решили, кто бы ни родился, девочка или мальчик, будет Сашкой. Чтобы не нарушать семейную традицию. Валя Черных,

Женя Черных, Саша Черных. А там уж и не важно, мальчик или девочка.

— Вам всем все равно, кто родится, — сказал Колька, обведя компанию взглядом. — А мне надо, чтобы родился мальчик.

И увидев недоуменные взгляды окружающих, пояснил:

— Галка больше рожать не сможет. У нее отрицательный резус.

Так посреди ночи за преферансом неожиданно возник резус. Это было новое и мудреное слово. И совсем было непонятно, что оно значит. И при этом было обидно, что у кого-то он есть, а у меня нет.

Мне уже было не до игры. То есть не до преферанса. И утром я первым делом отправилась к врачу, на всякий случай, узнать, а вдруг у меня тоже есть отрицательный резус.

К концу третьего месяца беременности вместо обычной карты пациента заводили специальную — карту роженицы. Смешное слово с ударением на второй слог переводило тебя в другое измерение, в другую, более важную категорию.

Но я с того первого посещения, когда врач сказал, что мне надо сдать анализы и ложиться на сохранение, больше в женскую консультацию не ходила. А врач решила, что я где-то без ее направления по блату сделала аборт. И когда она увидела меня на 20-й или 21-й неделе беременности, то очень удивилась. И, конечно, никакой карты роженицы у нее на меня не было заведено, а была обычная карта, в которой были вклеены анализы почти четырехмесячной давности. Анализы я еще в тот самый первый приход сдала. А за результатами пришла только сейчас. Врач посмотрела на меня, посмотрела на анализы, а потом так грустно то ли спросила, то ли сообщила:

— Деточка, а ты знаешь, у тебя отрицательный резус?

— Правда? — радостно воскликнула деточка, окончательно добив врачиху, которая никак не могла понять, чем она меня так обрадовала. По ее медицинским понятиям в отрицательном резусе ничего хорошего не было.

Рожденная восьмимесячной, левша, с отрицательным резусом, прожившая почти двадцать лет на пятом этаже четырехэтажного дома. Конечно, у меня должно быть все не как у людей. Видимо, для полного комплекта исключительности мне не хватало только отрицательного резуса.

И вдруг я ощутила внутри себя движение. Мой малыш зашевелился. Этим потрясающим ощущением хотелось все время, с каждым новым движением, с кем-нибудь поделиться.

а нашу полуторалетнюю совместную жизнь это был уже четвертый или пятый переезд. С 20-го этажа на пятый. И наоборот. Теперь мы опять жили на пятом.

На нашей почти тридцатиметровой кухне со сводчатыми полукруглыми окошками соседи по-прежнему судачили про «красную линию», на которой стоит наш дом, и что его скоро снесут, а нас выселят. И это было радостно и тревожно. И хотелось скорее вырваться из этого кухонного мира.

Но «красная линия» прошла стороной, через Арбатскую площадь, посреди которой стояла булочная, через Собачью площадку, через аптеку со ступеньками.

Великое московское переселение, казалось, не тронуло нас. Наш дом не снесли. И соседи успокоились. Только количество их почему-то стало уменьшаться. Мои школьные друзья и наши соседи получали новые отдельные квартиры в разных незнакомых далеких концах города.

В этой квартире родилась мама. А потом родились Нина и Гера, дети бабушкиного брата Исаака. И дети другого бабушкиного брата — Ефима. И еще другая Нина, дочь Моисея и Куны, которая была бабушкиной племянницей. А потом дети Нины, и сын Герки — Мишка, и сын другой Нины — тоже Мишка.

Как-то очень нелитературно получается. Ну, спрашивается, зачем в одной квартире две Нины, а потом два Мишки (не считая моего папы). Которые еще все друг другу и родственники (опять же не считая моего папы). Одна Нина другой



Нине двоюродная тетя, а один маленький Мишка другому маленькому Мишке троюродный дядя.

Тогда я еще не знала, что у моего отца за два года появятся два внука — и оба Андреи. Но тому были объяснения. Сначала младшая дочь (то есть я) родила сына, (то есть папиного внука) и назвала его, как хотела, хотя ее муж (то есть Длинный), надеялся, что у ребенка будет такое же имя, как и у него. Но его надеждам не суждено было сбыться. А потом старшая папина дочь (то есть моя красивая сестра) тоже родила сына, (то есть другого папиного внука). Но ее муж никак не хотел согласиться ни на одно имя, которое моя сестра предлагала. Ему (то есть мужу) во всех предлагаемых именах мерещились поклонники, кавалеры, хахали или любовники моей красивой сестры. Только в имени Андрей он не углядел ничего подозрительного. Не было в окружении моей сестры ни одного Андрея. Так у папы стало два внука Андрея. Но это жизненная история. Тем более что она еще не произошла. Даже я еще не родила, а моя красивая сестра даже про это еще и не думала. Это я случайно вперед событий забежала.

А у соседей-родственников совпадения, которые просто мешают литературному произведению. Приходится замедлять темп, останавливаться, отходить в сторону, чтобы еще раз объяснить кто кому кто.

Исаак родил Нину и Геру. Гера родил Михаила. И Моисей родил Нину, и Нина родила Михаила. Просто библейская история какая-то. И имена в ней библейские.

Кстати, о Библии. Ведь ее считают самым гениальным литературным произведением. Но даже в ней имена повторяются. А что же говорить про жизнь, которая лукавее самых гениальных произведений искусства.

ро Библию мне сейчас легко рассуждать. Я только вчера сдала зачет по иностранной литературе, где меня попросили сравнить «Потерянный рай» Мильтона с Библией. И я блистательно ответила. А первым вопросом была «Манон Леско». И я тоже прекрасно отвечала. Я, кажется, уже го-

ворила, когда у меня знания посредственные, я получаю отличные отметки и отзывы. Но здесь, с «Манон Леско» и «Потерянным раем», было просто невероятное совпадение.

Конечно, со своей группой я никаких экзаменов и зачетов не сдавала. Все-таки я была в декретном отпуске, и надо было пользоваться своим положением. И хотя до родов оставалось чуть больше месяца, но живот у меня по-прежнему был совсем незаметен. А это для экзаменов и даже для зачетов большой минус. Но когда ты приходишь не со своей группой, а с отрывным талоном из деканата, тут уж можно и на словах объяснить, что ты беременна. И даже если не объяснять, а так, намекнуть, то и самый невнимательный профессор поймет о чем речь. И кому захочется будущую маму травмировать и нервировать дополнительными вопросами. Вдруг она на нервной почве прямо тут и родит. А если уж совсем плохо даже с основными, а не то что с дополнительными вопросами, то можно взять зеленое яблоко, кстати, я яблоки не люблю, положить его на парту и жалобно так попросить: «Можно я яблоко пожую, а то меня что-то подташнивает». Ну, тут уж можно не волноваться. Тройка тебе обеспечена. Будущая мама, которой через месяц рожать, и которая себя плохо чувствует, видите, подташнивает, вместо того, чтобы сидеть дома в положенном декретном отпуске, пришла сдавать экзамен. Ну каким же надо быть извергом, чтобы ей поставить двойку! Не было и не могло быть таких извергов среди профессорско-преподавательского состава филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. По крайней мере, в 1966 году. Это я вам со всей ответственностью заявляю.

Но на зачете по зарубежной литературе мне даже яблоко доставать не пришлось.

По заведенной традиции к этому зачету я опять готовилась дома у Натальи Леонардовны. Она, правда, после первого курса перешла с русского отделения, где мы вместе учились, на романо-германское отделение, где она всег-

да хотела учиться, но баллов недобрала. Но язык она, в отличие от некоторых, знала очень хорошо. И обе сессии на первом курсе сдала, тоже в отличие от некоторых, на «отлично». Так что теперь мы учились в разных группах и по разным программам. Но подругами остались. И она, как истинная подруга, пыталась мне передать все свои знания иностранной литературы, которую она уже сдала. По дороге к ней, а она жила не очень далеко, — напротив гостиницы «Украина», — я читала «Манон Леско». Но успевала прочесть всего две или три страницы. Первым вопросом в программе был «Потерянный рай». Поэтому, когда я к ней приезжала, мы начинали с Мильтона. Но дальше Мильтона не шли. Мы очень плавно и быстро переходили на вопрос, который интересовал меня в этот момент гораздо больше, чем вся зарубежная литература вместе взятая. Вопрос был почти гамлетовский: «Жить на Герцена или не жить на Герцена?» Райские кущи высотного дома меня не прельщали. А Длинного совсем не устраивала грешная земля герценовской квартиры. И наш семейный рай, упершись в квартирный вопрос, готов был расплзтись по швам. А это вам уже не Мильтон, это жизнь. Со всем ее лукавством. Потом, так и не решив в очередной раз эту проблему, я ехала домой. И по дороге читала «Манон Леско». Две или три страницы. До зачета я приезжала к Наталье Леонардовне еще раза три или четыре. Но дальше «Потерянного рая» мы так и не продвинулись. И «Манон Леско» я не успела дочитать даже до середины. И это все было тем немногим, что я знала, когда пришла вчера сдавать зарубежную литературу. В аудитории нас набралось человек семь или восемь. Но я единственная должна была сдавать зачет, при этом, можно сказать, с первой попытки. Ведь со своей группой я не приходила. Все остальные сдавали экзамен, потому что были не с русского, а с романо-германского отделения. И попытка у них была не первая. Первая для каждой закончилась двойкой. Мы ожидали преподавателя и билеты. И каждый норовил узнать что-то новое, конечно,

из иностранной литературы того периода. И они даже у меня пытались что-нибудь спросить. Но я на все вопросы честно отвечала: «Не знаю». А потом пришел преподаватель. И мы стали тянуть билеты. И я не поверила своим глазам. Потому что таких совпадений не бывает. Первый вопрос был про Манон Леско, а вторым был «Потерянный рай» Мильтона. Я почти не готовилась. Я первой пошла отвечать. Никто не возражал, все хотели хоть немножко подготовиться. И потом на моем фоне русского отделения с моим однозначным «не знаю» легче получить свои долгожданные тройки. Хотя на таком фоне может и четверка получится. Они не ожидали, что я им подложу такую свинью.

Я отвечала блестяще. Я даже ответила на дополнительный вопрос — чем отличается трактовка образа змея-искусителя в Библии от мильтоновской трактовки. Библию, в отличие от Мильтона, я все-таки читала. Правда, это тоже было случайно. Благодаря маминной приятельнице, которая работала референтом у Косыгина. А Косыгину чуть ли не каждый день из-за рубежа кто-нибудь присылал один, а то и несколько экземпляров Библии. И в его секретариате уже не знали, что с ними делать. И разрешили всем референтам забирать эти Библии и дарить своим знакомым. Так, прямоком от Косыгина, Библия попала к нам. Что, посудите, большая редкость в наше время. И я ее читала. И теперь могла легко сравнивать ее с «Потерянным раем».

Преподаватель был в восторге. Он не скупился в выражениях. Такого глубокого и всестороннего знания зарубежной литературы, да еще у беременной, да еще с русского отделения, да еще впервые пришедшей к нему на зачет, он не ожидал увидеть. Ему было ужасно обидно, что он может поставить мне только зачет. Ему так хотелось вывести в моей зачетке «Отлично». Или «Блистательно», если бы такая отметка существовала. Выводя все-таки «Зачет», он поинтересовался, а какую я выберу специализацию с третьего курса — лингвистику или литерату-

роведение. Я быстро выбрала лингвистику. Он стал меня переубеждать — он был уверен, что я прирожденный литературовед. Я решила не спорить. Я уже очень хотела покинуть эту аудиторию, потому что остальные шесть или семь человек хорошо помнили, как на все их вопросы я односложно отвечала «Не знаю», и хорошо понимали, каким боком выйдут им мои блистательные ответы. И готовы были испепелить меня взглядом. Они же не могли знать ни про фантастическое совпадение, ни про то, что мне везет только тогда, когда я ничего не знаю.

Но даже моя примечательная сдача зачета не вывела меня из депрессивного состояния решения квартирного вопроса. Мои аргументы оставались все теми же. Здесь родилась мама. И дети Исаака. И дети Ефима. И дети детей Исаака. И дочь Моисея. И сын дочери Моисея. И я. И мы все выжили в этих ужасных условиях. И мой ребенок тоже выживет. «Но только без меня», — отвечал Длинный. И наш семейный рай трещал по всем швам и грозил стать потерянным.



В понедельник мама уезжала в командировку — в Питер. Конечно, он уже давно был Ленинградом, но его еще по привычке называли Питером.

Командировка была не длинной — всего четыре дня. Перед отъездом, закончив наставления, мама попросила:

— Ты без меня, пожалуйста, не рожай!

Я и не собиралась рожать раньше следующей недели. Мы так и договорились с Длинным — эту неделю гуляем, а со следующего понедельника я сижу дома и жду. Поэтому я абсолютно легко и уверенно обещала маме без нее не рожать. Всю неделю с деньгами была напряженка. Но 25-го папа получил гонорар, выдал нам деньги, и мы отправились в «Националь», на первый этаж, в кафе. Все-таки это было наше любимое кафе. Даже поглощаемая мною там в течение месяца и пяти дней нелюбимая яичница-глазунья не смогла отвратить меня от этого заведения. Яичница —

это была моя собственная глупость. И «Националь» тут был совсем ни при чем. Конечно, я ничего не пила. А поужинать в «Национале» вдвоем можно было рублей за 10 очень прилично.

Но тогда красная десятка была серьезными деньгами.

На пятый этаж мы вернулись поздновато. Все-таки мы понимали, что это скорее всего наша последняя вылазка на ближайшие несколько месяцев. И отнеслись к этому ужину вдвоем (или все-таки втроем) серьезно.

Моя красивая сестра, которая зашла в тот вечер к нам в гости, о чем-то оживленно беседовала с мамой, которая утром этого дня вернулась из Питера. Когда мы пришли из «Националя», сестра уже собиралась уходить. И мы с Длинным пошли ее проводить. Я в очередной, третий или четвертый раз за этот день спустилась с пятого этажа и поднялась на пятый этаж. Сама. На руках меня теперь не носили, даже по субботам. И даже не потому, что тяжело, а потому, что страшно.

Я наконец улеглась в постель и стала читать «Разорванный рубль», опубликованный в последнем номере «Юности». А Длинный пошел в ванну проявлять и печатать фотографии. Он уже второй год занимался фотографией. И у него неплохо получалось. Только фотоаппарат у него был допотопный — ФЭД. А он мечтал о «Зените».

Он хотел стать журналистом. Кажется, это желание возникло в тот день, когда он первый раз оказался у нас дома. Может быть, с той лужи на полу. Но он еще не решился о своем стремлении кому-нибудь рассказать, понимая, что его родители будут категорически против. Особенно отец. Но мы уже вместе печатались, и это не вызвало никаких нареканий у его родителей. Может, даже возникло уважение. Хоть и непонятно чем, но мы зарабатывали деньги. Для журнала «Дошкольное воспитание» мы делали материалы и подборки о роли отца в семье. А еще мы брали интервью у шеф-повара ресторана «Берлин» Лягушкина, ко-

торый в свое время обслуживал Ялтинскую конференцию. И у Пахмутовой. И у бабушки Длинного. Интервью для журнала «Семья и школа» были посвящены выбору профессии. «Все работы хороши, выбирай на вкус» — повар, композитор, швея. Мы писали репортаж о первой выставке игрушек в Манеже. И Длинный снимал. И для большей убедительности мы поехали в музей игрушки в Звенигород. И Длинный там тоже фотографировал. И наши репортажи иллюстрировались фотографиями Длинного.

Для него это были первые пробные, но все-таки отступнические от авиации шаги. Но его отец этого не заметил. В отдельной квартире Длинному было, конечно, удобнее проявлять и печатать снимки. Но мы жили не на двадцатом, а на пятом этаже. А значит, не в отдельной, а в коммунальной квартире. И здесь до 12 ночи нельзя было занимать ванную проявкой и печатью фотографий, потому что ванная все время кому-нибудь была нужна совсем для других целей. А после полуночи уже можно было на пару часов ванную занять. И Длинный туда отправился.

Когда он вернулся, мне оставалось прочесть страницы три или четыре. Но Длинный был непреклонен: «Спать! Спать! Спать!»

Через три часа я проснулась от странных ощущений. Кажется, у меня начались схватки. И были они достаточно частыми. Примерно каждые 5–7 минут. Я разбудила Длинного. И поведала ему совет папиной секретарши.

Она была женой приемного сына личного шофера вождя мирового пролетариата. Так получилось, что и у вождя, и у его личного шофера своих детей не было. Зато у приемного сына было 5 или 6 детей. И все от одной жены, которая и была папиной секретаршей. Она не только умела быстро стенографировать и отлично печатать на машинке, но еще и про роды все знала. Поэтому в перерывах между диктовкой и печатанием она давала мне ценные советы. И главный совет, который я лучше всего запомнила, был: «Ты сразу, как начнутся схватки, в роддом не иди. Дождись, когда схватки будут минут через двадцать».

Обсудив этот совет, мы решили еще немножко подождать, когда схватки будут, наконец, не через пять, а через двадцать минут. Длинный повернулся на другой бок и опять заснул. Что мне было очень обидно, потому что мне никак заснуть не удавалось. Тогда я разбудила маму. Которая заснула еще позже нас. Но мама решила не ждать, а немедленно на машине ехать в роддом.

— Зачем на машине? Я пойду пешком. Здесь же рядом.

— Тогда мы попьем чайку.

Я сидела в пальто, зажав в руке все необходимые документы, и ждала, когда проснувшаяся мама и так и не проснувшийся Длинный допьют чай. Мне чаю совсем не хотелось.



Несмотря на предрассветный час, медперсонал приемного отделения был начеку. Открыв документы, сестра сразу же уткнулась в особые отметки — про туберкулезную интоксикацию, перевернула страницу, не обнаружила справки из туберкулезного диспансера и спокойно так заявила:

— В этом роддоме тебе рожать нельзя, тебе надо в специальный — туберкулезный.

Тут, кажется, вмешалась мама, объясняя, что с учета меня уже сняли, а справку она через пару часов привезет, как только диспансер откроется. Видимо, она была очень убедительна. И этот вопрос закрыли — на время, до появления обещанной справки.

Когда мама ушла и мне разрешили раздеться, вопросы стали возникать у врача. В документы он не заглядывал. Но, глядя на меня, констатировал:

— У вас срок — семь месяцев.

К таким поворотам я была готова. Но здесь уже документы были на моей стороне. Срок там был правильно обозначен.

В предродилке лежало еще семь рожениц. И все почему-то стонали. Через открытую дверь были видны столы родильного отделения. Но там никого не было — ни рожениц, ни врачей. Самое обидное для меня было то, что никто на нас не обращал никакого внимания. Сначала я попросила пить. Мне принесли воды. Я попросила второе одеяло. Мне при-

несли второе одеяло. Но ни с водой, ни с одеялом не было ни участия, ни внимания. Я очень пожалела, что не взяла с собой недочитанный «Разорванный рубль». Книжка бы явно помогла отвлечься. Я попросила дать мне какую-нибудь книжку. То, что «Разорванного рубля» здесь нет, я понимала. Но ответ сестры (или нянечки, или акушерки) меня обескуражил:

— Ты куда пришла, в роддом или в библиотеку? Книжки будешь потом читать. А сейчас лежи тихо и жди.

Начался обход врача.

— Через сколько минут у вас схватки? — спросил он у моей соседки.

— Минут через десять, — с сомнением ответила та.

— А может, через пять?

— Нет, точно через десять.

— А вам принесу часы, а вы засекайте.

Поворот ко мне:

— А у вас через сколько?

Ну, я-то точно знала, что через пять. Но врач на мои слова вообще никакого внимания не обратил. Стал в центре палаты и, обводя по очереди всех взглядом, подвел итог обхода.

— Вы родите сегодня вечером, вы родите сегодня вечером... Когда очередь дошла до меня, однообразие прогноза резко изменилось:

— А вы родите завтра утром.

Такого безобразия я никак не ожидала. Что же я здесь сутки делать буду, если даже книжку почитать не дают. Если бы кто-то рожал, я бы поняла, что сейчас не до меня. Но никто не рожал. Я поднялась с кровати, подошла к родилке, но туда не зашла, встала на четвереньки и завопила дурным голосом — на одной ноте. Вокруг меня собралось какое-то количество медперсонала. Мне попытались объяснить, что если я буду орать, то вообще не рожу. Потом прибежала сестра из детского отделения — оказалось, что мой вой разбудил всех новорожденных. В это я тоже не очень поверила — здание старое, стены крепкие, звуко-

изоляция хорошая. Поэтому я продолжала вопить на той же самой одной дурной ноте. Мне не было больно. Но мне явно не хватало внимания. Медперсонал нашел единственный выход из создавшейся ситуации — положить меня в бокс. Там кроме меня никого не было, никто не стонал, и в окошко заглядывало раннее утреннее солнце. В такой обстановке кричать не было необходимости. А потом заглянула сердобольная акушерка. Посмотрела на меня и так ласково произнесла:

— Будешь тихо лежать — скоро родишь.

Это меня обнадежило. Я встала, собрала пеленки и пошла в родилку.

— Ты чего пришла?

— А мне сказали, что я скоро рожу.

— Ну, тогда ложись на стол, — почему-то согласилась женщина врач, сидевшая за письменным столом у окна.

У нас завязался непринужденный разговор. Почему я такая избалованная? Есть ли у моих родителей еще дети или я одна? Чем я занимаюсь? Я подробно отвечала на все вопросы. Когда выяснилось, что я год назад поступила в университет, врачаха очень оживилась. У нее тоже дочь, которая в этом году оканчивает школу и собирается поступать. Тут я уже оказалась в своей стихии — и дала кучу очень полезных советов. В самый неожиданный момент, когда еще не все советы были даны, я удивленно произнесла:

— Ой, я рожаю.

— А ты на школу для беременных ходила? — поинтересовалась врач.

— Нет.

— А как рожать будешь?

— Как все.

Потом на какое-то время наш диалог прекратился, и вокруг стола собралось много народа. И все были очень сосредоточены. И что-то между собой обсуждали. Потом все-таки решили включить и меня в свое обсуждение:

— Вот, кричала. Воды потеряла и даже не заметила.

— Нет, воды не отходили, — решительно заявила я. И в этот момент началась очередная схватка, и они все поняли, что я права. Воды еще были на месте. И надо было сделать прокол, чтобы они могли вырваться наружу.

Через двадцать минут мне показывали совершенно невероятное существо:

— Мальчик...

— Андрюшка...

— А ты рожать не хотела...

— Это я завтра не хотела...

Все чувствовали себя немножко передо мной виноватыми и от меня теперь не отходили. Оказалось, что у меня были внутренние схватки, которые на поверхности живота никак не отражались. И они все были уверены, что я рожу не скоро. Что я просто капризная мамина дочка.

Я была абсолютно счастлива. В окно светило яркое весеннее солнце. На столике с подогревом в пеленках лежал мой малыш. Он все время норовил сбросить ручками пеленки. А его опять и опять заботливо накрывали.

— Можно встать? — поинтересовалась я.

— Нет, два часа вставать нельзя, — категорически заявили мне.

Странно, я готова была вскочить и пуститься в пляс.

— А можно спать? — все-таки я ночь почти не спала.

— Нет, два часа спать нельзя.

Я поняла, что я неправильно формулирую просьбы.

— Тогда дайте мне есть.

Мне тут же принесли тарелку щей. Я лежала на родильном столе, без подушки, на груди у меня стояла тарелка больничных щей, есть было не очень удобно. Но ничего вкуснее я никогда не ела. Может, это была компенсация за тот несъеденный на волгоградской платформе пирожок.

А может, это было ощущение полного счастья.

ама, как и обещала, привезла справку из диспансера о том, что меня с учета сняли и я имею все права рожать в обычном роддоме. И на справку, и на маму удивленно посмотрели и заявили:

— А у нас такой роженицы нет.

— А может, она под девичьей фамилией?

— Нет, и под такой фамилией нет. — Но, видя состояние мамы, сейчас же последовало: Да вы не волнуйтесь, я сейчас в родилку позвоню, там узнаю.

И через минуту:

— А она уже родила, у вас мальчик...

Мама села. Наверно, от неожиданности. Потом попросила разрешения позвонить. И Длинному, и папе. Потом побежала за яблоками. Потом, когда приехал папа и совершенно очумевший от неожиданности Длинный, они написали мне записку. И это все принесли в стерильную родильную палату. Видимо, сказывалось еще чувство вины передо мной. Да и перед мамой тоже. Без справки из диспансера меня даже в списки не внесли.

Яблоки я тут же отдала нянечке. Взамен попросила бумагу и ручку, чтобы ответ написать.

— Да ты не торопись, они ушли уже...

— Куда?

— Наверно, праздновать...

Как оказалось чуть позже, они втроем пошли в «Прагу» отмечать это событие. А что я смогу на родильном столе писать ответы, такое им всем, конечно, в головы прийти не могло.

Наверно, они все-таки не очень хорошо знали свою дочь и жену, которая теперь еще стала и мамой.

идимо, два часа подошли к концу. Потому что вокруг меня собралось опять много народу. На этот раз как-то очень взволнованного. Меня гладили по голове, по плечу, держали за руку. И кто-то приговаривал:

— Ну, сейчас самое страшное...

Что еще должно было быть, я никак понять не могла.

Все смотрели на старенького доктора. А он смотрел меня. И почти одновременно раздался общий вздох облегчения.

— Ты на пять с плюсом родила. Ни одного разрыва. Если б ты еще не так орала.

Видимо, они решили, что если я так визжала до родов, то что же с ними и с роддомом будет, если меня придется защищать. Они-то точно меня плохо знали.

Это, видимо, у нас по женской линии на роду написано, что роды должны быть легкими, единственными и с приключениями.



за ставка



пистолярный жанр тогда был не в моде. Всемирная паутина дала этому Фениксу возродиться в ином веке и ином стиле — быстром и доступном. Но все равно роман в письмах — это какой-то XIX век. Хотя нет-нет да появляются сообщения о запрете какой-нибудь знаменитости на публикацию личных писем в течение 30-40-50 лет. На эти письма тоже был наложен запрет. Не кому-то, а себе. Не читать, не вспоминать, не вступать в ту же воду. И они спокойно лежали в одном ящике — три стопки. В былые времена сказали бы — три связки, но эти письма, в большинстве своем вынутые из конвертов, без дат и последовательности, не были перевязаны ленточкой. И три стопки — это чистая условность. Новое тысячелетие сняло запреты минувшего века, и ящик был открыт — не взломан — просто выдвинут. С трудом, скрипом, тяжело. И прошедшие сорок лет выстрелили. В слове «эпистолярный» современному уху слышится «пистолет».

ДО СТАВКА



*Вертеть назад можно шарманку, но не мелодию
Станислав Ежи Лец*

Роддом имени Грауермана.

26 февраля — 5 марта 1966 года.

На обороте написано TWIST AGAIN. А еще глаз. И потому письмо вокруг этого глаза.

«7-ая. Я-вой. Ликуем, поздравляем с новым Андреем, дико радуемся. Береги себя, скорее возвращайся домой, жаждем увидеть твою сокровище. Еще раз поздравляем, целуем сто раз. Наташа. Я полностью присоединяюсь. Считаю, что как советская мать, ты должна взять к XXIII съезду высокое обязательство кормить А. А. Я-ва молоком лишь высшего качества 100% жирности. Учти, что мы были первые, кто узнал и возразился, бо я звонил Длинному в 2 часа, а он ушами хлопал еще. Еще раз поздравляем. Могла бы и на 250 больше. Но и такого любить будем. А. Ж. PS. Смотри, чтоб не перепутали, крест поставь! Ск. народу в твоей палате?»

Это письмо от семьи японистов, которые уже год как поженились, я получила в палате. Они как в воду смотрели. Потому что в нашей палате действительно перепутали двух новорожденных. Но не моего. Моего ни с кем перепутать было нельзя.

Но самые первые записки принесли в родилку.

«Дорогая наша мама! Поздравляем с сыном. Молодец! Быстрее выходи. Ждем. Целую. М. Осипов. 26/П 1966г.»

«Наташка, ты прелесть! Ведь надо, бац — и готово. Но я пока еще не осознал всю важность этого явления, усвоил только то, что парень! Ты, оказывается, талант в некотором роде. Так что прими от меня самые-самые поздравления (даже не знаю, что тут и написать-то), а также от отца, нынче деда с моей стороны и бабушки (от бабушки отдельная писуля). Как ты себя чувствуешь, и как чувствует себя ОН? И вообще, как все это было? Все отлично — и сын, и его мать, и погода на улице! Напиши, что тебе хочется из съестного? И подробно, а то я не знал, что принести. Помнишь свою хрустальную мечту — лежать, принимать приношения и заказывать разные вкусные вещи! Напиши, что тебе подарить, ТЫ заслужила необъятное! Напиши подробно, что и как, ведь интересно. Целую 2950 раз. Папа Саша. 26.2.66 г. Стало быть, сегодня у НЕГО первый день рождения, а у тебя — материнства, черт возьми!»

И я писала ответ прямо на родильном столе. Но невестребованное письмо вернулось ко мне в палату. Мама, папа и Длинный ушли в ресторан отмечать рождение сына и внука. Тогда я очень обиделась, но благодаря этому самое первое впечатление осталось со мной.

«Солнышкин мой! Я сначала кричала на весь роддом. А теперь уже смеюсь. Так легко и пуза нету. А сын какой хороший, голосишка звонкий. Сначала решила, что он Осиповский — слишком много у него на лице было мыслей. А вблизи на тебя похож — нос прямой, волосы светлые. А бровки тоненькие, черные. Лобастый. Хорошенький.

Солнышка, спасибо всем и приветы передавай и папе, и маме. Сын кричал. Потом лежит, молчит и ручками-ножками двигает. И какие-то звуки время от времени. Так радостно. Разрывов нет. Ничего нет и пуза.

Целую вас всех. Приходите ко мне чаще. Санька — сын тебе ко дню рождения спецподарок. Будь умницей. Берите меня скорее. Ваша Наташка. (и уже потом приписка) Вы не серьезные родственники — я пишу, а вы убегаете, даже не ждете».

*Стиль должен доказывать, что веришь в свои мысли
и не только мыслишь их, но и ощущаешь*

Фридрих Ницше

ДО

«ДОРОГАЯ НАТАШЕНЬКА! ЦЕЛЫЕ СУТКИ НАС С МАТЕРЬЮ ПОЗДРАВЛЯЮТ. МАТЬ ТАКАЯ ГОРДАЯ, СЛОВНО САМА РОДИЛА. НЕ ПОНИМАЕТ ДУРА, ЧТО БАБКОЙ СТАЛА. НУ ДА ЛАДНО! ЦЕЛУЮ ТЕБЯ И ЖДУ. ОТЕЦ М. ОСИПОВ, 27/П-1966 Г.»

«ДОРОГАЯ НАТАЛЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С АНДРЮШКОЙ! ВСЕ СТРАШНО ЗА ТЕБЯ РАДЫ. МЕЧТАЕМ СКОРЕЕ ВАС ОБОИХ УВИДЕТЬ ВЕСЕЛЫМИ И ЗДОРОВЫМИ. ЦЕЛУЕМ. ТАНЯ, НАТАША, СЕРЕЖА, ГАРИК И НАШИ РОДИТЕЛИ. МЫ ВСЕ ПРИШЛИ К ТЕБЕ И ЖДЕМ ОТВЕТА».

Это первое письмо от Натальи Леонардовны, женатиков и от всего их дружного семейства. а потом серия писем и записок от Длинного. Со всеми мыслимыми и немыслимыми перепадами настроений и интонаций.

«Наталья, доброе утро! Как ты себя ощущаешь? И когда тебе покажут сына? Ты его опиши подробно, очень интересно. Есть ли у тебя молоко? Эти вопросы интересуют всех. Я вчера вечером опоздал к тебе, приехал в 8 часов, а все уже закрыто. У тебя вчера была целая делегация — японисты, еще одна Наталья и Гарик с Татьяной, но меня они не застали, разминулись на 10 минут. Пускай парень будет Андрюшкой, хотя, конечно, по нашему уговору он должен был бы быть Сашкой. Ну да ладно. От всех куча приветов и поздравлений. От бабок телеграмма, от матери и отца писули. Обязательно напиши, как себя чувствуешь, и что тебе хочется. Ты у меня молодец.

А теперь о квартире. На Герцена я жить с ребенком и А. Г. и М. Г. не буду ни в коем случае, об этом я тебе говорил еще 9 месяцев назад. Если ты это забыла или не понимаешь, — живи на Герцена одна. Меня там не будет. Но этого я тебе не прощу, потому что ты своей глупостью и т. д. сделаешь хуже в первую очередь Андрюшке. Ясно? Запомни это. Ну, это проза, а я уже хожу гордый и важный, страшно интересно и приятно. Напиши ответ. Крепко целую. Твой Сашка. 27.2.66 г. Посылаю бумагу».

«Я-вой Н. М. 7-я палата, ответ приготовь к 3 часам, я приеду в это время. Саша. Наташка, глупая девка! (хотя, может быть, и не очень глупая). Приду к 3 часам, ты приготовь ответ к этому времени, я буду ждать. Теперь по порядку. Вчера, когда А. Г. мне позвонила, я ничего не

234



осознал, кроме того, что родилась не писуха, а парень. Ну вот, я приехал сюда, мать дома ревет, отец в трубку носом хлюпает, в общем, полное умиление. Посидели мы тут, и пошли в «Прагу» с А. Г. и М. Г. обедать. Ели разные вкусные вещи — шампиньоны, жульен, икру, и т.д. и выпили водочки (в основном я). Вспоминали тебя, но я сказал, что тебе сейчас такие вещи вредно есть. Потом я поехал домой, пообедал дома с отцом и матерью и выпил еще, но был в норме. Все поздравляют тебя и меня и поэтому, после того, как я сюда вечером опоздал, я еще немного добавил и мирно лег спать на пл. Восстания. Твоя сестра долго не верила, что родился сын, т. к. ей об этом сказала Рахиль! Чувствовать я сначала ничего не чувствовал, только одна мысль в голове: «Ай-люли, ай-люли, мы не бракоделы!» А потом загордился ужас как, начал ходить важно и солидно, так мне, по крайней мере, кажется. Вот и все мои новости. Ты там смотри, черт возьми, чтобы сына не спутали с какой-нибудь девкой, и чтобы эта самая желтуха его не ухандокала. И вообще, почему, если у него желтуха, он синий, а не желтый, ты не знаешь? Если знаешь, напиши! То, что нос — мой, это отлично, а какие волосы? Ведь у тебя была изжога, что же ты ничего о волосах не пишешь, он же не может быть лысым от рождения? И какие уши — топориком или нормальные? Это очень важно, т.к. если топориком, то проси, чтобы их ему прибинтовали к голове, они исправятся! Бумагу я тебе принесу, что еще хочешь? Какого размера надо колготки? Ты спи, пожалуйста, здесь можно спать, а то больше долго не придется. Колечко нельзя передать, не разрешают, но зато к выписке получишь и кольцо и мужа сразу. Будь умницей, маленькая мама, веди себя хорошо. Крепко целую. Саша — муж — папа! Здорово, да?..»

«ПОЗДРАВЛЯЮ РОЖДЕНИЕМ СЫНА МОЕГО ВНУКА РАСТИ ЕГО ЗДОРОВЫМ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ ПУСТЬ БУДЕТ ОН РАДОСТЬЮ ХОРОШИМ СЫНОМ ВСЮ ЖИЗНЬ=ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ»

«И все-то ты меня пилишь и ругаешь, даже здесь. Цветы не берут, одна ты об этом не знаешь, ну а самому себе цветы дарить — до этого я еще не дошел. Принесли тебе разные разности, в том числе и щетку со всем остальным. Похоже на то, что ты и вправду собираешься умываться и зубы чистить. Это уже хорошо. Вставать не спеши, лучше как следует вылежаться. Читай «Юность», лопай фрукты, и все бу-

дет в порядке. Обязательно засмотри уши у наследника, это важно. Я сегодня был у Дедов. Нога у деда более-менее нормально, но он страшно расстроен, что у нас сын. Он был уверен, что будет девка, и что у него одного будет сын. Выпили с ним бутылку «Тетры» за твое и сыновое здоровье. А Черных в горе, что Валюня пока ничего не выдала на-гора. Когда будешь ходить, подходи к окну. Какое окно по счету на этаже? А что он на меня похож, так это естественно, иначе и быть не могло, не мог же он родиться с таким носом, как у тебя. Хорошо, что у тебя есть молоко, а что кормить пока не приносят — это ничего, еще успеешь накормить за год. Так что не расстраивайся. А вообще ты молодец, быстро и хорошо, и у тебя никаких неприятностей пока нет (тьфу-тьфу, не сглазить). Очень хочется посмотреть на сына — что же это такое. Страшно непривычно писать это слово — сын, но приятно. Афанасьева удар хватит, я им сегодня позвоню. Мы из этого самого сына попытаемся сделать человечка, если получится. Так что все хорошо, скорее выписывайся. Чудо, ты на меня не сердись за резкий тон в записке насчет квартиры, но ты многого не понимаешь, и в частности то, что если у Андрюшки эта самая желтуха, то на него надо молиться, чтобы все было в порядке, сама понимаешь. Ты не думай, я понимаю, что тебе хочется к матери, и я ничего не имел бы против, если бы были другие условия, а в таких условиях ему жить — этого я не допущу, чего бы мне это не стоило, так как я за него загрызу кого угодно собственными зубами. И я тебе еще раз говорю: «В первую очередь надо думать о нем», — понимаешь? Ты все боишься ехать к моей матери, но ты много не знаешь, я тебе не все говорил, пока ты была дома. Мы очень много разговаривали с отцом и матерью, и мать клялась и божилась, что все будет в порядке. Я знаю, что таким заверениям ты не очень-то веришь, но ты теперь немного знаешь моего отца — отец сказал, что он уйдет от матери, если что-нибудь случится, и мы не переедем, т.к. он уверен, что это будет из-за нее. А отца ты знаешь — он слов на ветер не бросает и делает так, как говорит. Вот какие дела. Я надеюсь получить от тебя разумное послание на эту тему. Не сердись, что я столько внимания уделяю этому вопросу, но я считаю, что сейчас это один из главных вопросов нашей с тобой и Андрюшкиной жизни. Мы пришли в 3 часа и сидим ждем твою красавицу сестру. Записку твою получили, сестру не дождались и посылаем тебе все хозяйство. Сегодня часов в 7 я зайду к тебе, напишу пару слов. Завтра не смогу, т. к. выхожу на

работу. Я тебе передам записочку через кого-нибудь из родичей. До свидания, девочка. Напиши ответ. Целую. Сашка».

Слава Богу, что наша с Длинным переписка прерывается другими посланиями. Вот пришло очередное письмо от Натальи Леонардовны, а в него вложена записка от всей нашей второй английской группы.

«Дорогая Натуля! Прости меня, ради бога, за то, что я вчера не подошла к окну, я просто опаздывала в институт. Я Сашку попросила тебе об этом написать, но он наверняка забыл. Сегодня я никуда не спешу и могу посмотреть на тебя, если и ты, конечно, сможешь. Еще раз огромные приветы из института. Группа посылает тебе записку. У нас вчера не было английского, и мы ходили в кафе в количестве 10 человек (наша группа + Валерка + Маринка), а обратно шли, как раз когда кончились занятия. Смотрю, из садика выходит Гарик (наверное, меня встречал), но я сделала вид, что не заметила. Мне сейчас очень хорошо и спокойно, если бы не разговоры о Гарике и моем хамстве, которые длятся бесконечно, и если бы не моя новая любовь, которую мне сейчас было необходимо найти или даже выдумать. Ну, встретимся — поговорим. Не дожись этого дня. Сейчас поговорить совершенно не с кем — тебя нет, Нонка занята Димкой, а мама и Таня смотрят на все с каких-то своих позиций, и хотя одобряют меня, но нет никакого взаимопонимания. Выходи скорее, а то я умру. Ну, вроде выписала все свои бредовые мысли. Настроение какое-то у меня странное, то весело, то скучно. то злюсь на всех — ПСИХ! Как Андрюшка? Сколько раз ты его кормишь? Как себя чувствуете? Скорее выписывайтесь. Можно я возьму с собой Татьяну, когда тебя будут выписывать, встречать? Посылаю 2 «Шипки» и спички на дне в бумажке. Целую, Наталья. Привет от всех. Яблоки могла бы не присылать, я в состоянии купить новые. Наталья, ты знаешь, сейчас прошла по улице, там находится невозможно, поэтому я не подойду к окну, ПРОСТИ».

«Наташенька! Поздравляем тебя с сыном! Да здравствуют первая мать и первый сын 2-й английской!!! Дай бог, чтобы не последние! (почерк с детски крупно-округлого меняется на уравновешенный). Расти большая и умная вместе с сыном! Будь здорова в полном смысле этого слова. 2-я английская».

«Наташка, принес тебе сгущенки, минеральную воду и цветочки. Извини, что они немного не новые, но купить нигде не сумел, пришлось взять из дома. Борька болеет, прислал тебе записочку. Я забыл взять фотографии для работы, так что, может быть, завтра днем сумею к тебе забежать. Завтра собирается к тебе приковылять мать, я ее отговариваю, а она ни в какую. Еще придет Рахиль с А. Г. утром. Вот так. Я сейчас же, как отправлю передачу, пойду к воротам, так что ты смотри в окно и махай рукой, только не долго, ладно? А потом напиши ответ. Спокойной ночи, девочка, спи как следует, тебе это полезно. Целую. Сашка».

«НАТАШЕНЬКА, МИЛАЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ, ВСЕГО ТЕБЕ САМОГО НАИЛУЧШЕГО, СКОРО НАДЕЮСЬ УВИДЕТЬ ТЕБЯ ДОМА. ЦЕЛУЮ ТЕБЯ. БОРИС».

«ПОЗДРАВЛЯЕМ РОЖДЕНИЕМ АНДРЕЯ ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ НОВОРОЖДЕННОМУ РОДИТЕЛЯМ ДЕДАМ ЦЕЛУЕМ=ГОЛЬДИНЫ КАРПЕКИНА»

«ТОЛЬЯТТИ. 28. 20.00 = ПИСЬМО-ТЕЛЕГРАММА МОСКВА ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА 17 РОД ДОМ 7 ПАЛАТА 7 Я-ВОЙ НАТАШЕ — РАДЫ РОЖДЕНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА МОЛОДЕЦ НАТАША РАДЫ И СЧАСТЛИВЫ ЗА ТЕБЯ ЧТО ВСЕ ХОРОШО БЕРЕГИ СЕБЯ ТЫ ТЕПЕРЬ НЕ ПРОСТО НАТАША А МАМА БУДЬ УМНИЦЕЙ И БОЛЬШОГО ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ КОТОРОЕ НУЖНО ТЕПЕРЬ И ТВОЕМУ СЫНУ ЦЕЛУЕМ=ВСЕ ВСЕ ВСЕ ГОРОДИНСКИЕ»

«Дорогая Натуся! От души поздравляю тебя с новорожденным Андрюшкой. Я узнала об этом в субботу, когда приехала на Герцена, Наташка мне тут же закричала: «Андрюшка родился!», и тут я поняла, что у тебя родился сын. Вот это да!!! Да еще за 20 мин!!! Ура!!! Поздравляем молодую маму, папу и Андрюшку. Лена, Леня, Наташа и семья Янковских». И рисунок ручкой — окно, в котором удивленные мордашки, дверь, ступеньки, на двери надпись «Родильный дом». На крыльце молодая мама с малышом, который говорит «УА-УА», и поздравляющие с цветами. А еще четыре картинки-комикса, что думают Янковские о будущем новорожденного. Класс, за партой школьники, учитель у доски: «Tell us about...» — думает Лена (учитель). Над столом в комнате, где полно

книг, склонился человек — думает папа (ученый). У мольберта художник — думает мама (художник). Парное фигурное катание — думает Наташа (фигурист), и приписка — только еще надо девочку.

«Цыпа! Передаю тортик, испеченный специально для тебя, и материну записку, которую она очень блюла и не показывала. Подготовь подробный отчет о том, как вы прожили вчерашний и сегодняшний день, а я через 30 минут вернусь — побегу покупать аппарат. Какой у него аппетит? Целую. Саша».

Так наступил день рождения Длинного. Японист, уставший от поисков своего лучшего школьного друга и не нашедший его даже в роддоме, за неимением другой вытащил продыроколенную страницу из конспекта, где осталась одна строка:

«Конкурентоспособность на мировых рынках», «Мировая экономика», № 9, стр. 57 (даже такая случайность через двадцать-тридцать лет кажется пророческой, потому что сейчас новорожденный тогда тезка япониста этой самой конкурентоспособностью на рынках занимается профессионально), и начал писать гневную записку:

«привет, рожденица! Кстати, где твой касатик, рожденник? Я его, ..., по всей Москве второй день ищу. И сейчас прибежал на Восстания, сказала мне А.А., что 10 мин., как ушел, пришел сюда, и тут нет его, подлого. А вот, пришел, скотина! Пришел я один, потому как супруга моя лежмя лежит от ангины и орет, что горло болит. Потому и вчера не приехали мы. Вот и все. А что касается моего тезки, ТО, как он ЖИВЕТ, и кто его кормит (мне тут сказали, что не ты якобы)? И на сколько см в сутки растет он? Пиши все, бумаги не жалей, с мужем твоим ответа ждать будем. 1/III-66 г.»

«Наташья, ну как вы там, как ваши с сыном дела? Как он ест, двигается и орет? Мне все интересно. Надеюсь в твоей записке это все узнать. Ведь я почти два дня у вас не был. Никак не мог вырваться с работы. Работу пока не понял, т. к. мой инженер, с которым я должен трудиться, сидит в г. Ржеве. Такое впечатление, что лучшие люди НИАТа сидят

в Ржеве. А, в общем-то, нормально, ребята ничего, сажу черчу эскизы какой-то хреновины, название которой плохо представляю. Весь я теперь в расписках и подписках, как в шелках, жутко секретный товарищ! Вот какой у вас, дурачков, отец! Как же ты это так обсдалась с ушами у ребенка, черт возьми! Черные волосы я еще могу пережить, но уши — это ужас! Мать не смогла к тебе прийти, у нее немного побаливает нога. Сегодня вечером мы собираемся у моих по случаю моего юбилея и твоего трудового подвига, будем пить за нас с тобой и за сына. Ты не скучай, скоро тебя отсюда выкинут, и мы за тобой приедем. (Именно так все и случилось — сначала выкинули, потом приехали). Так что немножко осталось. Сегодня я отпросился с работы пораньше, сделал кое-какие дела и съездил с А.Г. в валютный, там ничего на меня нет подходящего по виду и по цене. Вот я и решил поехать за аппаратом. Купил «Зоркий II» с объективом «Юпитер-8» — 2-ка. Аппарат хороший, много выдержек — от 1 сек. до 1/1000 сек. Ты не сердись, что не купил «Зенит», но у меня было 40 р., я взял у матери еще 10 и купил, а то мне было невтерпех еще ждать, я ведь об этом столько мечтал, ты сама знаешь. А этот тоже хороший. Скорее бы тебя выписали, надоело сюда ездить, хочу видеть тебя и сына. Ты глупенькая, когда я в прошлый раз подходил на ту сторону, то я видел в окне твой силуэт, у вас ведь окно трехстворчатое, да? А ты и не догадалась, что я тебя тоже видел. Но может быть, это была и не ты, я не совсем уверен. Скорее выписывайся, я вас обоих буду снимать много-много. Надо сказать, что я вообще-то по тебе тоже соскучился, и хочется посмотреть наследника. Это интересно. Ты будь молодцом, корми сына как следует, чтобы он был сытый и не орал. Ты знаешь, тут у меня под боком сидит Жудро, хамская морда, и отвлекает меня всякими расспросами о тебе и обо всем. Привет тебе от Толстого Глухова, Жудровской Натальи — она опять схватила ангину и лежит. Я их обоих пригласил на твой выезд отсюда, ведь надо это отметить, правда? Ты извини, что я торопливо пишу, меня подгоняют часы, на которых 19:30, а от тебя все нет и нет ответа. Ты обещала написать насчет квартиры и не пишешь, почему? Получил записку, прочитать не успел, отсылаю тебе свою. Завтра не приеду, не успею. Крепко вас целую. Саша».

«Дорогая Наташенька! Поздравляем тебя с большим праздником — рождением сына. Как прошли роды? Как ты себя чувствуешь? Какой он, малышка? Мы уже знаем его вес и рост. Мы узнали, что у тебя ро-

дился ребенок, только сегодня. Вчера нам звонили Ваши, но мы были на дне рождения у тети и пришли домой поздно. Таня очень обрадовалась и тоже подбежала к телефону, хотя до этого не могла встать. Она, к сожалению, приехать не сможет: у нее ангина и воспаление среднего уха. Но ничего, скоро она, наверное, поправится, и тогда мы приедем к тебе вместе. Отдыхай после родов, поправляйся. Нам очень хочется скорее увидеть тебя и малышку. Крепко-крепко целуем. Костя, Таня и Маша. (Потом рисунок, на котором Костя и Таня узнаваемо похожи, и приписка — Маша такая страшная получилась только здесь)».

«Наташка, милая, не успел тебе ответить на твою толстую записку, т.к. время передач уже кончилось, и я смог только передать ту, которую написал, пока ждал твоего послания. Мы с Жудро хорошо тебя видели в окно, только ты что-то там суетилась, махала налево, очевидно, тебе лучше видно, когда мы стояли левее. У нас был, надо сказать, на редкость глупый вид, потому что еще из пяти окон выглядывали чьи-то физиономии, и мы с Андреем не знали точно, кому машем и для кого стоим. Кроме того, прохожие привыкли, что новоявленные папы стоят на той стороне, где роддом, и поэтому на двух молодых людей, нелепо размахивающих руками на противоположной стороне улицы, глядели с сожалением, если не хуже. Правда, мы быстро приспособились к этому положению и, да простит нас молодая мать, не всегда глядели на окна, т.к. вели промежду себя разговор о жилищной проблеме. Жудро, на правах старого друга семьи и дома, высказывал свои соображения на этот счет (без всяких на то с моей стороны понуканий), но это все к делу не относится. Я с большой радостью и интересом прочел твои странички. Отвечу по порядку.

1. К вопросу о квартире. Должен сказать, что почти все, что ты мне написала — совершенно правильно. Я имею в виду твою хрустальную мечту жить втроем. Это действительно было бы здорово и, наверное, очень хорошо, приятно и т.д. Дед, Костя и Компания живут одни и живут хорошо (более или менее), скорее более, чем менее. Но, цыпа, они же живут отдельно, а у нас с тобой в данный момент стоит вопрос не о том, где жить — у моих или отдельно ото всех, а где жить — у моих или у твоих. Согласись, это разные вещи. Раньше ты мне на все эти мои разговоры шкворчала, что-де твои уедут, снимут комнату и т.д. и у нас будет рай, кущи и ангелы-хранители — Геся и Рахиль. Как ты

помнишь, я тебе сразу сказал, что это блеф, также как и все то, что мы с тобой слышали о квартирных делах, включая и разговоры о деньгах на квартиру, которые появятся в январе. Деньги появились, но мы их не видели, мы даже не видели, как они исчезли. Я не делаю на этом факте упор, т.к. он просто один из многих на эту тему. Как видишь, я оказался прав, и сейчас нам надо просто выбрать — куда, с кем. По этому поводу ты не смогла выдвинуть сколько-нибудь обоснованных аргументов ни за ул. Герцена, ни против пл. Восстания, кроме порядком мне надоевших рассуждений о том, что вы с А.А. будете целыми днями вдвоем, что ты к ребенку никого не подпустишь и т.д. Что я тебе на это говорил, ты, наверное, помнишь, и я не хочу повторяться. Теперь я тебе скажу свое мнение об этих вещах (см. на обороте). Ты просишь меня внимательно прочитать твоё письмо, хорошенько поразмыслить, отпускаешь мне даже пару комплиментов насчет моих умственных способностей и т.д. Все это я выполнил. И вот что я тебе скажу. Если на ул. Герцена, быть может, можно было бы кое как прожить нам с тобой вдвоем, то насчет втроем это было бы много труднее, а уж впятером — вообще абсурд. Меня удивляет, как ты это не понимаешь, ведь ты умная девка. Вечная грязь, которая никогда никуда не исчезнет, вечный народ в любое время дня и ночи, прокуренные комнаты, в которых медленно гибнет Мих. Георгиевич, которого я очень уважаю, можешь мне поверить. А мухи, которые появляются у нас там чуть ли не у первых в Москве и исчезают у последних, эти неистребимые мухи — как ты могла хотя бы подумать о том, чтобы везти туда нашего сына? Я не говорю уж о том, что М. Г. и А. Г. пришлось бы перебраться в первую комнату, т.к. в проходной с ребенком и даже с 20-ю занавесками, которых пока нет, жить невозможно. И ты бы поставила детскую кроватку в комнате, в которой книги собрали всю пыль, чуть ли не за 10 лет? Куда бы ты дела ребенка, ты, молодая мать? Поставила бы на лестницу коляску, рядом с Мишкиной? Ты что, собиралась там жить на чистом энтузиазме, черт возьми? Тебе нравилось, когда Мишка 20 раз на день начинал плакать, так что ты думаешь, он от хорошей жизни орет день и ночь? Так чем и о чем ты думала, когда говорила о том, чтобы остаться там? И поэтому, раз уж ты предоставила мне выбирать, раз ты не смогла сама решить, где нам будет лучше, я тебе говорю: «Приедем сюда, на Восстания». Я, так сказать, беру весь огонь на себя. Вот так. Ну а если что, так я лучше буду всю свою будущую зарплату отдавать за комнату, чем поеду на Герцена.

Надеюсь, теперь тебе, может быть, стало ясно, почему. Есть еще много причин, но я не могу больше писать в таком тоне, ты меня извини, что я так резко написал, но ты хотела знать мое мнение. Я тебе его высказал. И кроме того, здесь ведь не звери живут, а люди, Наташка. Никто не будет отнимать у тебя сына, и пилить тебе организм по пустякам.

2. Обо всем остальном. Я очень по вас соскучился, хотя его еще и не видел, но все равно, хочу вас видеть, хочу узреть свою половину в новой роли. И хочу, в конце концов, видеть своего сына, имею на это право! Так что я сегодня почти счастливый, чуть-чуть не хватает до полного — вас. Ты знаешь, я так радуюсь аппарату, как, по-моему, ничему еще не радовался из вещей, честное слово. Может быть, это у меня на нервной почве, не знаю, но очень я доволен и рад, не выпускаю его из рук, но снимать мне придется пока мало. Ну, это ничего, летом дорвусь. А аппарат хороший, правда, симпатичный, и 12 выдержек, и объектив приличный, и стоит 47 р. Но мы теперь должны матери 9 р., которые я у нее занял, а у меня в наличности 1 р. Но мне так его хотелось купить, ты себе не представляешь. А с деньгами как-нибудь выкрутимся, ничего, не в первой. А если бы я его не купил, так я все равно деньги истратил бы, и вообще ничего не было бы. Выходи скорее из этого роддома к своему впадающему в детство мужу, и все станет хорошо. Кончаю, т. к. время полвторого ночи, и я страшно хочу спать. Целую вас, вернее тебя, его еще нельзя, наверное, ваш папа — А. Яковлев (Сашка). Поговорить сегодня с твоими не удалось, посоветуй, как это лучше сделать, напиши мне записку, отдай матери».

«ЗДРАВСТВУЙ МИЛАЯ НАТАШЕНЬКА. ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С СЫНОМ. ЖЕЛАЮ БЫТЬ ЗДОРОВОЙ И ВЫРАСТИ СЫНА ХОРОШИМ ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ. ШЛЮ ТЕБЕ АПЕЛЬСИНЫ, КУШАЙ НА ЗДОРОВЬЕ. НАПИШИ, КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ, КАК СЫН? БУДЬ ЗДОРОВА. ТВОЯ ТЕТЯ РАХИЛЬ. ЦЕЛУЮ КРЕПКО».

«Милая Наташка! Крошечный, незнакомый человечек, Андрей, Андрюшка или как еще — Андрей Александрович?! (уф!!!). Какие вы оба молодцы! Отлично справились с ответственной задачей. Теперь осталось только научиться смотреть и видеть, двигать лапами, ходить, говорить, читать книжки и писать докторские диссертации. Но это все сущая ерунда по сравнению с тем, чего вы уже достигли. Вы существуете,

т. е. мама — Наташка (это отнюдь не то, что какая-то там Наташка, хоть и пузатая) и сын Андрей. И конечно же, папа — Саша: его отцовскую гордость словами не опишешь, подавай джаз-оркестр. («Не вам одним сына...» — сказал он, имея в виду, наверное — «Не вы одни умеете сыновей рожать...»). Что делается с бабушкой Аней... Через каждые три минуты звучит гордое, радостное, зазывное — а я ба-бу-ш-к-а-а-а... Даже дядя Костя бородатый ходит Гоголем. (Вышло с большой буквы, но он ходит не Ник. Васильевичем, а такой важной птицей). Но это все так, сказочки, Наташка — мама, главное, не слушай всяких бабских роддомовских сплетен, не верь рассказням, все будет отлично, будьте только здоровы. Нина. Марк. Михаил» (тот самый Мишка, которому немногим больше, чем Андрюшке, и он «20 раз на день начинает плакать»).

«Милая Наташенька! Горячо поздравляю тебя со вступлением на трудную, но благородную, радостную и счастливую стезю материнства. С сыночком тебя, дорогая девочка! Желаю, чтобы он рос здоровеньким и крепеньким, чтобы только радость испытывала ты от всех хлопот по его воспитанию!

Знаешь, Наташенька, биотоки, видно, действуют здорово: представь себе, что вчера где-то между 13 и 14 часами мысли мои были заняты тобой. Я вначале подумала: надо позвонить Аннушке, узнать, не стала ли она уже бабушкой. Потом думами моими целиком завладела ты: я почему-то стала вспоминать, какой увидела тебя впервые — тоненькой длинноножкой с косичками, потом, много позже, в музее — девушкой молоденькой-премолоденькой, потом — замужней, но все равно славенькой молоденькой девушкой... И я от всей души мысленно пожелала тебе благополучного «разрешения»... крохой.

Дела как-то захлестнули, прервав мои думы, и я решила: ладно, позвоню из дома. Но мама твоя меня опередила (чудный она у тебя человечиче!).

Я срочно сделала самодельный вкуснейший торт, захотела тебя с малюточной подкормить. Сегодня все положила в коробку из-под торта, завязала и решила после завтрака отправиться к тебе «на свидание». Но тут ввалился в квартиру муж из командировки в Сибирь — усталый, грязный, простуженный. Мой поход отпал. Решила, однако, Сережу, сына своего, послать (кстати, он был буквально потрясен известием, что ты стала матерью. Оказывается, он тебя видел, когда ты однажды приходила ко мне, и запомнил. И теперь никак не мог постичь того, что ты уже мать, ты, девочка

Наташа). Он охотно согласился. Однако в последний момент я позвонила в роддом и там мне сказали, что никаких тортов и пирогов передавать нельзя. Я очень расстроилась и не послала Сережу. Пишу просто эту записочку. Извини меня, дружок.

Ну, Наташенька, поправляйся скорее, набирайся сил, получше корми своего героя. Ты все же молодец, милая девочка! Целую тебя крепко. Тетя Клава».

И за каждым углом подстерегают несколько новых направлений.

Станислав Ежи Лец

«Наташка, я опоздал на физику и решил приехать к тебе. Как вы там поужинали с 6 до 6.30? Хороший ли аппетит у нас? Была ли у тебя утром мать и передала ли мою записку? Я сижу здесь весь мокрый и несчастный. У меня насквозь мокрые ноги и страшно болит зуб, ничего не могу есть, хожу качаясь от голодухи. Вчера вечером еще кое-как поел, утром уже еле-еле, а на работе совсем не смог. С пятницы начну выходить к 8:30 и кончать в 4 часа. Опаздывать не буду, только вставать рановато. Немного обжился, кое с кем познакомился. Выяснил, что буду получать еще и премии по 15–20 руб. в квартал, и иногда бывают и внезапные. Так что, глядишь, и будет руб. 100 получаться. Будем мы с тобой богачи. Что тебе говорят врачи насчет тебя самой и сына Андрюшки-Сашки? Ты не говори, что я у тебя был, а то меня все заклюют, пусть это будет военной тайной. На работе выкурил пачку сигарет, а зуб все болит, сволочь. Напиши мне записочку, я подожду. Не сердись за предыдущую записку, мне и самому нехорошо было так писать. Крепко вас обоих целую и т. д. Сашка».

До чего же трогательны воспоминания о воспоминаниях.

Станислав Ежи Лец

«Я-ВЫМ САШЕ НАТАШЕ=ПОЗДРАВЛЯЮ СЫНОМ ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ ДОБРОГО НАСТРОЕНИЯ ВСЕГО ВСЕГО ХОРОШЕГО ЦЕЛУЮ=БАБУШКА»

«Дорогая Натали! Как вы себя чувствуете? Вчера я не могла прийти, потому что мы ходили на свадьбу. Все было очень весело для меня и скучно для Гарика (было много молодых болгарских операторов и режиссеров),

но это между нами. Увидимся, расскажу, обхохочешься. Серж ухаживал за исландкой, а Таня в это время целовалась с одним молодым человеком, а я минимум с тремя. Но это я тебе тоже потом расскажу. Мы с Гариком подарили две маленькие чашечки под серебро, а женатики прислали огромную корзину цветов. Голова болит, очень трудно соображать, но я все-таки постараюсь кончить и донести это послание до ВАС. В субботу была в институте, всем рассказала, все страшно рады, вся твоя группа передавала огромный привет — и девчонки, и мальчишки. Особенно счастлива была Маринка (черненькая, помнишь, которую я учила вязать?). Мы с ней скакали по институту и радовались, как будто это мы родили. Она передает тебе огромный привет и всяческие пожелания. Натали, что тебе принести вкусненького? Хочешь красной икры? А то я не знаю, что нести. Если я написала что-нибудь несусветное, не обижайся, т. к. я сейчас в ужасном состоянии. Привет от всех нас, от всего МГУ им. М. В. Ломоносова, целую вас обоих, Наталья Леонардовна. Ты молодец. Посылаю тебе огромный чистый лист»,

«Наташка, посмотрел на тебя в окно, но долго стоять не могу, у меня замерзли ноги. Прочитал твою записку. Вот что я тебе скажу. Во-первых, ты меня расстроила, но это не главное. На Герцена я не поеду, и не потому, что боюсь, что будет трудно, а потому, что я тебе все уже писал, что я по этому поводу думаю. Мнение мое не изменилось. Единственно, что могу тебе сказать — пока твои не уедут, о Герцена не может быть и речи. Это, во-первых. А во-вторых, если даже они и уедут, то до лета надо жить у нас, а после дачи будет видно. Вот так. Отец говорит, что осенью либо будет кооператив, либо будем разменивать квартиру. А делать себе в одной комнате кухню и т. д. и т. п., и кто будет таскать коляску и все остальное наверх? Меня ведь целыми днями не будет, а когда и буду дома, так мне будет не до этого. Мне очень больно об этом писать, поверь мне, но я хочу, чтобы наш сын жил нормально, и я тебе уже тысячу раз говорил, что это главное, а не все остальное. А ты меня знаешь — я упрямый. Честно говоря, я думал, что ты не напишешь — «будем жить вдвоем», но раз ты так написала, значит, ты этого хочешь, а раз хочешь, так живи. Я тоже не железный, и обоих вас люблю очень, но ты не права, если не понимаешь, поживи — увидишь. И я не маменькин сыночек, в общем-то, и мне будет несладко, если на Восстания будут какие-то трения, и я не боюсь трудностей и т. д., хотя я,

конечно, шалопай и отчасти неудачник, это верно. Может быть, у меня слишком затянулось детство, не знаю. Но с этим ничего не поделаешь. Раз ты так хочешь, пусть так и будет. Крепко вас целую. Ваш Сашка, которому очень плохо и тяжело».

*Воспитанный человек, встречаясь с трудностями,
всегда уступит им дорогу.*

Борис Крутиер

«ОСИПОВЫМ = ПОЗДРАВЛЯЮ ВНУКОМ ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ
СЧАСТЬЯ=ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА»

«Дорогая Наташенька! Несмотря на то, что мы с твоей помощью поднялись еще на ступеньку выше в своем жизненно-историческом развитии, т. е. ты косвенно нас тоже произвела в бабушки, мы очень рады за тебя и за Андрюшку. Сердечно поздравляем, желаем, чтобы и мамочка, и Андрюшенька были здоровые и веселенькие. Крепко, нежно целуем Вас (по секрету от строгого медперсонала). Тети-бабушки Серафима и Анна. 1 марта 1966 г.» (пришло по почте, на конверте штамп З.Ш.).

«Наташка, здравствуй, как вы там себя чувствуете, и когда вас собираются выписывать? Знаешь, может быть, стоит выписаться в субботу, а то я боюсь, что если завтра — то я опоздаю в институт. Посмотри сама, хотя я понимаю, что тебе здесь надоело. Напиши, что тебе принести из вкусного, что тебе хочется. Я подожду ответа. С запиской пришли мне кусок бумаги, а то у меня с собой нет, этот я спер со стола уже здесь. Крепко целую. Саша. зуб болит меньше, но сегодня утром дома ел манную кашу!» (которую, мягко говоря, не любил).

*Если не хочешь сказать лишнего,
говори афоризмами.*

Борис Крутиер

Пятнадцать маленьких открыток Феликса Розинера, его жены Люды и маленького Володи, названного так почти че-

тыре года назад силой нашего с мамой убеждения. У мамы — потому, что Маяковский и Ленин. У меня были свои приоритеты — накануне я впервые поцеловалась с мальчиком, в которого была безумно влюблена. Его звали Володей. На каждой из 15 открыток хохломская вазочка с тремя гвоздиками и типографская надпись «Поздравляю!»

1. Маму Наташу — Ребенка нужно вовремя кормить ВОВА (последние две буквы перевернуты)
2. Папу Сашу — Ребенка нужно вовремя пеленать Мама Люда
3. Дедушку Мишу — Со всеми вопросами «Почему?» обращаться в «Вечернюю Москву» с 9 до 12 тел. Б-8-88-88-88 Вова Розинер (через семнадцать лет первым рабочим местом новорожденного оказалась та самая «Вечерка», и столь много цифровые номера телефонов тоже появились, только чуть позже — вместе с мобильной связью).
4. Бабушку Аню — И жизнь хороша, И жить хорошо! Поэт не Феликс Розинер
5. Другую бабушку — Гулять, гулять и еще раз гулять! ВОВА (первая буква зеркальна)
6. Другого дедушку — Не важно — родить ребенка, Важно — сделать Человека! Отец Розинер Феликс Яковлевич тел. В-6-90-05 служебный
7. Мама пусть радуется — Детей баловать нельзя! (зачеркнуто последнее слово, над ним слово МОЖНО, но оно тоже зачеркнуто и восстановлено НЕЛЬЗЯ) Отец Феликс, Мать Людмила
8. Папа пусть гордится — Мама и папа — тоже люди. Муж Феликс, Жена Людмила P.S. Не уверен ВОВА (зеркальна вторая В)
9. Пусть он растет себе здоровым — Родителей надо бить! Бедный ВОВА (буквы пляшут)
10. Пусть он растет себе умным — Ребенка можно жалеть Мамочка Люда
11. Пусть растет себе веселым — Учить ребенка надо Папа Феликс
12. Пусть растет послушным, да не слишком — Ребенка надо воспитывать ВОВА (и опять одна «В» зеркально перевернута)
13. Пусть ночью спит хорошо — Бабушка и дедушка должны сидеть с ребенком, когда родители хотят погулять. Мама Люда Папа Феликс

ДО

14. Пусть днем ест хорошо — Детям можно шоколад — много! ОВАВ
(каждая буква зачеркнута и исправлена сверху или снизу)
15. Пусть стихов не сочиняет, а только прозу — Ребенка бить нельзя!
Папа Феликс

Про стихи, про «умный», про Человека, а также про ночь
и про день и даже, как выяснилось, про «Вечернюю Моск-
ву» — пророчества-пожелания исполнились.

«Дорогая Наташа. Поздравляю тебя с новорожденным сыном. Желаю счастья, здоровья, воспитать прекрасного сына. Наташа, и поздравляю тебя с праздником 8 Марта. Наташа, я прошу тебя, как дочь родную, поехать из родильного дома к родителям мужа. Это им будет очень приятно, да расцелуй их, пусть они почувствуют к ним твою любовь, а в том числе и к их сыну. А мама твоя никуда от тебя не уйдет. Вот, моя дорогая, я это все пережила. Реши только так. Крепко целую. Паня».

«Наташка, глупышка! Обязательно ешь, и много, это тебе необходимо. У меня все в порядке, и ноги, и почти — зубы. На работе обжился вроде, ничего. Потихоньку кое-что поделываю, в основном — черчу. Вот так. Очень хочется видеть вас обоих сразу. Завтра я позвоню в обеденный перерыв домой, узнаю, когда тебя выписывают, и если днем, то отпрошусь с работы и приеду сюда. Сегодня к нам придет А. Г., очевидно с М. Г., но, по-моему, это теперь уже незачем. Пусть будет так. Пятна на физиономии запудришь, и все будет нормально. Я тоже не думал, что пока ты будешь тут, мне будет так весело. Не хочу больше говорить об этом, хватит. Но матери все же можно было хотя бы привет передать. Но это дело твое. Кушай, спи и не плакай, корми сына. Целую. Саша. Можешь мне еще написать, если, конечно, не жалко бумаги (последнего листа). Я подожду минут 15–20».



за ставка



каждом из нас 12 апостолов. Только как понять, кто Иуда, кто Петр, кто Фома? В какие минуты и в каких поступках?

Давно забытая детская игра из серии «Как сделать из мухи слона». Например, душа — дура — дуря...

душе грустно.

душа, шая, меняет буквы, плетет слова:

душа — дура — дуря — дуля

дуля — дуло

дуля — пуля

дуло плюс пуля равняется...

душа, дуря, в слова играет, забыв себя,

внимает звукам, себя губя, в игре стреляет сама в себя.

душе душно.

душа, горя, убила словом саму себя.

Я никогда не писала стихи. Но это и не стихи вовсе.

Может, попытка разобраться в своих душевных борениях и приблизиться к пониманию себя. Может, мимолетно возникшее воспоминание. Или постоянное умение и в жизни делать из мухи слона.

Хотя иногда играючи можно невзначай убить собственную душу. Или ранить другую. Что тоже больно.

ОТ ставка



Первый раз мне принесли сына только на третий день. Двое суток ушло на анализы — все-таки отрицательный резус, и антитела могут быть, и несовместимость. Я-то, конечно, знала, что ничего такого быть не может. Но врачи так уверены не были. В очередной раз оказалось, что права я. И малыш сразу правильно взял грудь. И молока было много. В общем, врачи — и педиатр, и гинеколог — были нами довольны. О чем во время обхода на шестой день мне радостно сообщили:

— Послезавтра выписываем.

Но на следующий день мой лечащий врач вдруг стал проявлять излишнюю обеспокоенность моим состоянием и как-то подозрительно предлагать мне полежать еще несколько дней в роддоме.

— Вы же сами вчера...

Врачиха перебила меня с надеждой в голосе:

— А может быть, детский врач пока не рекомендует выписываться?

— Нет, у сына все нормально и с пуповиной, и вес набирает. А что случилось?

— Приходили ваши родственники, просили вас пока не выписывать, — как-то очень виновато и растерянно сообщила врачиха.

Это становилось дурной привычкой. Восемь лет назад в туберкулезной клинике на шестой версте уже просили врачей о чем-то подобном. Но тогда я не хотела в это верить.

— Нет, мы будем выписываться завтра, — решительно заявила слегка озверевшая от такого сообщения молодая мама.

Врачиха сразу успокоилась. Ей тоже такой вариант был не по душе. И так полпалаты из-за разных осложнений остаются. А с местами, между прочим, напряженка. Да и праздник на носу.



Выписка, как всегда, после обеда. Но уже с 12 часов из окон можно наблюдать взволнованных родственников с букетами цветов, толпящихся посреди будущего проспекта Калинина. Если отойти подальше от здания, тебя лучше видно из окна. Никакого проспекта еще нет. А есть не прекращающаяся ни днем, ни ночью ударная стройка по возведению «вставной челюсти» Москвы.

Это меткое определение укрепилось надолго.

К трем часам ни взволнованных родственников, ни букетов уже не было. И в окно я уже посмотреть не могла. Палату нужно было освободить и дезинфицировать для следующих рожениц.

Я сидела в коридоре. Забрали всех. Кроме нас.

Ближе к четырем часам проходившая мимо нянечка поинтересовалась:

— Милая, а ты далеко отсюда живешь?

— Рядом.

— Ну, тогда через часочек торжество к женскому дню закончится, мы тебе казенную одежду дадим и домойведем. Подожди еще чуток. А то сейчас все заняты — празднуют.

До казенной одежды, правда, дело не дошло. За нами все-таки приехали. Новоиспеченный папа и две бабушки.

Сначала вышла я. Длинный попытался вручить мне букет. Но я его не взяла. А ему уже протягивали ребенка. И нужно было отдать за него выкуп. Трешку, пятерку, десятку — это было не столь принципиально. Важно было соблюсти тради-

цию. И букет оказался на полу. И я демонстративно через него перешагнула. Прошла, не здороваясь, мимо двух бабушек, и села в машину. На переднее сидение. Рядом с таксистом. На заднем оказались обе бабушки и Длинный с ребенком на руках.

— На площадь Восстания, — нерешительно последовало с заднего сидения.

— На улицу Герцена, — решительно отреагировало переднее сидение.

Водитель решил больше ничего не уточнять. Машина тронулась. Весь путь до Герцена в салоне царил гробовая тишина.

И только поднявшись на пятый этаж, я поняла, что произошло.

ока я читала бесконечные письма, ревела, а в перерывах кормила новорожденного и сцеживала молоко, в дискуссию о нашем проживании втягивалось все больше и больше друзей, знакомых и родственников. Мама, зная мой непреклонный характер, в перерывах между выяснениями отношений наводила в квартире порядок. Начала она с натирки полов. Наверно, другой мастики не было. Начиналась эпоха дефицита. Поэтому 49 квадратных метров старинного дубового паркета оказались натертыми скипидарной мастикой. Оба «венецианских» окна, открытых посреди зимы настежь, положения не спасали. Дышать даже в коридоре было тяжело. А может, мама нашла единственно возможный способ не усугублять ситуацию, или, как тогда говорили, сохранить семью.

Мой папа оказался первым, кому я показала сына.

А потом мы в том же такси поехали на площадь Восстания. И только тогда слегка успокоенные две бабушки и Длинный стали в три голоса рассказывать, почему они на три часа опоздали.

- 5 марта...
- Предпраздничный день...
- Цветов нигде нет...
- Мы пол-Москвы объехали...



Доносящиеся с заднего сидения фразы, не касаясь меня, удалялись, как мячики, о лобовое стекло и отскакивали, как не принятые подачи, назад.

Мне было все равно.

Первый после родов зачет был латынью. До родов я просто не успела сдать всю сессию. Много было отвлекающих моментов. Всю осень Длинный делал вид, что ездит за город на занятия в свой новый лесотехнический институт, куда он с потерей курса летом перевелся. Потом выяснилось, что он туда не ездил вовсе. Потому что пришли документы о его отчислении. И я ездила в деканат и объясняла, какая у меня тяжелая беременность, и просила не посылать бумаги об отчислении в военкомат. Хотя бы недели две. За это время Длинный успел восстановиться, конечно, тоже с потерей курса, у себя в авиационно-технологическом. Правда, уже на вечернем отделении. И уже устраивался на работу к отцу в лабораторию. Ну, еще, конечно, и квартирный вопрос. Так что мне было не до зачетов и экзаменов. Тем более что у меня был академический отпуск по беременности. Ну, академка мне нужна была скорее для деканата. Я решила все равно все сдавать, чтобы не терять год.

Я договорилась с юной аспиранткой, которая у нас вела латынь и которая, в отличие от аспиранта-зануды по зарубежке, мне очень нравилась. Латынь мне тоже нравилась. Отрывной талон мне в деканате дали без звука. Вооружившись тетрадками и учебниками, я пришла в аудиторию. Но открыть тетрадки мне не пришлось. Юная аспирантка еще не рожала, по-моему, она даже еще не была замужем.

— Я знаю, что латынь вы знаете. Лучше расскажите, как вы рожали.

Вот так всегда. На родильном столе я рассказывала, как поступить в университет. А теперь вместо латыни рассказывала про роды.

За два месяца до меня Татьяна, жена брата, родила дочь. Через месяц после меня Татьяна, жена Деда (кто забыл — это

друг и свидетель Длинного, с которым мы вместе на Волге были, когда я с поезда прыгала), родила сына. Так вот, у Татьяны, жены брата, и у Татьяны, жены Деда, с молоком было плохо. Можно сказать, его практически не было. Так у моего сына появились молочные брат и сестра. Потому что у меня молока было полно — хоть отбавляй, на троих хватило. Это у меня наследственность такая. По женской линии. И у мамы молока было много. И у бабушки. Гены — великая вещь.

Мы сидели на кухне. Из кухонного окна не было такого шикарного вида, как из комнат или с балкона. Оттуда, казалось, Москва была видна вся как на ладони. А из окна кухни только кусочек стены и какие-то башенки. Зато здесь всегда были слышны крики зверей и птиц из зоопарка, если окно было открыто. Было самое начало июня. И окно было открыто. И мы сидели на кухне. И курили. Потому что были выходные. И Солнце уехал на дачу. А мы еще не перебрались на дачу. И свекровь придумала какие-то неотложно важные дела по подготовке к переезду. И по этой причине на дачу не поехала. С рождением внука из стола заказов она ушла. И это ее не радовало. В прошлом году можно было на законном основании на дачу, которую она, так же как и я, не любила (тут мы с ней опять совпали), не ездить. А теперь, чтобы не поехать, надо было что-то выдумывать. А у нас была сессия. И по этой причине мы отвернулись от принудительно-обязательной дачной повинности хотя бы на эти выходные. Поэтому мы просто сидели на кухне и курили. И окно было открыто. И был слышен крик какой-то птицы, и еще какие-то то ли клекоты, то ли рыки. И свекровь монотонно вещала.

— Солнце умрет, я продам машину. Проживу. Потом продам дачу. Проживу. Потом поменяю квартиру на меньшую. Ну, могу еще шубу продать. Авыначторассчитываете?

Она именно так и произнесла эту фразу — в одно слово. Лично я ни на что не рассчитывала. Мне не нужна была их квартира, дача, машина. Я хотела, чтобы нас, наконец, оста-

вили в покое. И я совсем не хотела думать о том, что кто-то умрет. Она как-то обыденно отвлеченно производила все эти расчеты. И от этого становилось жутко. Ощущение клетки было здесь, а не там, откуда доносился рык и клекот.

Чтобы вступить в кооператив, нам вдвоем нужно было быть прописанными по одному адресу. Я даже думать не хотела о прописке на 20-м этаже, правда, мне этого никто и не предлагал. Наш сын, как и я, был прописан на Герцена, у моих родителей. Свекровь, по-моему, больше всего боялась, что я потребую прописать нас с сыном у них. А Длинный боялся потерять свои законные права на метры в этой высотной клетке и по этой причине отказывался от прописки на пятом этаже. Разменять две комнаты в общей квартире тоже было нереально. Круг замкнулся. И мы по этому замкнутому кругу ходили. Не находя никакого выхода.



очти весь июнь, под предлогом двух сессий, мы продержались в Москве. Я, пользуясь привилегией академического отпуска, все сдавала вразнобой, по отрывным талонам, с чужими группами. Запутав окончательно деканат, что и за какой курс я сдаю. В конце июня мои родители уехали в Прибалтику — отдыхать и работать, у журналистов это часто совпадает. А мы переехали на дачу. Глупо держать ребенка в жару в Москве.

Вот тут-то Длинный в очередной, третий раз заявил, что сессию не сдавал и вообще будет поступать на журфак. Но это сообщение ни у кого большого удивления не вызвало. С одной стороны, все силы и эмоции были израсходованы четыре месяца назад на выяснение, где я с сыном буду жить. И потом родители Длинного подспудно все время ждали и, кажется, уже были готовы к разного рода проявлениям тлетворного влияния нашего герценовского семейства. А переход из стабильной инженерной обеспеченности в непредсказуемое безденежье журналистики и был очевидным проявлением такого влияния. Так что удивления не было. Было раздражение, неудовольствие, тихое ворчание. И, естественно, никакой помощи. Длинный рано утром уезжал

на машине с отцом в лабораторию, где продолжал работать. И собирать характеристики и справки по редакциям не мог. За четыре года своей странной учебы в техническом вузе все гуманитарные предметы он изрядно подзабыл. А заниматься подготовкой можно было только ночью. Вечер после возвращения с работы уходил на ужин, купание ребенка, кормление и неотложные дела по даче.

Я уже столько раз повторяла, что у меня в жизни все совпадает, что это уже стало каким-то рефреном. Или навязчивой идеей. Но и сейчас опять все совпало. Вы можете мне не верить. Или смеяться над этим.

В прошлом году, когда Длинный не отважился поступать, никто из моих родных и знакомых тоже не поступал. А в этом году на тот же факультет решили поступать и моя красивая сестра, и моя не самая красивая подруга. Та, которая была у меня свидетельницей на свадьбе. Видимо, выбор факультета сродни эпидемии. Один решился. И сразу еще двое решили. Любой пример заразителен. И с ними, с сестрой и подругой, тоже надо было заниматься. И, конечно, этим учителем должна была быть я. Я все-таки худо-бедно уже, можно сказать, окончила два курса филфака МГУ. Ну, конечно, мне было удобнее заниматься со всеми тремя сразу, одновременно, естественно, на даче. Я об этом всем так и сказала. И Длинному, и его маме, и сестре, и подруге. Никто не возражал. Ни Длинный, ни сестра, ни подруга, ни свекровь. Свекровь только поставила единственное условие — чтобы сестра и подруга платили по рублю в день на питание. Для меня это было шоком. Такого я не могла представить. И уж тем более кому-то сказать.

Глупая принцесса на сей раз вообразила себя Гераклом и срочно взялась за выполнение подвига № 11. Она решила доказать всему миру, что справится и с этим. Встать в 6 утра, покормить малыша, сцедить молоко на весь день, и на перекладных (на всех вариантах попутки) отправиться в Москву. Собирать по редакциям справки, характе-

ристики и публикации. Заниматься с красивой сестрой и не самой красивой подругой. Сцеживать молоко для сына Деда и Татьяны и молоко для дочери Татьяны и брата. Посылать родителям в Прибалтику лекарства и деньги. У папы случился очередной инфаркт. И ни отдыха, ни работы не получилось. И пребывание родителей там затягивалось на неопределенный срок. И еще принцессе приходилось ежедневно привозить из Москвы продукты. Уехать на старой «Победе» с Солнцем и Длинным принцесса не успевала. Да и не очень старалась успеть. Но почему на обратном пути именно ей поручалось купить в Москве необходимые продукты, было не совсем понятно. Ведь и Солнце, и Длинный возвращались вечером на дачу на машине, а она добиралась своим ходом. Но они ехали с работы, после трудового дня, уставшие. А ее ежедневные поездки в город воспринимались как блажь. И привоз продуктов был единственным оправданием этих поездок. По приезде сначала надо было выслушать очередные упреки за опоздание или не те привезенные продукты, потом кормить и купать ребенка. Потом можно было наконец перекусить и садиться заниматься с Длинным — литературой, русским, английским, историей.

Накануне первого экзамена, которым на журфаке было сочинение, принцесса поехала в Москву с твердым намерением узнать темы. Походив часа два вокруг здания журфака и, естественно, ничего не узнав, она составила в голове сочинение на свободную тему типа «В жизни всегда есть место подвигу» или «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете». Это для Длинного. Для сестры и подруги уже были проработаны сочинения по Толстому и Чехову. Вернувшись на дачу, принцесса радостно сообщила, что будет свободная тема про подвиг или строчки. И писать надо вот так. И цитаты использовать вот такие. Часа за два и последовательность, и цитаты были разучены. На следующий день оказалось, что и Толстой для сестры и подруги, и подвиг со строчками для Длинного среди пяти предложенных тем наличествовали.

В отличие от меня, у Длинного была и трудовая книжка, и двухлетний стаж. Хотя он сразу после школы поступил в вуз, но реформа коснулась не только среднего, но и высшего образования. И Длинный, как и все его однокурсники, вынужден был первые два года учебы в вузе совмещать эту учебу с работой на производстве. А еще у него была серебряная медаль.

Мальчику (в смысле пола), москвичу (в плане отсутствия потребности в общежитии), да еще с двумя годами стажа и трудовой книжкой, с печатными публикациями, да еще и с фотографиями, и ко всему этому с серебряной медалью в придачу, нужно было набрать хотя бы 13 баллов. Он набрал 18. Но очень на меня обиделся. Потому что в цитате, которую я ему, по его мнению, навязала, он не там поставил запятую. И из-за этой запятой получил четверку. А так мог бы получить пятерку. И при его серебряной медали мог бы остальные три экзамена не сдавать.

За полтора месяца таких ежедневных геройств молодая кормящая мама потеряла 20 кг живого веса. Но подвиг № 11 был выполнен. И даже перевыполнен. И даже вознагражден.



конец августа, когда мы вернулись с дачи, а родители из Прибалтики, наши мексиканские родственники-миллионеры объявились второй раз. Ровно через десять лет они снова приехали и в СССР, и в Австрию. Тогда, в первый их приезд, грустно-ностальгического налета еще не было. Теперь они приехали попрощаться со своими историческими родинами. И оставить родственникам о себе память. Если в первый раз они не знали, что кому везти, то сейчас все рассчитали. Трем родственникам — двум в Ростове и одному в Прибалтике — по машине. И чтобы подарки были неодинаковыми, все три машины были разных марок — «Волга», «Москвич» и, кажется, «Запорожец». С тех пор ростовские и прибалтийские родственники между собой общаться перестали. Такое несправедливое распределение подарков их очень обидело. Маме машину решили не дарить. Все-таки мама член партии, и, наверно, такие подарки из-за рубежа в этой орга-

низации не приветствуются. Зачем подводить человека. Но совсем без подарков, конечно, нельзя. Моя троюродная тетя отправилась вместе со мной в «Березку». Были при советской власти такие магазины, где все можно было купить за валюту. Зажав стодолларовую бумажку в совершенно мокром от волнения кулаке, я лихорадочно носилась от прилавка к прилавку, просчитывая выбранное. Маме, папе, сыну, Длинному, себе. Почему-то тогда на эти сто долларов я купила очень много всего. И маме, и папе, и сыну, и Длинному, и себе. Маме — костюм. Папе — шерстяной джемпер. Сыну — белое пушистое пальто, в котором он выглядел совершенным ангелом. Длинному — тоже джемпер, но не однотонный, как папе, а с таким скандинавским рисунком. У этого джемпера только манжеты, воротник и планка были одноцветными. А себе я выбрала австрийские замшевые сапоги на шпильке и со шнуровкой. Моей троюродной тетке эти сапоги тоже очень понравились. И она тоже купила себе такую же пару.

Из «Березки» я завезла тетку-миллионершу в гостиницу «Ленинград», где ее ждал муж, австриец. И тут я впервые поняла, чем миллионеры отличаются от обычных людей. Муж-австриец, увидев тетнины новые сапоги — замшевые, со шнуровкой, на шпильке, австрийские, — тут же стал выражать неудовольствие. Ведь через десять дней они будут в Австрии, а там эти сапоги можно купить дешевле. Нет, он не был жмотом. И он любил тетку. Но еще он умел считать деньги.

Когда они покупали у себя в Мексике тур в СССР, они оплатили все — дорогу, гостиницы, питание. На питание им выдали талоны. Но так как они уже были старенькие, то почти не выпивали, ели исключительно молочную и вегетарианскую пищу. И талонов у них осталось много. И еще осталось много советских денег. Деньги австриец-миллионер просил маму взять. Но мама, конечно, отказалась. Она была свято уверена, что деньги им на границе поменяют обратно. Он совсем не был в этом уверен. А что ему делать в Мексике с русскими рублями? Если только туалет оклеивать. Это он



так говорил. Но мама была непреклонна. Как потом выяснилось, миллионер лучше ориентировался в нашей системе — деньги ему не поменяли. А талоны на питание родственники-миллионеры просто отдали нам с Длинным.

ак что после их отъезда можно уже было не считать походы в ресторан по штукам. Талонов на питание, которые они нам оставили, хватило с лихвой на год. При ежемесячном посещении интуристовских ресторанов — в других эти талоны не принимали. В эти зланные места мы отправлялись, когда у нас заканчивались деньги. А с деньгами было туго, и заканчивались они часто. И тогда мы отправлялись в ресторан. Первым рестораном, куда мы пошли после их отъезда, была «София». На площади Маяковского, прямо напротив памятника. Но нас туда не пустили. Потому что на Длинном был тот самый импортный джемпер, который был куплен несколько дней назад в «Березке». Под джемпером была рубашка, и даже галстук был. Но пиджака не было. Нам показали распоряжение, где черным по белому было написано, что посетители в спортивной одежде в рестораны первой категории не допускаются. Мы дошли до ресторана «Центральный», который был почти напротив Моссовета. Но и этот ресторан оказался первой категории, и нас туда тоже не пустили. По тем же соображениям. Тогда мы пошли в «Националь». И даже не в кафе на первом этаже, а в ресторан — на втором. Нас пустили. Изучая меню, я поинтересовалась у официанта, к какой категории относится «Националь». Оказалось, что он вне категорий. Видимо, поэтому на них это распоряжение не распространялось. И внешний вид Длинного они сочли уместным для своего заведения. Все опять закончилось «Националем».



Смак», «Лидия», «Дарья», «Сам Самыч»... И это все о них, родимых, о пельмешках. При советской власти таких брендов (хотя такого слова никто не знал) было, кажется, два: «Пельмени обыкновенные»

и «Пельмени сибирские». На цене это различие не отражалось, 55 или 70 копеек платили в зависимости от веса. Самое распространенное повседневное блюдо времен застоя.

Для гостей лепили пельмени сами. Сколько хозяек — столько рецептов. Пропорции трех сортов мяса, лука, бульона, особенности теста, тонко-эластичного, не рвущегося, варьировались. Лепленные хозяйкой вместе с детками пельмени замораживали за окном, там и хранили, подвешенные в пакетах к крючку форточки. Причин для того было две — морозилка (у кого были холодильники) была маленькой, зато зима была морозной. Хотя выходных и праздников было немного, в гости друг к другу ходили часто и не всегда по приглашению. Нагрянет гость — не страшно, пельмешки наготове. 10 минут — и готово. Быстро, вкусно, удобно.

Прогресс не стоял на месте. На смену ручной лепке пришла пельменница — металлический круг с дырочками-ромбиками. Раскатанный блин теста, кусочки мяса в каждую дырочку, еще один блин сверху, потом прокатать скалкой — и из каждой дырочки выпрыгивает готовый пельмень.

В начале нового тысячелетия моя родственница везла по просьбе знакомых такую ценную, почти уже забытую домашнюю утварь через две таможни в Лос-Анджелес. Наверно, там есть все, кроме наших пельменниц.

В стеклянных павильонах, которые в какой-то момент появились почти на каждой улице и именовались «Пельменными» или в простонародье «Стекляшками», эту популярную еду готовили не вручную, и даже не на пельменницах, а из тех самых коробок по 70 копеек. Порция на троих. Гардероб или вешалка в этих столовых самообслуживания проектом были не предусмотрены. Поэтому посетители обычно сидели в пальто и куртках, но некоторые, видимо из разряда интеллигентов, предпочитали положить вещи на свободный стул. Что вызывало общее недовольство как обслуживающего персонала, так и других посетителей. В обе-

денный перерыв мест за столиками не хватало. Очередь терпеливо ждала своей порции из большой кастрюли, куда одновременно запускали три-четыре пачки пельмешков. 10 минут — и готово. В очереди не казалось, что это быстро. Количество кастрюль, видимо, тоже было регламентировано. От нечего делать изучали отнюдь не меню, которое знали наизусть (пельмени с уксусом, пельмени со сметаной, пельмени с маслом и кофе), а объявления на стенках: «Приносить с собой и распивать спиртные напитки категорически запрещается». Кто хотел, приносил. Сердобольная нетрезвая тетка в грязном фартуке, грязной тряпкой вытиравшая столы и убиравшая грязные тарелки с фабричной надписью «общепит», приносила стаканы. Часто оставляли горячительное и ей. Это входило в правила игры. Все тетки, как и все пельменные, были похожи друг на друга как близнецы.

Весь общепит делился на рестораны, кафе и столовые. Столовые названий не имели, а обозначались направленностью: блинная, рюмочная, пивная, закусовая. У ресторанов и кафе звучные названия: «Космос», «Националь» или «Астория» — будоражили аппетит и воображение.

Другие цены. Другая жизнь. Другие категории.

Экскурс по ресторанам 60-х, а, может быть, по ощущениям молодости. Места боевой славы? Бермудский треугольник.

Мне так не хочется опять, даже мысленно, возвращаться на площадь Восстания. Поэтому я тяну время. Рассказываю вам про пельмешки и про рестораны.



меня опять переучивали. Как в первом классе, когда Янина Ивановна стояла надо мной с линейкой в руках, наблюдая, как я мучительно вывожу правой рукой каракули. Все считали своим долгом подогнать человека под свои устоявшиеся, сложившиеся, не самые просторные рамки.

У меня не было ни слуха, ни голоса. Слушать мое пение — занятие не для слабонервных. Зато стихи я умела читать.

И знала их несметное количество. Но если я начинала читать стихи Длинному, он с усмешкой просил: «Ты лучше пой». Стихи ему были совсем не нужны. И я стала забывать стихи. В угоду Длинному я старалась отодвинуть свою прежнюю жизнь, вычеркнуть все важное и ценное для меня.

Новый факультет Длинного увлек. И у него появились новые друзья. Которые почему-то мне друзьями не стали. А на старых друзей времени уже не хватало. У походников дети были еще совсем маленькие. И им было не до встреч. Японисты все чаще уезжали в командировки. Папа опять болел. Маме некогда было выбраться к нам, хотя мы и жили в 10 минутах езды друг от друга. А приглашать своих подруг в квартиру на площадь Восстания я не хотела. Не воспринимала я эту квартиру своим домом.

А время уплотнялось, закручивалось, серело. Но я этого не замечала. Десять лет назад я была куда чувствительнее к любым колебаниям и изменениям. Может, точному ощущению пространства и времени способствовала сама атмосфера нашей герценовской квартиры. Но сейчас я слишком долго в нее не возвращалась. И потому все чувства притупились. Безвоздушное пространство, в котором я себя ощущала, лишало возможности думать. Мир сузился до размера клетки на 20-м этаже. И время остановилось.

Все эти месяцы единственно близким мне человеком, который все понимал, но еще не говорил, был мой сын. Он был на редкость спокойный. Он никого не будил ночами. И даже проснувшись утром, не требовал немедленного кормления. С ним обо всем можно было говорить. И всегда можно было договориться. Но почему-то было очень боязно за него.

В ноябре, чтобы не травмировать ребенка отрывом от груди, нас на три дня отпустили на Волгу. Мы поехали не в Куйбышев, к прабабушке и бабушке Длинного, а в Жигулевск, к друзьям мамы и папы. Самой большой достопримечательностью там было строительство автогиганта. И нас, конечно, туда повезли. В одном месте до этого со-



вершенно прямая дорога сильно вильнула. Она вынужденно огибала дом несговорчивой собственницы, отказывающейся переезжать из своей халупы. Ее несознательность нарушала прямой путь к ударной стройке. И это оказалось самым ярким впечатлением от первого посещения ВАЗа.

ы вели с ним дискуссии. Он говорил: «Длинный...» Хотя он никогда не называл сына Длинным, пусть уж до конца повествования будет это пришедшее на первую страницу имя — кличка — прозвище — звание. Так вот, Солнце говорил: «Длинный будет думать, что можно разводиться и собирать всех жен и детей под одной крышей». Это были язвительные замечания Солнца в адрес нашего герценовского дома, куда к папе приходили не только дети от предыдущих браков, но и их мамы. Мне эти замечания не нравились. И я отвечала: «Если мы вдруг разведемся, пусть лучше Длинный будет внимателен к ребенку, чем вообще никогда не будет видеть его, как он никогда не видел свою сестру». Солнцу, наверно, были неприятны разговоры про его дочь от первого брака, но на мои язвительные замечания он никак не реагировал.

Время рассудило по-своему. Опасения Солнца были напрасны. Дурной пример нашей семьи не заразил Длинного. У него не возникла потребность видеть сына.

У него не возникла потребность узнать, где могила его родителей, которых он не пришел проводить в последний путь.

«По таким поводам прошу меня не беспокоить», — так отреагировал он на мою телеграмму о смерти папы.

Странное дерево, без веток и корней.

Кажется, полжизни я жила, доказывая кому-то свою правоту. Утомительное занятие.

Утомительное времяпровождение.

Мать Длинного опять завела разговор о квартире. Она заводила его не в первый раз. Это уже стало то ли хорошим тоном, то

ли общим местом наших кухонных посиделок — поговорить о размене квартиры. Ей в очередной раз предложили интересный вариант — поменять их двухкомнатную на 20-м этаже на четырехкомнатную, но не на 20-м этаже, а в обычном доме. Ну, конечно, не в совсем обычном, а в очень хорошем доме, но не высотном. Но зачем нам нужна была четырехкомнатная квартира, если мы хотели разъехаться, я не очень понимала. Кажется, ей все эти надуманные варианты нужны были, чтобы притупить мою бдительность. Она все время ищет варианты, она думает о размене. И мне совсем не надо по этому поводу тревожиться. И тем более говорить об этом с Солнцем, у которого и без того много забот и дел.

ы давно хотели посмотреть фильм «Никто не хотел умирать», о котором уже несколько месяцев много писали и говорили. Все наши друзья уже посмотрели этот фильм. А у нас все никак не получалось. Фильм уже прошел по всем центральным кинотеатрам и наконец дошел до кинотеатра «Пламя». Этот кинотеатр был в нашем доме, с тыльной его стороны, каких-то 5–7 минут ходьбы. Такую удачу пропустить было никак нельзя. Вечером, когда сын уже спал, а Солнце уехал на дачу, свекровь отпустила нас в кино. Как и на всех, на нас с Длинным фильм тоже произвел очень сильное впечатление. И возвращаясь неожиданно теплым для поздней осени вечером домой, обсуждая потрясший нас фильм, все время повторяли фразу: «Как в жизни». Поднявшись на 20-й этаж, мы оказались в ситуации, про которую можно было только сказать: «Как в кино». Не в лучшем кино. Я бы даже сказала, в плохом кино. Свекрови позвонили соседи по даче и доброжелательно сообщили, что ее муж приехал на дачу с любовницей.

Я не любила свекровь. И не очень это скрывала. Но еще меньше я любила предательство и измену. И никогда не вставала на сторону сильного. Поэтому в этом странном конфликте, возникшем между Солнцем и свекровью, я, не задумываясь, приняла сторону свекрови. Может, это было женской солидарностью.

К его смерти она, кажется, была почти готова, но к разводу она не была готова никогда. Естественно, что в этой ситуации она меньше всего хотела разменивать квартиру.

рошла еще одна зима, и опять пришел июнь. И сессия. Обычно у всех летняя сессия бывает в июне. В этом ничего примечательного нет. Но в нашем повествовании не обязательно должно быть что-то примечательное. Могло бы быть и что-то обыденное. Обыкновенное.

Но у меня уже все так запуталось с академическим отпуском, из-за которого я официально числилась на втором курсе со сданными за третий курс экзаменами и не сданным за первый курс зачетом, что я окончательно отбилась от своей 2-й английской группы и пустилась в свободное плавание. Наташки, которая Леонардовна, там уже два года не было. А остальные.... Да и я для них уже стала чужой.

Зато Длинный впервые за два года без всякого преферанса нормально сдал вторую сессию подряд. И ему все больше нравилось на факультете. И его родители уже перестали расстраиваться из-за смены профессии. Журналисты тоже разные бывают. Можно же в редакции работать, а не на вольных хлебах существовать.

Сын весь июнь жил на даче с бабушкой и с прабабушкой, т. е. с матерью и бабушкой Длинного. Солнце приезжал на дачу каждый день. А мы с Длинным — в перерывах между экзаменами. И хотя мы почти месяц прожили в Москве одни, мы редко вместе куда-то выбирались. И редко с кем-то виделись.

о в эту компанию мы по роковой случайности попали. Вообще, с компанией брата у Длинного несовместимость. И их творческие заскоки-устремления, и их левацкие взгляды Длинному, в отличие от меня, совсем не интересны. Но в тот раз я была с ним почти солидарна, потому что в компании оказался какой-то противный тип, которого я раньше не встречала. И я с ним ругалась до хрипоты. Длинный не спорил, не ругался. Тихо так сидел.

ОТ

А несколько дней спустя, как-то мимоходом, походя, поделился своими подвигами, ходил, мол, в приемную на Лубянку. И все про этого типа, с которым я спорила, рассказал. Правда, Длинного очень обидело замечание:

— Мне там посоветовали, если я хочу с ними сотрудничать, лучше приходить не с черного хода, а с парадной лестницы. Но я и так не с черного хода пришел.

Но потом ему назвали фамилию, к кому на факультете обратиться. И он воспринял это как хороший знак. Как приглашение к сотрудничеству.

Я совершенно обалдела. Что он мог рассказать? Кроме моего брата, он вообще там никого не знал. И кто ему такое мог присоветовать? То, что без длительных обсуждений и ценных советов Длинный не способен на решительные шаги, я уже хорошо знала. И такое! У меня в голове не укладывалось. При этом я твердо знала, что это не мог быть совет его родителей, или японистов, или друзей-походников. Но тогда кто так неожиданно стал для него таким важным советчиком?

Все тайное рано или поздно становится явным. И довольно скоро выяснилось, что столь ценный совет Длинному дала его журфаковская однокурсница, у которой дядя был подполковником КГБ.



продержалась больше года.

Сын ходил от меня к нему. От него ко мне. Три детских пробных шага — и в родных руках. Три неуверенных шажка — и опять в родных руках. Ходить интересно. В руках надежно. Пока он шел, мы оба смотрели на него, на его неуклюжее, косолапое топанье, и в любой момент готовы были прийти на помощь. Пока он шел — мы молчали. Потом говорилась фраза, и вместе с этой фразой его отпускали в обратный путь. И опять молчали. Прижав к себе на минуту родное существо, набирались сил для следующей фразы. И отпускали ребенка и фразу собеседнику.

270



И фразы были неуверенные, пробные, как детские шаги. В них была и просьба. И обещание. И...

Но я не верила. Я уже не могла верить. Атмосфера мелкого вранья и постоянных предательств физически давила. Свекровь с ее бесконечными несуществующими вариантами разменов. Солнце с его любовницей. Соседи по даче с их стукачеством. Длинный с походами на Лубянку.

Наши две квартиры были так близко друг от друга — всего десять минут на троллейбусе. И так далеко, как две разные галактики. От длительного пребывания в чужой обстановке у меня все больше развивалось чувство полной несовместимости.

И я опять приняла самостоятельное решение. Или опять поторопилась и все испортила?



В конце лета, после дачи, я отказалась ехать на площадь Восстания. А сына отвезли на 20-й этаж. И я никак не решаюсь забрать его домой. Я вообще стала какая-то нерешительная. В воздухе, в атмосфере что-то висит, давит, затягивает. Нет возможности думать. Я уже ничего не понимаю. Только чувствую, что надвигается что-то. Что? Ужасное? Страшное? Горькое?

Вчера папу положили в больницу с очередным инфарктом. А сегодня, в воскресенье, исполняется три года со дня нашей свадьбы.

Утром Длинный подарил мне цветы, поздравил с годовщиной и ушел. И весь долгий день его не было. Пришел он поздно.

А вечером, в темноте, уже в постели произнес странную фразу. Видимо, эту фразу он вынашивал весь долгий день. Готовил. Взвешивал. Примерял. Репетировал.

Наверное, это не единственный случай в истории человечества. Такое могло быть, например, в предвоенной Германии. Или еще где-нибудь и когда-нибудь. Но это было в нашей квартире, на Герцена, в третью годовщину нашей свадьбы и за три недели до 50-летия Октября.

Фраза звучала так: «Я сына очень люблю, я тебя очень люблю, но у тебя отец сидел, мать — еврейка, тебя исключили из комсомола — я с вами карьеру не сделаю».

Может, это был очередной совет его журфаковской однокурсницы. Видимо, ее советы пришлись Длинному по вкусу. И он следовал им очень четко. А спустя год взял ее в жены.

Но тогда он не ушел, он не переехал на 20-й этаж. Он продолжал каждый вечер, ближе к ночи, приходить домой. Ужинал. И ложился спать. Повернувшись ко мне спиной. На полуторной тахте тяжело быть далеко друг от друга. Но мы были как-то слишком далеко. Дальше некуда. И так продолжалось уже неделю.

А когда неделя была на излете, увезли в больницу маму. На операцию. Защемление пупочной грыжи. Папе, который уже неделю лежал в другой больнице с инфарктом, ничего о маминной операции говорить было нельзя.

В этот вечер Длинный позже обычного не приходил домой. Его не было и у родителей. Где он, было непонятно. Но к часу ночи он все-таки объявился. Правда, на 20-м этаже.

Надо ехать к маме в больницу, надо ехать в больницу к папе. Надо забирать сына. И на все это нужны душевные силы. И еще деньги. Но ни того, ни другого нет.

Половину «двойки» я продала красивой сестре. Ей нравилась только кофта с длинным рукавом на пуговицах, а свитерок с коротким рукавом ей был не нужен. Своей не самой красивой подруге — свидетельнице я продала сумку. Я еще не знала про ее кратковременный роман с Длинным. Все на продажу. Спасибо родственникам-миллионерам. Если бы не их прошлогодний приезд и наш поход в «Березку», то мне и продать было бы нечего. Про сервизы, серебряные ложечки и другие свадебные подарки из кладовки не вспомнили. Мне-то уж точно было не до них. Какое они теперь имели значение. Правда, свекровь попыталась мне объяснить, что серебряные ложечки подарили их друзья. И при разделе имущества я не должна на них претендовать. Я и не претендовала.



ноября у Гали и Коли впервые за долгое время собралась вся походная компания — теперь уже с детьми. Естест-

ОТ

венно, позвонили Длинному. И он обещал быть, не сказав никому, что мы разъехались. Он просто пришел, прихватив с собой мою не самую красивую подругу, которую и видели-то все единственный раз на нашей свадьбе в качестве моей свидетельницы. Наверно, Галя не должна была меня любить. Но она этого никогда не показывала. Может, дипломатическое воспитание не позволяло. Но на этот раз (может, сработала солидарность жен?) и Таня, и Валя, и даже Галя проявили верх негостеприимства. И моей не самой красивой подруге пришлось уйти, прихватив с собой Длинного.

А спустя месяц, Дед, т. е. свидетель со стороны Длинного, который и рассказал мне эту историю во всех подробностях, жалея меня, неожиданно предложил выйти за него замуж.

— А как же Татьяна? — поинтересовалась я.

— Ну, ее любой замуж возьмет, а тебя — никто, — пояснил Дед.

Видимо, три года назад лукавый случай, уже наметивший очередное совпадение, помог нам не ошибиться в выборе свидетелей.

«Все, как в плохом кино» — говорили тогда. Теперь говорят — «как в мексиканском сериале».

Так со сцены и из повествования ушли свидетели, оставив послевкусие мелкой пошлости.

а три года многое изменилось.

Моховую только что переименовали в площадь 50-летия Октября. И по улице Горького, которую старожилы по привычке звали Тверской, общественный транспорт не ходил, а были народные гуляния. И все заворуженно останавливались около Центрального телеграфа, чтобы посмотреть на иллюминацию. В этом юбилейном году она была еще фантастичнее, красочнее и ярче, чем обычно. Огромный ковш поворачивался, и из него лилась огненная сталь. А вокруг глобуса, который поворачивался вокруг своей оси ровно за



сутки, как настоящая Земля, были колосья, обвитые пятнадцатью лентами, и другие символы, как на гербе страны, только этот герб был объемный.

Я прижимала к себе полуторагодовалого сына, которому, наверно, передавалось мое совсем не праздничное настроение и которого от этого пугали и иллюминации, и салют, и чему-то радующаяся толпа.

От тех майских праздников, совпавших с Пасхой, до этих юбилейных, ноябрьских, пролегла целая жизнь. И ее надо было осмыслить. Но все еще было так рядом и так больно, что осмыслению не поддавалось. Была сплошная незатягивающаяся рана воспоминаний. И ощущение абсолютного одиночества двух людей не только в этой толпе народного гулянья, не только на этой праздничной улице, но и на всей Земле, которая безучастно продолжала вращаться вокруг своей оси, как на том глобусе, один поворот в сутки.

Вчера еще были модны вишенки и виноградинки, все прикалывали букетики цветов, а сегодня самым модным аксессуаром стало сердце. Большое и маленькое. Пластмассовое и деревянное. Контурное и объемное. Красное, синее, зеленое. Вышитое, пришитое, приколотое, наклеенное. В волосах, на подоле юбки, на сумке, на туфлях. Одного мало — два, три, четыре.

— Девушка, вам не тяжело с пятью сердцами? — Девушка удивлена — у нее только четыре на туфлях.

Выставляйте сердца напоказ, прикрепляйте сердца булавками.

Козыри — черви.

Год идет к концу. Сердца прячутся.

Сердце становится немодным.

Наступает мода на бабочек.



ой зимой меня отчислили из университета.

Потом никуда не брали на работу. Даже курьером.

Это была очередная насмешка судьбы или подтверждение правоты Длинного? Или просто в очередной раз пришлось

долго ждать желаемого. Потому что через полгода меня восстановили в университете. И даже пригласили на работу — манекенщицей. Но это уже было в другой жизни.

От той жизни мало что осталось.

Вера осталась. Но ненадолго.

Она, конечно, обиделась, что я не ее выбрала в свидетели на свадьбу. Но даже это наших отношений не испортило. Романы и замужества, институты и дипломы, разводы, работа, переезды — все это мешало ежедневному общению, но не мешало дружбе.

Мы встретились на «Павелецкой»-радиальной внизу у эскалатора, я отдала ей билеты на выставку неформальных художников, которая разместилась в ДК ВДНХ. И хотя я уже год как на ВДНХ не работала, но своих связей не утратила, и мне не составило большого труда добыть билеты для любимой подруги. Мы чуть-чуть потрепались, и я поехала домой в Тушино. А она поднялась на эскалаторе и вышла на Валовую улицу. И еще несколько дней никто не знал, что Вера погибла. Она переходила Садовое кольцо на зеленый свет. Она никогда не перебегала улицу на красный. Но мчавшаяся на красный свет «Победа» подбросила ее почти до троллейбусных проводов. А милицейские машины, догонявшие эту угнанную личную машину районного милицейского начальника, даже не притормозили. Но Вера уже не чувствовала на себе их колес. Она погибла мгновенно. Прошло всего 10 минут после нашего прощанья, которое и прощанием назвать нельзя. «Пока» — «Привет».

Ее бабушка умерла лет через пять, мама через десять, а папа прожил еще четверть века. Но, несмотря на количество прожитых лет, никто из них не оправился от шока. Тот малолетка, который угнал машину милицейского начальника прямо из-под окон его рабочего кабинета и которого по причине его малолетства осудили всего на шесть лет, спиб несколько жизней сразу.

Милицию даже никто и не осуждал.

Так не стало Веры, не только в моей, но и в этой жизни.

*Я была старше своих одноклассников на год.
Я была старше Веры на 1 год и 15 дней.
Теперь я ее старше уже на 30 лет.*



В марте 1970 года умер папа.
«Не было тогда, не было потом» — это, кажется, из «Леди Гамильтон». А может быть, из «Моста Ватерлоо». «А дальше — тишина». Но это уже не кино, это театр. Любимая мамина пьеса.

В год смерти папы вышел фильм «Белорусский вокзал» и еще впервые прозвучала песня «Журавли» в исполнении Бернеса. Кажется, это была последняя песня, которую он, уже тяжело больной, записал. Мама дарила всем миньоны с этой песней. И очень жалела, что папа не увидит «Белорусский вокзал». Он бы ему понравился.

И в довершение всего нас выселили с Герцена.

Наш дом не снесли, но вдруг мы остались в нашей коммунальной квартире вдвоем — мама, сын и я.

От той жизни осталось Заявление. Это, написанное от руки маминым размашистым, не очень разборчивым почерком, с сокращениями и подчеркиваниями письмо было озаглавлено: «Мое заявление Саркисову, Председателю Районного Исполкома». Чем ее достал товарищ Саркисов, я не помню, может быть, антисемитизмом, а может быть, просто жлобством. Я даже не знаю, отправила ли мама это письмо. Скорее всего, не отправила. Но написала. Может быть, для меня.

«Мое заявление Саркисову, Председателю Районного Исполкома.

Самое сильное в человеке — от его народа — Его человека, лично Его Гены.

Самое прекрасное от его признания, и уважения, и интереса ко всем народам — от его глубоко искренней и осознанной любви ко всем людям.

Я уезжаю из квартиры в доме, строившемся, не знаю сколько лет.

Разновеликий квадрат домов с каменной избой в середине (богатела — беднела хозяйка?).

Квартира на 5-м этаже 4-х этажного дома.

Подъезд — почему-то въехала внутренняя часть стены — м. б. на то расстояние, какой будет улица в будущем по своей ширине.

Неверно, что в городах живут более активной жизнью. Внутренней — может быть. Слишком суетно и шумно и многолюдно кругом. Темп и интенсивность развития очень велики. Из окна моей комнаты — наших комнат — слышен был раньше звон трамваев. Иногда теперь перезвоны троллейбусов. Автобусам и машинам запрещено гудеть. Очень тихо здесь, в самом центре Москвы.

Из окна видны Спасские часы и флаг над Кремлем и три звезды на башнях кремлевских.

У меня нечего перевозить — книги, рукописи, письма, фотографии. Детский шкаф, бывший книжным, письменный стол отца. Старый квадратный обеденный останется тут. Он тут состарился во времени. Он дожил до нашего переезда. Он помнит и знает все. Он все вынес с нами. Мы не сможем его вынести. В доме новом — туда его вносить нельзя. Это умерший стол. Умершее время — слишком вещественно в нем прошлое и наивна несуразность и так трогает самую тоску человека о безвозвратно ушедшем. Ему остаться здесь, где стены и вещи, оставаясь, хоронят до срока тех, кто уходит, — их скоро сломают, и старые родные стены тоже.

Уходя, берешь с собой сердце. И то, что в нем. И эту память вечную, до смертного часа, благодарность мою моей родине, моему гнезду, моей Ясной Поляне на Горной высоте.

Ненаглядному больше, благословленному всегда моему дому, Гнезду.

Я здесь родилась, здесь научилась всему. Сюда возвращалась и здесь вила свое гнездо. И свое не свила здесь дочка.

В городе — такая 11 квартира — целый мир. Это и называется у людей Старой Москвой».

Все произошло неожиданно быстро. Мы переехали в новый район, где еще не было ни метро, ни телефона, да и районом Москвы он, этот район, был всего третий год.

Моя улица много веков назад возникла на дороге в Волоколамск и Новгород, и до XVI века часть ее, в пределах Белого города, называлась Новгородской или Волоцкой. Нас переселяли по той же дороге — в направлении Волоколамска.

Это была шикарная квартира с изолированными комнатами и лоджией, с маленькой (в сравнении с нашей коммунальной, тридцатиметровой, всего 8 метров) кухней, с лифтом и массой других удобств.

В тот же год переехали в новое здание и четыре гуманитарных факультета МГУ. Улучшение коснулось всех. И теперь вместо пешеходных пяти минут до моего факультета было почти полтора часа на разных видах транспорта. И пути мои не лежали через мою улицу.

И она, всегда такая знакомая и одинаковая, вдруг резко изменилась. Маленький магазинчик на трех ступеньках, где когда-то в 20-е годы бабушка открыла частную столовую, теперь расширили. А другой магазинчик, в витрине которого стояли три довольных поросенка, и он так и назывался «Три поросенка», — снесли. И двухэтажные домишки рядом с ним тоже снесли — и открылась маленькая семнадцатого века церквушка Федора Студита. И снесли полукруглый, в виде подковы, магазин, витрины которого всегда украшали пирамидки пыльных банок. И открылась другая церковь. Та самая — Большого Вознесения («суровая монументальность стиля ампир и простые геометрические формы»), где венчался Пушкин и отпевали Ермолову. И на другом углу этой пересекающей улицу площади вместо бесконечного множества магазинчиков и лавочек выросло округло-кубическое новое здание ТАСС.

И в этом здании теперь работал Длинный. И он теперь каждый день ходил по моей улице.



ОТ

Запахи, вывески, витрины, цвет домов — все изменилось. И чей-то чужой велосипед наматывает на три колеса ту же улицу теперь в другом временном измерении.

Из родового гнезда сердечной герценовской коммуналки в черную дыру отдельной, с тремя изолированными комнатами и огромной лоджией тушинской квартиры.

Меня целиком, полностью, без остатка вычеркнули из той жизни.

Мой кактус не смог пережить такие перемены. Он не выжил. Даже кактус не выжил. А у меня началась другая жизнь.

В другой жизни, в другом измерении я окончила университет, и меня даже рекомендовали в аспирантуру. Я еще раз вышла замуж. И еще раз развелась. Может, кому-то и интересно узнать про второго мужа. Но я пока не хочу рассказывать эту историю. Просто все эти истории к той жизни отношения не имеют.

«Дело не в водоворотах, а опять во мне одной.

Дело в Сретенских воротах, что захлопнулись за мной».

За мной захлопнулись Никитские ворота.

А в остальном — все правильно. Все — про меня.

Оказывается, про меня не только фильмы и эпохальные литературные произведения, но и стихи, и песни.

И дело не в смене адресов и не в географии



за ставка



сли жизнь — театр и все люди в нем актеры (а Шекспиру не верить я не могу), то и все здравствующие ныне действующие лица этого повествования, сыграв свои роли, покинули сцену и разошлись по домам. И не вправе предъявлять претензии в необъективности их изображения, в неправильной трактовке событий, в искажении фактов. Они же не реальные люди, а вымышленные персонажи. А вымышленные персонажи не могут предъявлять претензии автору. Это же абсурд какой-то. Ну, если вдруг кто-то случайно узнает себя, то я готова повторить еще раз — это случайное, непреднамеренное совпадение. У меня, например, вся жизнь соткана, сплетена, связана из совпадений. Но я же не одна такая. Кстати, я очень часто ассоциировала себя с тем или иным литературным героем. И честно в этом признавалась. Но это же не дает мне права обвинять в чем-то авторов этих произведений. Может, мне тоже не нравится, что герой, который так похож на меня, вдруг начинает вести себя очень странно, так, как я бы никогда себя не повела. Но я терплю. Я не вмешиваюсь в чужое повествование. Я не пытаюсь изменить свою судьбу в произведении другого автора. Такого же снисхождения я жду и от своих читателей.

Я также надеюсь, что никакому критику не придет в голову свести это повествование к воспоминаниям или, упаси Бог, к мемуарам.

Да, кстати, а что это за жанр?

..... 283

Дойдя до финальных страниц этого сумбурного повествования, хорошо бы ответить на вопрос, а что, собственно, это было.

Если это была трагедия, то пора воскликнуть: «Какая ужасная жизнь. КГБ разбил семью. Отняли любовь, улицу, дом. Какое жестокое время!»

Если это трагедия, то героиня уже должна погибнуть или покончить с собой. Она, кажется, даже думала о таком исходе, но решила, что все это того не стоит. То есть «все это» (Любовь + Дом + Улица) все-таки меньше, чем «то». Если «то» — Жизнь. По крайней мере, для нашей героини в нашем повествовании. А потом у нее есть сын. А сын в таком уравнении перевешивает все остальное. В конце концов, героине только 21 год. И у нее может быть другая любовь, другая улица, другой дом. И с карьерой у нее сложится все замечательно. Просто социализм какой-то, а не трагедия. Зло посрамлено. Добро торжествует.

Правда, для социализма мистики многовато. Всякие совпадения, приметы, судьба, гены, наследственность.

Действительно, для социализма мистики многовато, а вот для психологически-мистического жанра этой самой мистики совсем недостаточно. Мастер своего дела развил бы мистическую линию и довел бы ее до логического конца, так, чтоб кровь в жилах стыла.

Фарс? Ну, со свидетелями, может, немножко фарса и было. Но это же не основная сюжетная линия. И даже не второстепенная. По таким ответвлениям о жанре вообще судить нельзя.

И на комедию это повествование никак не тянет. Может, у автора с чувством юмора плоховато. У другого автора из такого количества совпадений такая бы милая лирическая комедия получилась.

И на любовный роман не тянет. Где жгучая страсть, альковные сцены, порывы ревности? Нет, для любовного романа все вышеизложенное пресновато будет.

А просто для романа — мелковата фактура, время и пространство слишком размыты. Фон он и есть фон.



за

*Еще есть такой жанр, как драма. Но как-то скучно — моя жизнь сплошная драма. Нет. Нет. И нет.
Может, семейные хроники? Но как-то прозаично, задушевности не хватает.
В общем, не могу я определить этот жанр.
Но, в конце концов, я же не критик собственной жизни, чтобы определять ее жанр.*



за ставка	5
вы ставка	7
за ставка	153
при ставка	155
за ставка	165
под ставка	167
за ставка	231
до ставка	232
за ставка	251
от ставка	252
за ставка	283



Главный редактор издательства
И. А. Савкин

Художник
Виталий Палкус

Верстка, цветоделение
Борис Божков

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»
Москва, м. «Китай-город»,
Старосадский пер., 9. Тел. (095) 336-45-32
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская»,
ул. Чайковского, 55. Тел. (812) 327-26-37

Подписано в печать 10.04.2006. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Усл.-печ. л. 16,6.
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «БЕЛЛ»